Л. А. ЧАРСКАЯ

ЦѢЛЬ ДОСТИГНУТА

Съ рисунками худ. И. ГУРЬЕВА

ИЗДАНІЕ Т-ва М. О. ВОЛЬФЪ

З. 37
III. 71
II. 5
№ 28.

1853
1883
M.O.B.

Л. А. ЧАРСКАЯ.

КНИГИ ДЛЯ ДѢТЕЙ И ЮНОШЕСТВА,

ИЗДАННЫЯ Т-ВОМЪ М. О. ВОЛЬФЪ:

*Книги, отмѣченныя въ настоящемъ спискѣ одною звѣздочкою *, допущены Ученымъ Комитетомъ Мин. Нар. Пр. въ библіотеки учебныхъ заведеній.*

*Книги, отмѣченныя двумя звѣздочками **, признаны Ученымъ Комитетомъ Мин. Нар. Просв. заслуживающими вниманія при пополненіи библіотекъ уч бныхъ заведеній.*

Книги, отмѣченныя въ настоящемъ спискѣ кружкомъ ○, рекомендованы Главнымъ Управленіемъ Военно-Учебн. заведеній для чтенія адетъ и допущены въ ротныя библіотеки.

Книги, отмѣченныя „въ перепл.“—переплетены въ цѣлтной коленко в, съ золототисненіемъ.

Повѣсти изъ институтской и кавказской жизни.

ЗАПИСКИ ИНСТИТУТКИ. Съ илл. А И. Сударушкина. Изд. 4-е. Ц. въ перепл. 3 р.

○ **КНЯЖНА ДЖАВАХА**. Съ илл. В. А. Табурина и А. И. Сударушкина. Изд. 5-е. Ц. въ переплетѣ 3 р.

*○ **ЛЮДА ВЛАССОВСКАЯ**. Съ иллюстр. В. А. Табурина. Изданіе 4-е. Цѣна въ переплетѣ 3 р.

ВТОРАЯ НИНА. Съ илл. И. В. Симакова. Изд. 3-е. Ц. въ переплетѣ 3 р.

** **ДЖАВАХОВСКОЕ ГНѢЗДО**. Съ иллюстр. И. Гурьева. Изд. 2-е. Ц. въ перепл. 3 р.

Автобіографическія повѣсти.

○ **ЗА ЧТО? Съ иллюстр. И. Гурьева. Изд. 3-е Ц. въ переплетѣ 3 р.

○ **БОЛЬШОЙ ДЖОНЪ**. Съ илл. И. Гурьева. Изд. 2-е. Ц. въ переплетѣ 3 р.

НА ВСЮ ЖИЗНЬ. Юность Лиды Воронской. Съ илл. И. Гурьева. Ц. въ переплетѣ 3 р.

ЦѢЛЬ ДОСТИГНУТА Съ рис. И. Гурьева. Ц. въ переплетѣ 3 р.

Повѣсти для юношества.

○ **СЕСТРА МАРИНА**. Съ илл. Е. П. Самокишъ-Судковской. Ц. въ перепл. 3 р.

ЛѢСОВИЧКА. Съ илл. З. Шапиро. Изд. 2-е. Ц. въ переплетѣ 3 р.

ПРОДАННЫЙ ТАЛАНТЪ. Съ илл. В Полякова. Изд. 2-е. Ц. въ папочномъ переплетѣ 60 к.

Историческія повѣсти для юношества.

○ **ГАЗАВАТЪ. Съ илл. І. І. Смукровича. Изд. 3-е. Ц. въ переплетѣ 3 р. 50 к.

** **ГРОЗНАЯ ДРУЖИНА**. Съ илл. худ. С. Панова. Изд. 2-е. Ц. въ перепл. 3 р. 50 к.

○ **ПАЖЪ ЦЕСАРЕВНЫ. Съ илл. А. Бальдингера. Изд. 2-е. Ц. въ перепл. 3 р. 50 к.

○ **СМѢЛАЯ ЖИЗНЬ. Съ илл. Е. П. Самокишъ-Судковской. Изд. 3-е. Ц. въ переплетѣ 3 р. 50 к.

ЖЕЛАННЫЙ ЦАРЬ. Съ илл. И. Гурьева. Ц. въ перепл. 3 р. 50 к.

○ **ОДИНЪ ЗА ВСѢХЪ**. Съ иллюстр. и снимк. съ карт. Нестерова, Новоскольцева, Брюллова и друг. Ц. въ переплетѣ 2 р.

ЕВФИМІЯ СТАРИЦКАЯ. Изд. 2-е. Ц. 1 р.

Повѣсти для дѣтей.

БИЧО-ДЖАНЪ. Приключенія кавказскаго мальчика. Съ рис. Е. Лебедевой. Ц. въ перепл. 2 р. 50 к.

ДОМЪ ШАЛУНОВЪ. Съ илл. А. Бальдингера. Ц. въ переплетѣ 3 р.

** **ЗАПИСКИ МАЛЕНЬКОЙ ГИМНАЗИСТКИ**. Съ илл. А. Бальдингера. Изд. 3-е. Ц. въ переплетѣ 2 р. 50 к.

** **ЗАПИСКИ СИРОТКИ**. Съ илл. Э. Соколовскаго. Изд. 3-е. Ц. въ перепл. 1 р. 75 к.

ЛИЗОЧКИНО СЧАСТЬЕ. Съ илл. В. А. Табурина и И. В. Симакова. Изд. 3-е. Ц. въ переплетѣ 2 р. 50 к.

ПЕРВЫЕ ТОВАРИЩИ. Съ иллюстр. Э. Соколовскаго. Изд. 3-е. Ц. въ пер. 1 р. 75 к.

СИБИРОЧКА. Съ илл. И. И. Гурьева. Изд. 2-е. Ц. въ переплетѣ 3 р.

○ **СЧАСТЛИВЧИКЪ. Съ иллюстр. худ. И. Гурьева. Ц. въ пер. 3 р.

ТАСИНО ГОРЕ. Съ илл. И. В. Симакова. Изд. 2-е. Ц. въ переплетѣ 2 р. 50 к.

ТРИНАДЦАТАЯ. Съ рисунк. В. Спасскаго. Ц. въ перепл. 3 р.

ЩЕЛЧОКЪ. Съ рис. И. Гурьева. Ц. въ переплетѣ 2 р. 25 к.

ЮРКИНЪ ХУТОРОКЪ. Съ илл. И. В. Симакова. Изд. 2-е. Ц. въ перепл. 2 р. 50 к.

Историческія повѣсти для дѣтей.

○ **ТАКЪ ВЕЛѢЛА ЦАРИЦА**. Съ илл. А. Бальдингера. Изд. 2-е. Ц. въ пер. 1 р. 50 к.

ЦАРСКІЙ ГНѢВЪ. Съ илл. А. Бальдингера. Изд. 2-е. Ц. въ перепл. 1 р. 25 к.

○ **НА РАДОСТЬ ЦАРЕВИЧУ**. Изъ дѣтской жизни имп. Петра В. Съ рис. Е. Лебедевой. Ц. 25 к.

Сказки.

○ **ВЕЧЕРА КНЯЖНЫ ДЖАВАХИ. Сказанія старой Барбалэ. Съ рис. Н. Н. Каразина, И. Гурьева и др. Ц. въ пер. 2 р. 25 к.

** **СКАЗКИ ГОЛУБОЙ ФЕИ**. Съ рис. В. Мельникова, Э Шапиро и др. Изд. 3-е. Ц. въ переплетѣ 1 р. 75 к.

Разсказы для малютокъ.

КОГДА МЫ БЫЛИ МАЛЕНЬКІЕ. Съ хром. карт. Изд. 3-е. Ц. въ папочн. пер. 90 к.

РЫЖИКЪ И ЧЕРНУШКА. Съ хром. карт. А. Гейера. Изд. 2-е. Ц. въ пап. пер. 1 р. 50 к.

ВОВИКЪ. Полу-быль полу-сказка, съ илл. барона Деметра. Изд. 2-е. Ц. 30 к.

НА КРАЙ СВѢТА. Съ илл. Б. К. Кильверта. Ц. 15 к.

СЧАСТЛИВЫЙ ЦВѢТОКЪ. Съ рис. И. Гурьева. Ц. въ пап. 30 к.

Стихи.

○ **ГОЛУБАЯ ВОЛНА**. Стихи и пѣсни для юнош. съ илл. Ц. въ пер. 1 р. 75 к.

ВЕСЕЛАЯ ДЮЖИНКА. Книжка стишковъ для маленьк. дѣтей, съ илл. Изд. 2-е. Ц. въ папкѣ 50 к.

СМѢШНЫЯ МАЛЮТКИ. Шутки и прибаутки. Съ рис. Ц. 30 к.

Пьесы.

ЛУЧШІЙ ДАРЪ. Волшебная картина въ одномъ дѣйствіи. Съ рис. М. Кипина. Ц. 15 к., въ папкѣ 30 к.

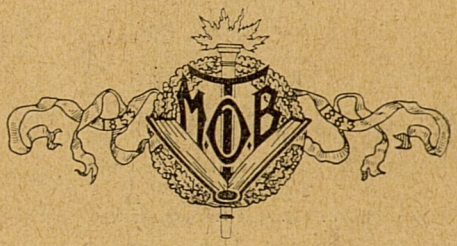
Ѳедя Крыловъ вскочилъ на каѳедру и заявилъ...

ЦѢЛЬ ДОСТИГНУТА

ТРИ ГОДА ЖИЗНИ ЛИДЫ ВОРОНСКОЙ

ПОВѢСТЬ ДЛЯ ЮНОШЕСТВА

Л. А. ЧАРСКОЙ



1914 г.

Съ рисунками И. Гурьева

ИЗДАНІЕ
Т-ВА М. О. ВОЛЬФЪ
Петроградъ
Гостин. Дв., 18 и Невскій, 13
Москва
Кузнец. М., 12 и Тверская, 22
1915

ПЕЧАТЬ ТИПОГРАФІИ
Т-ва М. О. ВОЛЬФЪ
ПЕТРОГРАДЪ. Вас. Остр. 16 линія Соб. Дом.
1915

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

I.

ДЛИННЫЙ, длинный коридоръ. По обѣимъ сторонамъ высокія, большія двери. Надъ ними надписи: «библіотека», «музыкальный классъ», дальше «репетиціонная» и т. п. А въ самомъ концѣ, надъ дальней дверью, небольшой образъ, свидѣтельствующій о томъ, что это церковь.

Осеннее солнце бѣлыми зайчиками играетъ по ровнымъ квадратикамъ паркета, ярко освѣщая коридоръ.

Я останавливаюсь у третьей двери направо, съ небольшою вывѣскою: «канцелярія».

Тамъ, за этой наглухо закрытой дверью, моя судьба.

Сердце мое бьется сильно-сильно, когда я похолодѣвшею рукою дотрагиваюсь до мѣдной ручки. И, когда

дверь быстро распахивается передо мною, я сразу точно проваливаюсь куда-то, въ какую-то клокочущую бездну.

«Ну, Лида Воронская-Чермилова, крѣпись! Ты сама вѣдь жаждала этого,—повторяю я мысленно.—Никто не толкалъ тебя въ это огромное, внушительнаго вида зданіе, съ широкою лѣстницею, длиннымъ коридоромъ и таинственно заманчивыми залами. Собери же все твое мужество, вспомни, ради кого ты пришла сюда завоевывать трудно-достижимое, и крѣпись».

Но, какъ ни стараюсь я подбодрить себя, мои колѣни подгибаются, а руки дрожатъ, когда я переступаю «роковой» порогъ.

Первое, что бросается мнѣ въ глаза, это большой письменный столъ, передъ нимъ—широкое кресло. Въ креслѣ—господинъ въ синемъ вицъ-мундирѣ, свѣтлый блондинъ, плотный, со свѣжимъ, еще далеко не старымъ лицомъ, съ тонко закрученными длинными усами и быстрымъ живымъ взглядомъ карихъ глазъ. «Совсѣмъ какъ институтскій преподаватель», мелькаетъ въ моемъ умѣ.

И совершенно упустивъ изъ вида, что мнѣ двадцатый годъ, я отвѣшиваю незнакомому господину самый «непозволительно-низкій» реверансъ, точно я какая-нибудь пятиклассница-институтка.

Затѣмъ багрово краснѣю, сразу понявъ свою ошибку, нелѣпо складываю руки «коробочкой», какъ это дѣ-

лаютъ институтки, когда имъ приходится выслушивать выговоръ начальницы и инспектриссы, и молчу, вытаращивъ глаза на господина въ синемъ вицъ-мундирѣ. А въ головѣ невидимые молоточки стучатъ: «Кончено! Осрамилась! Совсѣмъ осрамилась на вѣки вѣковъ и безповоротно. О, глупая, трижды глупая Лида!»

Вѣроятно, я представляю собою довольно комическую фигуру, потому что легкая улыбка морщитъ румяныя губы господина въ вицъ-мундирѣ. Онъ привстаетъ со своего мѣста и съ ободряющимъ выраженіемъ на лицѣ говоритъ:

— Вы, вѣроятно, желаете быть допущены къ конкурсному экзамену и подавали прошеніе? Ваши бумаги здѣсь?

— Да,—вырывается у меня такъ, точно отъ моего отвѣта зависитъ мое дальнѣйшее «жить или умереть»,— я послала сюда прошеніе и бумаги.

— Ваша фамилія?—обращается онъ ко мнѣ съ вопросомъ, роясь въ то же время въ цѣлой кипѣ бумагъ, лежавшихъ грудой передъ нимъ на письменномъ столѣ.

— Лида Воронская,—выпаливаю я какъ-то ужъ слишкомъ быстро и... мгновенно цѣпенѣю отъ ужаса.

Какая же я Лида, да еще Воронская, когда мое настоящее имя Лидія и уже второй годъ я больше не Воронская, а Чермилова!

Волнуясь, я хочу поправить свою ошибку и, пылая отъ смущенія, начинаю лепетать что-то по адресу

склоненной надъ бумагами бѣлокурой головы. Дѣлаю какіе-то несуразные жесты, ломаю свои тонкіе пальцы, но сказать толкомъ ничего не могу.

Слава Богу! Господинъ въ синемъ вицъ-мундирѣ ничего не замѣчаетъ. Онъ весь ушелъ въ свою работу: ищетъ съ завиднымъ терпѣніемъ мое прошеніе среди вороха бумагъ и не находитъ.

— Странно! Гм! Очень странно!—говоритъ онъ послѣ самыхъ энергичныхъ поисковъ.—Прошенія Лидіи Воронской здѣсь нѣтъ.

— Ну, конечно!—отвѣчаю я, мгновенно приходя въ себя.—У васъ и не можетъ быть прошенія Лидіи Воронской.

— То-есть, что вы хотите этимъ сказать?

Проницательные глаза при этихъ словахъ смотрятъ строго, почти сердито въ мое лицо.

— Ахъ, извините,—снова приходя въ смущеніе, роняю я голосомъ, мрачнымъ и безнадежнымъ,—я... я... ошиблась... я... не Лида Воронская, а Лидія Чермилова... Воронская это моя дѣвичья фамилія. А я замужемъ.

— Замужемъ?—спрашиваетъ удивленно «вицъ-мундиръ».—Такая молоденькая и уже замужемъ!

И онъ смотритъ на меня удивленными глазами. Въ лицѣ его я вижу не то недовѣріе, не то сомнѣніе, правду ли я говорю.

Тогда я быстро-быстро начинаю объяснять ему, что

Прошенія Лидіи Воронской здѣсь нѣтъ...

мнѣ скоро двадцать лѣтъ, что замужемъ я уже почти два года, что я мать шестимѣсячнаго мальчика и что рѣшила работать для моего ребенка; хочу, во-первыхъ сама, моимъ трудомъ, поднять его на ноги, а во-вторыхъ, хочу добиться славы, чтобы мой ребенокъ могъ впослѣдствіи гордиться своею матерью, и вотъ, по этимъ двумъ причинамъ, прошу зачислить меня въ конкурентки, имѣющія доступъ къ экзамену на драматическіе курсы.

Слова какъ пули вылетаютъ изъ моего рта. Я говорю, не останавливаясь ни на минуту. Видя, что господинъ въ вицъ-мундирѣ слушаетъ меня внимательно и не прерываетъ, я уже не могу удержаться и... начинаю, неизвѣстно зачѣмъ и для чего, описывать наружность «моего маленькаго принца», какъ я называю моего ребенка, разсказываю про его дѣтскій лепетъ, про его привычки, словомъ, все то, что меня такъ забавляетъ и радуетъ въ немъ.

Затѣмъ я объясняю моему слушателю, что мой мужъ офицеръ-стрѣлокъ, что онъ уѣхалъ въ глухую отдаленную мѣстность Сибири и раньше трехъ лѣтъ не вернется оттуда, что мужа моего я называю «рыцаремъ Трумвилемъ», а онъ меня «Брандегильдой», что прежде жили мы въ Царскомъ Селѣ, въ офицерскомъ флигелѣ стрѣлковаго баталіона, но что я свою квартиру называла «замкомъ», что, кромѣ мужа, у меня отецъ и мачеха, которыхъ я называю «Солнышко», и «мама-Нэлли», что

именно у нихъ я жила послѣ отъѣзда мужа и т. д. и т. д. *).

— Позвольте, позвольте!—смѣясь, прерываетъ меня «вицъ-мундиръ».—Не знаю, какое все это имѣетъ отношеніе къ вашему прошенію относительно допущенія васъ къ экзаменамъ?

— О, близкое, очень близкое!—возражаю я,—потому что я рѣшила оставить «Солнышко» и маму-Нэлли исключительно для того, чтобы поступить къ вамъ на курсы. А поступить я желаю во-первыхъ, потому что я уже вамъ объяснила причину...

— Все это прекрасно,—осторожно прерываетъ онъ меня.—Я вижу, что у васъ много темперамента, горячности и искренности. Для того дѣла, которому вы желаете посвятить себѣ, все это, конечно, очень желательно, но самое важное безграничная любовь къ нему. Она, эта любовь, пожалуй, даже важнѣе таланта, способностей, и безъ нея не добиться намѣченной цѣли...

Тутъ мой собесѣдникъ заговорилъ о театрѣ, о сценѣ, о драматическомъ искусствѣ, о томъ, сколько усилій и работы требуется для того, чтобы стать артисткою.

— Вы сказали, что хотите работать ради вашего ребенка. Это, конечно похвально. Но, мнѣ кажется, для этого вы выбрали не совсѣмъ подходящій путь... Чтобы посвятить себя сценѣ, искусству, нужно пре-

---

*) См. повѣсть «На всю жизнь».

жде всего любовь къ нему... Скажите, задавали ли себѣ вопросъ, достаточно ли у васъ любви къ искусству, чтобы переодолѣть всѣ тѣ трудности, которыя васъ ожидаютъ въ будущемъ на поприщѣ артистки?..

Минуту глаза господина въ вицъ-мундирѣ смотрятъ въ мои вопрошающимъ строгимъ взглядомъ, какъ будто желая угадать все, что происходитъ въ моей душѣ.

— Люблю ли я искусство?—говорю я, точно разбуженная его словами,—да я его не только люблю, я его обожаю... Я убѣждена, что это самое лучшее, что есть на землѣ... Вѣдь искусство—это правда и красота...—горячо продолжаю я.—Да, я, хочу стать артисткой, чтобы работать для моего ребенка, но вмѣстѣ съ тѣмъ я хочу стать артисткой потому, что я уже давно чувствую влеченіе къ сценѣ, къ театру, влеченіе и призваніе.

— Вы никогда не выступали на сценѣ?—прервалъ онъ меня.

— Ахъ, нѣтъ, если не считать двухъ любительскихъ спектаклей... Но съ дѣтства я упиваюсь отрывками трагедій, стихами... Съ дѣтства чувствую призваніе къ сценическому искусству, хотя имѣю о немъ пока лишь смутное понятіе... И я... я живу мечтою о чемъ-то большомъ и красивомъ, что должно поднять меня, на своихъ крыльяхъ и унести отъ земли...

— Все это прекрасно,—замѣчаетъ господинъ въ вицъ-мундирѣ и смотритъ на мою хрупкую, тоненькую, какъ у подростка-мальчугана, фигуру;—но вынесете ли

вы, подъ силу ли вамъ будетъ, тотъ трудъ, подъ которымъ сгибались гораздо болѣе крѣпкія спины? Путь, избранный вами, труденъ и тернистъ, а вы, въ сущности, еще дитя и хрупкое дитя при этомъ...

— Любовь къ моему ребенку и его ласки меня поддержатъ,—говорю я пылко и убѣжденно, тономъ, не допускающимъ возраженій.

— Но ваше здоровье? У васъ такой слабый голосъ, и сама вы такая худенькая, слабенькая...

— Ради Бога,—лепечу я въ волненіи, все сильнѣе и сильнѣе захватывающемъ меня,—не обращайте вниманія на это. Увидите, я все пересилю, я буду стараться, буду работать... примите только меня на ваши курсы, умоляю васъ!

И я съ мольбою складываю руки на груди.

Онъ хмуритъ густыя брови, и лицо его дѣлается совсѣмъ строгимъ.

— Это не отъ меня зависитъ, а отъ результата испытанія которому вы должны подвергнуться,—говоритъ онъ офиціальнымъ голосомъ и тономъ.—Вы говорите, ваша фамилія Чермилова? Лидія Чермилова? Да, ваши документы здѣсь у меня,—и, перелистывая ихъ, вскользь замѣчаетъ:—все въ порядкѣ. Вы кончили институтъ, аттестатъ здѣсь, и потому нѣтъ никакихъ препятствій къ допущенію васъ къ испытанію. Послѣднее же рѣшающее слово принадлежитъ уже конференціи.

— Ой!

Я снова проваливаюсь куда-то, и это «ой» звучитъ изъ глубины той бездны, куда скатилась сейчасъ моя испуганная душа. Это «ой» вызываетъ добродушную улыбку на румяныя губы господина въ вицъ-мундирѣ, и все лицо его, благодаря этой улыбкѣ, становится снова милымъ и простымъ.

Черезъ минуту онъ говоритъ опять строго и офиціально.

— Еще одно: вы замужемъ, а, по существующимъ правиламъ, безъ разрѣшенія мужа васъ принять нельзя будетъ, даже если вы выдержите испытаніе.

— Безъ разрѣшенія мужа!—вскрикиваю я, забывшись.—Да развѣ онъ можетъ запретить мнѣ то, что я хочу? Онъ—«рыцарь Трумвиль»! Настоящій, всамдѣлишній рыцарь!

Господинъ въ вицъ-мундирѣ улыбается.

Понявъ всю несуразность вырвавшейся фразы, я заливаюсь мучительнымъ румянцемъ.

— Впрочемъ, — добавляю я быстро, — разрѣшеніе у меня имѣется... Я завтра же представлю его вамъ.

— Въ такомъ случаѣ, вы можете явиться въ субботу къ экзамену,—говоритъ спокойно мой собесѣдникъ, дѣлая какую-то помѣтку на моемъ прошеніи.

Я снова «окунаюсь» совсѣмъ уже по-институтски и, исполненная смущенія, не помня себя, съ пылающими щеками выскакиваю за дверь.

Я уже успѣла спуститься до второй площадки широкой лѣстницы, когда сверху раздался голосъ выбѣжавшаго за мною господина въ вицъ-мундирѣ.

— Госпожа Чермилова, запомните, что экзаменаціонныя испытанія будутъ производиться въ будущую субботу, въ восемь часовъ вечера!

Я съ трудомъ удерживаюсь, чтобы не осрамиться въ десятый разъ, и, поклонившись «какъ взрослая», такъ стремительно сбѣгаю внизъ по отлогимъ ступенямъ, что у подававшаго мнѣ пальто швейцара полное недоумѣніе въ глазахъ.

— Кто этотъ господинъ въ вицъ-мундирѣ тамъ наверху?—спрашиваю я, одѣваясь въ передней.

— Это инспекторъ драматическихъ курсовъ при Императорскомъ театральномъ училищѣ, Викентій Прокофьевичъ Пятницкій, — объясняетъ важно швейцаръ.

— А-а!—произношу я машинально и выбѣгаю на улицу.

Въ душѣ моей цѣлый шквалъ, цѣлая буря... Надежда, сомнѣніе, страхъ и отчаяніе—все переплелось въ пестрый снопъ ощущеній и бурно кипитъ во мнѣ. Я стремительно несусь по тротуару, не обращая вниманія на встрѣчающихся прохожихъ. Я увлекаюсь до того своими мыслями, что начинаю жестикулировать. Какой-то старичокъ въ цилиндрѣ, попавшійся мнѣ навстрѣчу, которому я нечаянно наступила на ногу, отпу-

скаетъ что-то нелестное по адресу дурно воспитанной нынѣшней молодежи...

За угломъ встрѣчаю разносчика съ шарами... Красные, синіе, желтые... И... тутъ мои мысли сразу смѣняются другими, ничего общаго не имѣющими съ предстоящимъ испытаніемъ. «Который изъ этихъ шаровъ купить моему принцу?»—думаю я съ минуту, и покупаю три сразу: красный, желтый и голубой, и несусь снова къ моему милому маленькому сынишкѣ, несусь въ мою квартирку въ Кузнечномъ переулкѣ...

Уже издали я вижу его въ окнѣ: моя радость, мой «принцъ», мое маленькое солнышко, на рукахъ кормилицы.

Машу всѣми тремя шарами и кричу, забывшись, на всю улицу:

— Принцъ! Маленькій принцъ! Это тебѣ! Это тебѣ!

Прохожіе дѣлаютъ испуганныя лица. Городовой начинаетъ ужасно безпокоиться на своемъ посту.

Ахъ, какое мнѣ до нихъ всѣхъ, въ сущности, дѣло! Сію минуту на свѣтѣ насъ только двое: я и мой маленькій принцъ!

И я стремглавъ лечу черезъ дворъ, а спустя двѣ-три минуты трезвоню у двери.

Улыбающаяся румяная кухарка Анюта встрѣчаетъ меня:

— Ну, какъ? Благополучно ли, барыня?

Она, хотя только еще второй день служитъ у меня, посвящена во всѣ мои дѣла.

— Отлично! Прошеніе мое принято и въ субботу экзаменъ!—кричу я и съ тремя шарами въ рукахъ несусь въ дѣтскую.

Вотъ онъ, моя прелесть, бѣлокурый, кудрявый, свѣтлоглазый ребенокъ, немного хрупкій, немного блѣдный и тонкій,—совсѣмъ какъ его юная мать. Смотритъ на шары и улыбается мнѣ издали алыми губками.

О, прелесть моя!

Лаская и нѣжа его, перебирая пушистые кудерки и прижимая къ груди это безцѣнное для меня тѣльце, я рѣшаю мгновенно:

«Радость моя! Для тебя одного я должна завоевать будущее, для тебя буду работать, буду стараться стать большой и сильной, чтобы ты могъ вполнѣ гордиться твоей маленькой мамой! Чтобы ты могъ жить безъ лишеній, радостно, весело и свѣтло!»

Удастся ли мнѣ это?

II.

Вся слѣдующая недѣля проходитъ какъ въ чаду. Обѣ небольшія комнаты моей скромной квартирки оглашаются съ утра до вечера то какими-то странными выкриками, то низкими-низкими нотами, то веселымъ дѣтскимъ лепетомъ, поминутно прерываемымъ звонкимъ раскатистымъ смѣхомъ.

И дикіе крики, и тихій лепетъ, и низкія грудныя ноты и смѣхъ—все это мое. Это я для предстоящаго экзамена декламирую безсмертную Лермонтовскую поэму «Мцыри», или повторяю басню Крылова «Ворона и Лисица». Мрачный, умирающій, юный, одинокій мцыри, Лиса Патрикѣевна, ротозѣйка ворона,—все это чередуется одно съ другимъ. Я быстро перевоплощаюсь изъ одного лица въ другое. Такъ и надо. Необходимо даже. Путь, избранный мною, требуетъ отреченія отъ собственной личности, требуетъ перевоплощеній...

Меня могила не страшитъ,
Тамъ, говорятъ, страданье спитъ
Въ холодной вѣчной тишинѣ;
Но съ жизнью жаль разстаться мнѣ...

Это говоритъ юный умирающій мцыри.

Я вижу передъ собой угрюмое блѣдное лицо, пламенные глаза, прекрасную, гордую одинокую голову, и въ груди моей мгновенно разливается огонь сочувствія, жалости безысходной тоски. Мнѣ до боли жаль этого несчастнаго, одинокаго мцыри... Представляю въ его положеніи себя... Жаль и себя, безумно жаль. Онъ, я,—все смѣшивается... мцыри и я—одно и то же... Ахъ, какъ грустно и какъ сладко! Какая-то волна поднимается со дна души и захлестываетъ меня. Накатила, подхватила и понесла. Голосъ мой крѣпнетъ и растетъ.

И вспомнилъ я отцовскій домъ...
Ущелье наше и кругомъ
Въ тѣни разсыпанный аулъ...

Да, да, я вспоминаю и аулъ, и саклю мцыри... Мою саклю... Тамъ должны расти такія прекрасныя дикія кавказскія розы и грозно шумѣть горный потокъ... Тамъ я жила, тамъ бѣгала и рѣзвилась ребенкомъ... Или это только такъ кажется мнѣ?

Плачъ моего маленькаго «принца» приводитъ меня въ себя. Голова кормилицы Саши въ красивомъ голубомъ повойникѣ просовывается въ дверь.

— Барыня-касаточка, потише, пожалуйста,—Юреньку разбудишь.

Достаточно этихъ нѣсколькихъ словъ, и мцыри исчезаетъ мгновенно, а съ нимъ знойныя кавказскія розы и горный потокъ...

Я бѣгу къ милой колыбелькѣ, извлекаю изъ нея теплое, раскраснѣвшееся отъ сна крошечное существо, осыпаю его тысячами поцѣлуевъ и, смѣясь, декламирую съ ужимками, отъ которыхъ Саша валится со смѣхомъ на кровать:

Воронѣ гдѣ-то Богъ
Послалъ кусочекъ сыра...

Потомъ происходитъ торжественное облаченіе «принца», и мы выносимъ его на прогулку.

А вечеромъ, послѣ обычнаго купанія моего Юрика, я, наглухо заперевъ дверь въ дѣтскую и спустивъ тяжелую портьеру, начинаю снова:

Ты видишь на груди моей
Слѣды глубокіе когтей;

Еще они не заросли
И не закрылись; но земли
Сырой покровъ ихъ освѣжитъ,
И смерть на вѣки заживитъ...

Тутъ Анюта прерываетъ меня и разсказываетъ, что дворникъ утромъ, принеся дрова, спрашивалъ ее: «Что у васъ барыня-то молодая ровно какъ будто не въ себѣ? Домовладѣлица на этотъ счетъ безпокоится... До бѣлаго утра въ окнѣ у вашей барыни свѣтъ, и лопочетъ она что-то и руками размахиваетъ.. Намедни подъ окномъ видѣлъ. Всѣ ли у нихъ тутъ дома?» И онъ будто бы многозначительно покрутилъ пальцами около собственнаго лба.

— Я ему сказала,—прибавляетъ Анюта,—передай твоей хозяйкѣ, что наша барыня къ экзаменту готовится. А васъ просимъ покорно за нами не подглядывать у оконъ, а то съ квартиры съѣдемъ. Только и всего...

Вотъ онъ, наконецъ, насталъ страшный, рѣшающій день!

Экзаменъ на драматическихъ курсахъ назначенъ ровно въ восемь часовъ.

О, какъ безконечно тянется время! На улицѣ дождь, слякоть, сырость и туманъ. Въ моей крохотной квартиркѣ—уютъ, тепло и радость. Невинное люлюканье моего «принценьки», дѣтскій младенческій лепетъ и тихое воркованье. И пѣсни Саши, пѣсни про удальца-ко-

робейника, и про матушку-Волгу, и про Хазъ-Булата удалого...

Топится каминъ въ углу, но я вся дрожу. И въ ротъ не могу взять ни кусочка. Нѣтъ аппетита. Думаю только объ экзаменѣ. «Быть или не быть», говорилъ когда-то Гамлетъ, принцъ датскій, одинъ изъ героевъ Шекспира. Если выдержу—впереди карьера, работа во имя моего Юрика, трудъ женщины, гордый самостоятельный и красивый, надежда впослѣдствіи осуществить то, о чемъ я такъ мечтала, а можетъ быть, кромѣ того, имя, слава. Провалюсь—впереди сѣрое, будничное существованіе... Не хочу! Не хочу! Я должна поднять на собственный заработокъ моего «принценьку»... Именно на собственный трудъ, заработокъ. Но вмѣстѣ съ тѣмъ хочу, надѣюсь еще достичь славы, чтобы «принценька», мой мальчикъ свѣтлокудрый, гордился своей матерью. Да! Да! Да!

Ну, Брандегильда изъ замка Трумвиль, держись, моя милая, крѣпко!..

Какъ-то неожиданно-незамѣтно подползъ вечеръ. День тянется невозможно долго, а вечеръ точно внезапно упалъ.

Анюта убѣдила-таки меня проглотить двѣ-три ложки супа и съѣсть куриную лапку. Она и Саша облекли меня въ новое, моднаго тогда цвѣта морской воды платье, гладкое, простое, обвивающее узкимъ чехломъ мою худенькую дѣтскую фигуру. Отложной воротникъ

открываетъ ребячески-тонкую шею. Волнистые, непокорные густые волосы по обыкновенію растрепаны въ достаточной мѣрѣ. Глаза горятъ лихорадочно какъ у кошки.

Но лицо...

Царь Небесный, ну и личико же у будущей артистки! Цвѣтомъ оно напоминаетъ сейчасъ молодой зеленый салатъ,—такъ оно блѣдно-зелено отъ волненія. Щеки, лобъ и кончикъ носа холодны какъ у покойника, точно я пробыла на ледникѣ по крайней мѣрѣ цѣлыя сутки.

Дрожащими губами я цѣлую сонную головку сынишки и подхожу къ Сашѣ.

— Саша, — говорю я кормилицѣ моего сына, съ которой успѣла за эти нѣсколько мѣсяцевъ подружиться и сойтись, несмотря на разницу взглядовъ и положенія,—Саша, у меня нѣтъ матери... Отецъ за нѣсколько верстъ, и я знаю, что хотя онъ согласился отпустить меня, но не сочувствуетъ моему поступку. Перекрести меня ты... Благослови и пожелай счастья...

Она вспыхиваетъ до корней волосъ при этихъ словахъ. Потомъ все ея лицо вздрагиваетъ, силясь удержать волненіе. И вдругъ она разражается слезами.. Реветъ такъ, точно я иду на плаху, готовлюсь къ смерти.

— И на кой лядъ экзаменты эти выдумываютъ!— причитываетъ Саша, подперевъ щеку рукою.—Только

зря ребенка мучать! Ишь, съ личика даже спала за эти дни!

Несмотря на то, что ей самой только девятнадцать лѣтъ она, самымъ искреннимъ образомъ считаетъ меня «ребенкомъ». Она въ свои девятнадцать лѣтъ пережила слишкомъ много: смерть мужа и собственной малютки-дѣвочки, поступленіе въ пріютъ кормилицъ. Бѣдная Саша!

Сейчасъ она искренно плачетъ надо мною. Ей жаль меня за тѣ муки, которыя я испытываю сейчасъ. Жаль и себя попутно.

— Саша, не плачь,—говорю я,—а то я взволнуюсь и уже окончательно провалюсь на экзаменѣ. Понимаешь ли? Лучше исполни мою просьбу, перекрести меня и поцѣлуй.

Она затихаетъ мгновенно, поднимаетъ правую руку къ моему лбу и осѣняетъ меня истовымъ широкимъ крестомъ.

— Храни тебя, Господь, моя лапушка.

А въ крохотной прихожей Анюта съ вытаращенными отъ любопытства глазами шепчетъ:

— Дай Богъ! Въ добрый часъ, барыня!

Выхожу на воздухъ, шатаясь отъ волненія. Быстро перебѣгаю дворъ... Выхожу изъ воротъ...

— Извозчикъ! На экзаменъ.

— Чаво?

— Двугривенный.

— Куда это? Слышь, не понялъ.

— Ахъ!

Изъ зеленой я дѣлаюсь мгновенно багровой отъ смущенія. Ну, можно ли быть такой разсѣянной! Спѣшу исправить свою ошибку.

— На Театральную улицу, извозчикъ, къ зданію драматическихъ курсовъ—двугривенный.

III.

Шумъ сотни голосовъ достигаетъ моихъ ушей, когда я поднимаюсь по знакомой широкой лѣстницѣ.

Въ длинномъ коридорѣ пятаго этажа, между церковью на одномъ концѣ и залою на другомъ, цѣлая толпа людей обоего пола. Огромная пестрая толпа. Здѣсь и нарядныя, роскошно одѣтыя какъ на балъ барышни въ полуоткрытыхъ платьяхъ и длинныхъ перчаткахъ до локтей, съ вычурными прическами; здѣсь и скромно, бѣдно одѣтыя фигурки въ коричневыхъ и черныхъ платьицахъ, иныя при черныхъ фартучкахъ, какъ гимназистки; здѣсь и женщины среднихъ лѣтъ, здѣсь и молодыя, и совсѣмъ еще юныя дѣвочки, лѣтъ пятнадцати и шестнадцати на видъ. Мужчины—почти всѣ молодые, съ бритыми по-актерски или еще лишенными всякой растительностя лицами. Нѣкоторые изъ нихъ въ черныхъ сюртукахъ, другіе въ простыхъ ученическихъ рубашкахъ, опоясанныхъ ремнемъ съ пряжкою. У всѣхъ въ рукахъ книги или тетрадки. Всѣ лица возбуждены,

взволнованы, неестественно блѣдны или неестественно красны. И въ глазахъ, тамъ гдѣ-то въ глубинѣ зрачковъ, тихій, затаенный страхъ, порою граничащій съ отчаяніемъ. Нѣкоторые, однако, стараются скрыть свой страхъ и хотятъ показать, что они ничего не боятся

Красавецъ-блондинъ, съ пышной фигурой, щурится на окружающую его молодежь и цѣдитъ сквозь зубы.

— Не понимаю, чего тутъ волноваться, право. Ну, срѣжешься — что-жъ изъ этого? Можно обойтись и безъ курсовъ. И потомъ, мудрено срѣзаться. Продекламировать стихи и басню не велика хитрость.

— Однако,—возражаетъ ему худенькая маленькая брюнетка съ лицомъ итальянскаго мальчугана,—конкурсъ черезчуръ великъ: изъ ста конкурентовъ примутъ не больше двѣнадцати.

Только двѣнадцать!

Что-то падаетъ въ моей душѣ, и отчаяніе темнымъ потокомъ заливаетъ сердце.

Трудно надѣяться очутиться въ этомъ числѣ двѣнадцати счастливыхъ избранницъ. Прощай, моя чарующая, моя радужная мечта!..

По коридору, протискиваясь въ толпѣ, бѣжитъ полная, симпатичная, еще молодая дама въ синемъ платьѣ, съ пенснэ на маленькомъ, чуть вздернутомъ носикѣ.

— Это здѣшняя классная дама. Ее зовутъ Викторія Владимировна Ювенъ,—шепчетъ «итальяночка».

— Вотъ тебѣ разъ! Классная дама!—баситъ около

длинный, худой какъ щепка, молодой человѣкъ, съ оливково-смуглымъ лицомъ и черными, гладко причесанными волосами.—А какъ же мы-то, т.-е. мужская половина? У насъ мужчинъ развѣ тоже будетъ классная дама?

— Да, и мы тоже подпадемъ подъ ея начальство, если удостоимся поступленія,—говоритъ пріятнымъ, женственно-мягкимъ голосомъ его сосѣдъ, красивый юноша со страннымъ выраженіемъ блѣднаго разсѣяннаго лица.

Я смотрю въ это лицо, и мнѣ кажется, что вижу на немъ ясно и четко печать таланта. «Этотъ будетъ принятъ внѣ всякаго сомнѣнія. Счастливецъ!»—рѣшаетъ за меня кто-то посторонній въ моей душѣ, и я ловлю себя на нехорошемъ чувствѣ: я завидую этому юношѣ, у котораго на лицѣ явно выражено несомнѣнное дарованіе.

— Господа!—прерываетъ мои мысли запыхавшаяся классная дама,—пожалуйте всѣ внизъ на сцену. Члены конференціи уже тамъ и ждутъ васъ. Только безшумно, господа. Пожалуйста, потише.

Сто человѣкъ, какъ одинъ, устремляются въ дальній конецъ коридора, слѣдомъ за Викторіей Владимировной Ювенъ. Тамъ, рядомъ съ церковной дверью—другая, ведущая на сцену, соединенную съ верхнимъ коридоромъ «черною», довольно-таки холодною лѣстницею. Вся толпа экзаменующихся тѣснится нѣсколько минутъ у этой двери.

— Pardon,—я слышу тихій окликъ справа и, скользнувъ взглядомъ по высокой фигурѣ дѣвушки, одѣтой въ скромное коричневое платье, замираю отъ неожиданности. Предо мною блѣдное до прозрачности, маленькое личико, съ сине-зелеными, неестественно ярко горящими глазами подъ ровными дугами черныхъ бровей. Пышные, непокорные черные волосы, сухіе и мягкіе, оттѣняютъ своей черной копной это блѣдное лицо, милое, знакомое лицо.

— Ольга! Родная моя! Ты ли это?

— Лида Воронская! Милый Вороненочекъ!

Мы стоимъ другъ передъ другомъ, держимся за руки и безпричинно смѣемся счастливымъ дѣтскимъ смѣхомъ.

— Какими судьбами, Оля?

— Лидуша, а ты? Какъ ты попала? Экзаменуешься?

— И ты?

— Конечно!

Это—Ольга Елецкая, моя институтская подруга. Два года со дня выпуска мы не видѣлись съ «Бѣлымъ Лотосомъ»,—какъ называли Олю въ институтѣ. *) Я успѣла за это время выйти замужъ и получить отъ Бога мое ненаглядное сокровище—маленькаго «принца». У Ольги, я слышала, умерла мать. Видно, что она перенесла тяжелую утрату: горько сжаты ея узкія тонкія

*) См. повѣсть «За что?».

губы и какая-то грусть залегла въ чертахъ ея мечтательнаго незаурядно-интереснаго лица.

Мы все еще стоимъ другъ передъ другомъ, жадно смотримъ въ лицо одна другой и видимъ въ чертахъ другъ друга уже отошедшія беззаботныя отрочество и юность.

— Что твой отецъ? Мачеха? Что Большой Джонъ, о которомъ ты намъ любила разсказывать? Братья?— роняетъ своимъ груднымъ голосомъ Ольга.

— Они всѣ здоровы,—говорю я,—всѣ живы и здоровы... кромѣ Большого Джона. Большой Джонъ, мой лучшій другъ, утонулъ въ Невѣ *).

Ольга молчитъ съ минуту, подавленная, грустная. Она его знала этого погибшаго, милаго юношу, друга моей юности. Она видѣла его въ институтѣ, гдѣ онъ посѣщалъ меня и гдѣ перезнакомился со всѣми моими товарками по классу **).

— А у меня есть теперь маленькій «принцъ» и еще «рыцарь Трумвиль» въ далекой Сибири, — прибавляю я послѣ краткаго молчанія.

— Ты все та же неисправимая мечтательница и шалунья, какою была въ институтѣ,—говоритъ она съ тихой и грустной улыбкой:—все у тебя принцы, да рыцари... Догадываюсь: рыцарь—твой мужъ, а принцъ—ребенокъ. Вѣдь вѣрно?.. А вотъ я со дня смерти мамы

*) «Большой Джонъ».

**) См. повѣсть: «На всю жизнь».

такъ несчастна, милая Лида! Одно только искусство меня можетъ воскресить.

Я крѣпко жму ея руку... Насъ толкаютъ немилосердно. Классная дама кричитъ:

— Masdames, вы поговорите послѣ. Будьте добры сойти внизъ...

— Совсѣмъ какъ въ институтѣ,—шепчу я, пропуская Ольгу впередъ.

— Замѣть, и форма та же, что у нашихъ «классныхъ дамъ».

Нашъ разговоръ перерывается громкимъ энергичнымъ приказомъ.

— Господа! На сцену!

Унесенная общимъ потокомъ, я спускаюсь объ руку съ Ольгой съ лѣстницы и попадаю въ какой-то коридоръ, снова поднимаюсь на четыре ступеньки и сразу появляюсь на подмосткахъ довольно большой, совершенно пустой, сцены, оцѣпленной двумя рядами стульевъ, поставленныхъ полукругомъ. Когда мы появляемся съ Ольгой, большая часть стульевъ уже занята. Полненькая классная дама неутомимо хлопочетъ.

— Садитесь, господа. Занимайте мѣста. Не задерживайте начальства.

Тутъ только я вспоминаю, что помимо сцены существуетъ зрительный залъ по ту сторону электрической рампы. Поворачиваю туда голову и замираю. Десятки биноклей направлены къ намъ на сцену. Громкій ожи-

вленный говоръ, пестрота нарядовъ актрисъ съ именемъ и безъ имени, пріѣхавшихъ взглянуть на «новенькихъ» экзаменующихся, сногсшибательныя шляпы съ колышащимися на нихъ перьями, выразительныя подвижныя бритыя лица актеровъ и, наконецъ, первый рядъ, занятый администраціей и «свѣтилами» нашей образцовой сцены, — все это смѣшалось, слилось въ моихъ глазахъ.

У меня закружилась голова, зашумѣло въ ушахъ, и подкосились ноги.

Вѣроятно, лицо мое приняло зеленый оттѣнокъ послѣдней степени, потому что Ольга подхватила меня за талію и усадила на стулъ.

— Ну, можно ли волноваться такимъ образомъ! Вѣдь головы не снимутъ!—увѣщеваетъ она меня.

— Лотосъ, — шепчу я ей на ухо по старой институтской привычкѣ, — да вѣдь намъ съ тобой срѣзаться нельзя...

— Понятно!

— Значитъ, надо выдержать обязательно,—говорю я такъ громко, что сосѣдка слѣва, оказавшаяся красавицей-блондинкой, развязно болтавшей наверху въ коридорѣ, презрительно щурится на меня сквозь лорнетъ, а Ольга вспыхиваетъ блѣднымъ слабымъ румянцемъ.

Звонъ колокольчика даетъ новое направленіе моимъ мыслямъ.

Тамъ, въ зрительномъ залѣ, съ одного изъ креселъ

поднимается знакомая уже мнѣ фигура въ синемъ вицъ-мундирѣ. Это инспекторъ драматическихъ курсовъ, Виталій Прокофьевичъ Пятницкій. Въ его рукахъ большой листъ, — въ немъ помѣчены фамиліи экзаменующихся.

— Господа! Милостивыя государыни и милостивые государи!—говоритъ онъ твердымъ, точно чеканящимъ голосомъ.—Изъ ста слишкомъ желающихъ попасть въ число учениць и учениковъ драматическихъ курсовъ въ этомъ году могутъ быть приняты не болѣе одиннадцати человѣкъ, ибо имѣется всего пять мужскихъ и шесть женскихъ вакансій. Сейчасъ начнется экзаменъ. Такъ какъ на курсы принимаются исключительно лица, получившія среднее образованіе, то экзаменъ будетъ состоять, главнымъ образомъ, въ опредѣленіи, есть ли у васъ способности къ сценѣ, къ драматическому искусству. Но прошу помнить, что, помимо выразительности декламаціи и отчетливости, отъ васъ требуется еще и громкій голосъ. Поэтому просимъ васъ читать насколько возможно громко и четко. Говорящихъ слабымъ, тихимъ голосомъ заранѣе предупреждаю, мы не дослушаемъ до конца... А теперь, милостивыя государыни и милостивые государи, мы приступимъ.

— Господи, какъ страшно!—прозвучалъ чей-то жалобный голосокъ позади меня, лишь только замолкъ голосъ инспектора.

Я живо оглянулась. Полненькая, румяная, съ толстой русой косой и большими выпуклыми глазами, не-

обыкновенно симпатичная дѣвушка незамѣтно перекрестилась мелкимъ крестомъ.

— Вы боитесь?—участливо спросила ее Ольга.

— Ужасно! — откровенно созналась она и широко, по-дѣтски улыбнулась, обнаруживая прекрасные бѣлые какъ кипень зубы и пару нѣжныхъ ребяческихъ ямочекъ на полныхъ румяныхъ щекахъ,

— Позвольте представиться—Маруся Алсуфьева,— съ тою же милой улыбкой протянула она руку сначала Ольгѣ потомъ мнѣ.

Опять звонъ колокольчика, переворачивающій «все нутро», какъ у насъ говорилось въ институтѣ, и полная тишина воцарилась въ маленькомъ школьномъ театрѣ.

Экзаменъ начался.

IV.

Насъ вызываютъ по алфавиту. Голосъ невидимаго человѣка, должно быть, помощника инспектора, первой называетъ Амаданову.

Я бросаю взглядъ за рампу. Сколько людей собралось въ маленькой сравнительно залѣ! Сколько-биноклей направляются на высокую, худенькую гимназистку (разумѣется, уже окончившую гимназію, такъ какъ на курсы принимаютъ только по окончаніи средне-учебнаго заведенія). Дѣвушка съ двумя по-дѣтски спущенными косичками, съ помертвѣвшимъ отъ страха

лицомъ, выходитъ на край сцены, присѣдаетъ, точно окунается куда-то, и дрожащимъ непріятно-визгливымъ голосомъ начинаетъ выкрикивать монологъ Маріи изъ пушкинской «Полтавы», дико вращая глазами и дѣлая отчаянные жесты.

— Ой-ой-ой, какъ плохо! Плохо и смѣшно. Бѣдная гимназисточка! И зачѣмъ она пришла экзаменоваться. Сомнѣнія нѣтъ,—ея не примутъ.

Въ заднихъ рядахъ раздаются то и дѣло сдавленные смѣшки. Тамъ сидятъ второкурсники и третьекурсники, уже протянувшіе лямку двухъ лѣтъ училищной работы.

— Господи, сохрани меня и помилуй! — слышу я снова позади себя. — Помолитесь за меня, милыя коллеги, сейчасъ моя очередь.

И Маруся Алсуфьева, вся малиновая, поднимается со своего мѣста.

— Марія Алсуфьева!—раздается голосъ инспектора.

Алсуфьева идетъ неровной, подпрыгивающей дѣтской походкой на средину сцены.

Минута молчанія.

— «Стрекоза и муравей»,—раздается звонко на весь театръ.

Попрыгунья-стрекоза
Лѣто красное пропѣла...

Просто, мило и весело, несмотря на дрожь волненія, на трепетъ страха, льется пріятный, дѣтски-звонкій

голосокъ Маруси. Въ залѣ то и дѣло звучатъ сочувственные смѣшки.

Энергичное «шш» классной дамы заставляетъ всѣхъ смолкнуть. Но черезъ минуту смѣшки возобновляются снова.

— Га-га! Хорошо!—вырывается неожиданно басомъ изъ «рая», то есть изъ самыхъ заднихъ мѣстъ залы.

Инспекторъ вкаскиваетъ со своего стула и устремляется туда.

— Господа, прошу тише!

Въ эту минуту входная дверь широко раскрывается. На порогѣ ея появляется полная, средняго роста, фигура въ длинномъ черномъ сюртукѣ, съ массивной золотой цѣпью на жилетѣ.

Вижу лицо, которое, встрѣтивъ однажды, нельзя уже забыть никогда. Широкое, бритое, живущее каждой черточкой, каждымъ фибромъ, съ необыкновенно умными глазами, пронизывающими насквозь вашу душу и въ то же время ясными, дѣтскими, чистыми и жгуче молодыми, и надъ ними почти бѣлые отъ сѣдины волосы.

— Это Давыдовъ, самъ Давыдовъ! — слышу я восторженный шопотъ среди экзаменующихся.

Да, это былъ Владиміръ Николаевичъ Давыдовъ, знаменитый артистъ-художникъ образцоваго театра, гордость и слава русской сцены.

Священный трепетъ проникаетъ въ наши сердца.

Холодная какъ ледъ рука Ольги стискиваетъ до боли мои пальцы.

— Это вѣдь нашъ будущій руководитель, нашъ маэстро, если только мы попадемъ на курсы! — лепечетъ она, и глаза ея дѣлаются зелеными отъ волненія и восторга, точь въ точь какъ тогда, въ институтскихъ стѣнахъ, въ нашемъ отрочествѣ, въ минуты захватывавшаго ее экстаза.—О, Лидочка, моя милая, какъ жутко и какъ хорошо!

— Да! — соглашаюсь я, не переставая смотрѣть на Давыдова, котораго видѣла выступавшимъ въ созданныхъ имъ роляхъ Расплюева въ «Свадьбѣ Кречинскаго» и Фамусова въ «Горе отъ ума».

Когда знаменитый артистъ съ улыбкой кивнулъ головою намъ на сцену, какъ бы желая подбодрить бѣдняжекъ-экзаменующихся, весь маленькій театръ точно залило свѣтомъ этой улыбки, точно ярче и наряднѣе засіяло въ немъ электричество, точно вошла въ нашъ кругъ сверкающая радость, и всѣ какъ будто оживились, ожили...

За «Стрекозой и муравьемъ» Алсуфьева прочла какой-то необыкновенно комическій отрывокъ, отъ котораго старшіе два курса «въ раѣ» покатывались со смѣху, не обращая уже теперь вниманія на энергичные призывы къ порядку со стороны классной дамы. А въ первомъ ряду снисходительно улыбалось «начальство».

Умное, подвижное лицо Давыдова тоже озарилось свѣтлой улыбкой.

Багрово-красная вернулась Алсуфьева на свое мѣсто, дрожавшими руками поправляя выбившіеся изъ ея тяжелой косы непокорные русые завитки.

— Ну, что? — обратилась она къ намъ съ вопросомъ.

— Хорошо! Очень, очень хорошо! Отлично! Великолѣпно!—вырвалось у насъ съ Ольгой дуэтомъ, вызывая благодарную улыбку на лицѣ Маруси.

Послѣ Алсуфьевой потянулась длинная вереница экзаменующихся дѣвушекъ, женщинъ и мужчинъ. Иные читали недурно, другіе скверно, иные очень смѣшно, наивно, а иные и совсѣмъ уже нелѣпо.

Мы съ Ольгой внимательно прислушивались къ тому, что происходило на сценѣ, и лишь во время перерыва спѣшили передать другъ другу все то, что произошло съ нами за эти два года разлуки. Какъ странно складывалась наша встрѣча... Думали ли мы обѣ тамъ, на институтской скамьѣ, что сойдемся снова на трудномъ поприщѣ артистической жизни, о которой мы даже и не мечтали тогда! Ольга шла сюда по призванію, я — тоже. Правда, обѣ мы чувствовали любовь и влеченіе къ театру. Но цѣли мы преслѣдовали разныя: Ольгѣ нечѣмъ было жить, и она рѣшила поступить на сцену, чтобъ заработать себѣ, какъ говорится, на хлѣбъ; я же была вполнѣ обезпечена, могла жить на средства мужа,

отца, но захотѣла на собственный трудъ поднять на ноги моего «принца», добыть себѣ положеніе собственными силами и способностями, и работать сама для благополучія моего ребенка... Но рядомъ съ этимъ меня влекла на сцену мечта посвятить себя искусству, которое я считала самымъ истиннымъ, самымъ свѣтлымъ *).

— Ольга Елецкая!—раздался вдругъ призывающій голосъ, мы вздрогнули обѣ отъ неожиданности.

— Какъ! Неужели буква Е подошла такъ скоро!

Теперь передъ залитой электричествомъ рампой стояла Ольга. Мнѣ невидно ея лица. Но я напрягаю все свое зрѣніе, чтобы разглядѣть выраженіе лицъ у совѣта конференціи, тамъ за рампой, чтобы судить о впечатлѣніи, производимомъ на нихъ читкою моей институтской товарки. Я буквально впилась въ лицо Давыдова. По этому умному, прекрасному своимъ выраженіемъ, очень полному, бритому лицу медленно проползаетъ улыбка. У Ольги низкій, немного глуховатый голосъ, но тотъ подъемъ, который переживаетъ она, не можетъ не передаться слушателю.

— Чуденъ Днѣпръ при тихой погодѣ, когда...—читаетъ Ольга безсмертное произведеніе Гоголя. И, выражая оттѣнками своего голоса малѣйшія перемѣны могучей и прекрасной рѣки, такими художественными красками описанныя геніальнымъ классикомъ, Ольга то понижаетъ, то повышаетъ, то замедляетъ, то ускоряетъ

*) См. повѣсть: „На всю жизнь“.

темпъ декламаціи. Эта безусловно артистически выработанная читка. Когда она кончила, шопотъ одобренія пронесся по залѣ.

Потомъ она читала стихи. Красивые и звучные стихи модной поэтессы:

Ліонель—мой милый братъ—
Любитъ солнечный закатъ и т. д.

«Бѣлый Лотосъ» остался вѣренъ себѣ и своимъ вкусамъ. Таинственно-мистическая, мечтательная душа Ольги Елецкой, нашей Елочки, какой она была въ институтѣ, осталась и теперь такою же нѣжной подругой всего необыкновеннаго, красиво-таинственнаго...

Когда она вернулась ко мнѣ съ неестественно расширенными глазами, вся блѣдная отъ волненія, я крѣпко сжала ея крупныя руки и шепнула ей тихо:

— Это было такъ прекрасно, такъ прекрасно, что ты имъ декламировала! Ахъ, какъ хорошо ты имъ читала, Ольга! Совсѣмъ какъ настоящая законченная артистка!

— Да?

Больше она ничего не могла сказать, захваченная волненіемъ, и опустилась въ изнеможеніи на стулъ...

А экзаменъ все длился. Длился до безконечности. Выходили къ рампѣ всевозможные типы. Выходили и совсѣмъ юные мальчики, обладающіе пѣтушиными ломающимися голосами, взрослые мужчины, уже игравшіе на частныхъ сценахъ, смѣлые самоувѣренные, убѣ-

жденные заранѣе въ своемъ успѣхѣ. Выходили робкія барышни и «положительныя» дамы. Красавица-блондинка съ лорнетомъ и самоувѣренными рѣчами читала, останавливаясь и заикаясь на каждомъ словѣ. Очевидно, она не потрудилась даже, какъ слѣдуетъ, выучить необходимое для испытанія. Ее оборвали на полустрокѣ и отпустили на мѣсто. Потомъ читалъ юноша со страннымъ лицомъ. Читалъ такъ, что весь залъ слушалъ, затаивъ дыханіе. Это было что-то до того прекрасное, выдающееся по оригинальности, что не могло не захватить слушателей. Его голосъ, то бархатистый, то металлическій, заполнялъ собою весь театръ, вырывался въ коридоръ, на лѣстницу. Такъ дивно-хорошо читалъ этотъ юноша, разсѣянный и скучающій до этой минуты, что послѣ него уже не хотѣлось слушать длинный рядъ бездарностей, выходившихъ декламировать.

— Знаешь что? Я уйду. Послѣ такой читки заявлять какія-либо претензіи просто безсмысленно,—шепнула я Ольгѣ, рѣшивъ мгновенно, что скорѣе рѣшусь умереть, нежели выйду читать теперь, послѣ него.

Она взглянула на меня еще затуманенными не остывшимъ волненіемъ глазами и произнесла также тихо:

— Нѣтъ, нѣтъ, Лида! Ни за что! Ты должна остаться... Я убѣждена въ твоемъ успѣхѣ...

О, милая Ольга, никогда не забуду тебѣ этихъ словъ! Никогда въ жизни! Они окрылили меня, вернули мнѣ присутствіе духа и силы.

— Александра Орлова.

Мимо насъ прошла небольшого роста особа съ оригинальнымъ, пепельно-сѣрымъ цвѣтомъ волосъ и съ выдающимся, грустно-трагическимъ выраженіемъ лица, скорѣе мужского, нежели женскаго типа. Длинный съ горбикомъ носъ, большіе восточные глаза грузинки, крупный ротъ съ тонкими губами и близко сдвинутыя темныя брови—необычайное лицо.

Она прочла «Мечты королевы» Надсона и кусокъ прозы. Но какимъ голосомъ прочла! Это была цѣлая опера, цѣлое богатство, цѣлое огромное состояніе звуковъ! Ея лица намъ не было видно, но вся ея небольшая фигура, все ея существо, начиная съ приподнятыхъ узкихъ плечъ и сѣрой пышной массы волосъ и кончая пальцами опущенныхъ, безсильно повисшихъ вдоль тѣла рукъ,— все выражало трагизмъ того, что она читала.

Кто изъ нихъ былъ лучше — она или ея предшественникъ, талантливый юноша—рѣшить трудно.

— Константинъ Береговой! Васъ уже вызывали разъ... теперь вторично,—послышался тотчасъ по окончаніи монолога Орловой голосъ помощника инспектора.

Маленькая фигурка, дѣтская на видъ, но съ лицомъ взрослаго человѣка, забавно быстро вылетѣла впередъ.

Какая странная случайность: послѣ необыкновенно прочувствованной трагической читки Орловой пошла какая-то веселая какофонія звуковъ и словъ!

Крошечный человѣчекъ, носившій фамилію «Береговой» и прозѣвавшій свою очередь въ началѣ алфавита, оказался чистопробнымъ комикомъ по натурѣ. Онъ читалъ куплеты Беранже съ такимъ неподражаемымъ юморомъ, что весь залъ, слушая его, заливался смѣхомъ. Классная дама не «шикала» больше, почувствовавъ всю безполезность подобнаго маневра, инспекторъ не метался между рядами «рая». Это было бы лишнимъ, до тѣхъ поръ, по крайней мѣрѣ, пока не закончитъ свое чтеніе маленькій человѣкъ.

Затѣмъ снова потянулся цѣлый рядъ личностей, не проявившихъ никакого сценическаго дарованія, судя по ихъ читкѣ. И вдругъ точно что-то молотомъ ударило меня по головѣ.

— Лидія Чермилова!

Мнѣ показалось въ ту минуту, что сцена, подмостки, на которыхъ мы находились, внезапно расплылись во всѣ стороны и приняли вдругъ размѣры огромной широченной степи. И степь эта поплыла надъ моими ногами...

— Лидія Чермилова!—слышу я гдѣ-то далеко, далеко, словно изъ другого міра, и одновременно, отчаянный шопотъ Ольги у моего уха съ другой стороны:

— Лида! Вороненокъ! Тебя же! Вставай! Иди!

Встаю и иду, иду, ничего не понимая, не соображая и не чувствуя самое себя, иду туда, къ рампѣ.

Раскрываю ротъ и начинаю·

Я начинаю...

Старикъ, я слышалъ много разъ,
Что ты меня отъ смерти спасъ...

Это говоритъ мцыри, одинокій юноша, сначала питомецъ грузинскаго аула, потомъ послушникъ-монахъ,—юный, дикій, угрюмый и смѣлый, какъ горный орелъ, мцыри съ его непонятною, одинокою, полною гордости и неустрашимости душой.

Лидіи Чермиловой нѣтъ. Вмѣсто нея мцыри. Въ него я перевоплощаюсь, въ немъ живу. Какъ жаль только, что голосъ мой слабъ, какъ у дѣвочки, что тонка какъ былинка, моя фигура, и что весь мой внѣшній обликъ, со свѣтло-русыми, постоянно растрепанными волосами, такъ мало напоминаетъ того прекраснаго юнаго грузина, исполненнаго мужества энергіи и красоты...

Зачѣмъ, угрюмъ и одинокъ,
Грозой оторванный листокъ,
Я выросъ въ сумрачныхъ стѣнахъ,
Душой дитя, судьбой монахъ?
Я никому не могъ сказать
Священныхъ словъ—отецъ и мать...

Голосъ мой крѣпнетъ понемногу, волненіе и страхъ замѣняются сладкою, захватывающею волною. Какой-то быстрый вихрь подхватываетъ и уноситъ меня, заставляетъ забыть про все окружающее...

Окончивъ чтеніе отрывка, я дѣлаю паузу и новымъ голосомъ начинаю крыловскую басню:

Воронѣ гдѣ-то Богъ
Послалъ кусочекъ сыра...

И лицо у меня мѣняется, должно быть, дѣлается лукавымъ и смѣшнымъ, какъ у лисицы... И голосъ звучитъ умильно:

Голубушка, какъ хороша...

Я вскидываю безсознательно глаза на «маэстро»—онъ улыбается свѣтло и широко. Это вливаетъ въ мою душу новыя силы. Кончаю подъ легкіе смѣшки «рая» и иду, пошатываясь, на мѣсто.

Глаза, губы и все лицо Ольги говорятъ:

«Хорошо! Хорошо! Хорошо!»

Но что скажетъ конференція—это другое дѣло...

Еще экзаменующіеся... Стихи, басни, проза... Въ головѣ получается настоящая окрошка отъ всѣхъ этихъ стиховъ, басенъ и отрывковъ. Въ ушахъ звенитъ...

Послѣ послѣдней чтицы, хорошенькой маленькой барышни съ лицомъ итальянскаго мальчика, которую я уже замѣтила въ коридорѣ, члены конференціи поднимаются, какъ одинъ человѣкъ, и исчезаютъ за дверьми примыкающей къ театру комнаты.

И мгновенно и въ зрительномъ залѣ, и у насъ на сценѣ поднимается неописуемый шумъ отъ говора стольких голосовъ.

Я, Ольга и примкнувшая къ намъ Маруся Алсуфьева забиваемся въ уголъ и ждемъ. Ждемъ, какъ приговоренныя къ смерти, рѣшенія нашей судьбы. Теперь уже не до разговоровъ и не до обмѣна впечатлѣніями, не до болтовни. За плотно запертыми дверями рѣшается

судьба цѣлой сотни людей, чающихъ карьеры артистовъ и артистокъ. Собравшаяся «публика» тоже ждетъ вмѣстѣ съ нами рѣшенія участи одиннадцати счастливцевъ и счастливицъ, и она какъ будто живо заинтересована выборомъ достойныхъ.

Ахъ, какъ долго, убійственно долго длится эта ужасная конференція! Меня бросаетъ то въ жаръ, то въ холодъ... Чувствую себя отвратительно. Отчаяніе теперь прочно завладѣло мною и крѣпко держитъ меня въ своихъ цѣпкихъ рукахъ. Я уже мысленно рѣшаю, что не буду принята. Смотрю на Ольгу. Очевидно, и она тоже находится не въ лучшемъ состояніи: блѣдна до прозрачности, а глаза горятъ.

Наконецъ-то распахивается широко на обѣ половинки желанная дверь. Сердце мое падаетъ куда-то въ раскрывшуюся подъ нимъ пропасть.

Инспекторъ драматическихъ курсовъ быстрою походкою поднимается къ намъ на сцену съ большимъ листомъ въ рукахъ, съ ужаснымъ роковымъ листомъ!

— Господа,—говоритъ онъ громкимъ начальническимъ голосомъ,—изъ ста человѣкъ принято одиннадцать. Остальные не отвѣтили требованіямъ конференціи, да и вакансій нѣтъ. Принятые ученицы и ученики драматическихъ курсовъ, списокъ которыхъ я вамъ сейчасъ прочту, благоволятъ являться на лекціи съ понедѣльника въ девять часовъ утра. Тогда имъ будутъ розданы правила для учащихся на курсахъ и расписаніе лекцій.

Вотъ ихъ фамиліи. Шесть женщинъ и пять мужчинъ...

Что дѣлается со мною въ ту минуту, когда Виталій Прокофьевичъ Пятницкій подноситъ списокъ къ глазамъ—описать не рѣшаюсь. Сердце бьетъ въ груди какъ добрый барабанъ... Страшный трепетъ, трепетъ доходящій до лязганія зубами, до дрожи во всемъ тѣлѣ охватываетъ меня съ головы до ногъ. Стиснувъ до боли зубы, стою, и вся душа моя выливается изъ глазъ, впившихся въ глаза инспектора.

Тотъ читаетъ:

— Марія Алсуфьева.

— Ольга Елецкая.

— Александра Орлова.

— Лидія Чермилова...

«Что! Неужели»?

Кто это крикнулъ—я или кто-нибудь другой? Ничего не сознаю и не понимаю... Радость, жгучая острая радость свѣтлою волною поднялась изъ самыхъ нѣдръ моей души и залила все своимъ горячимъ потокомъ.

— Ольга! Какое счастье!

— Лидочка!

Мы бросаемся другъ другу въ объятья и смѣемся, глядя другъ другу въ глаза...

И все кругомъ перестаетъ существовать для насъ, избранныхъ счастливицъ...

* * *

Черезъ два дня утромъ въ девять часовъ я поднимаюсь по знакомой уже широкой лѣ тницѣ на четвертый этажъ, вхожу въ неменѣе знакомый коридоръ и останавливаюсь передъ классами.

За стеклянной дверью—первый и второй драматическіе курсы. У третьекурсниковъ и третьекурсницъ нѣтъ своего класса. У нихъ уже не читаютъ лекцій: всѣ занятія носятъ практическій характеръ и происходятъ тамъ внизу, на сценѣ школьнаго театра, гдѣ мы держали экзаменъ.

Первое лицо, которое я встрѣчаю,—инспекторъ. Онъ слегка киваетъ мнѣ головою и,—о ужасъ!—Богъ знаетъ почему, я снова «окунаюсь», какъ институтка, въ невѣроятномъ реверансѣ... Второе лицо—симпатичная толстушка классная дама, такъ мало походящая къ типу институтскихъ дамъ.

— Вы—Чермилова?—спрашиваетъ она официальнымъ тономъ.

«Окунаюсь» и передъ нею.

— Да.

— Ваши будущіе товарищи и товарки уже собрались. Вы немного опоздали. Надо собираться къ девяти.

— Ахъ, простите!..

Краска бросается мнѣ въ лицо, и я мчусь галопомъ въ дальній конецъ коридора, распахиваю настежь стеклянную дверь и вылетаю, какъ пуля, на середину комнаты.

— Здравствуйте. Позвольте представиться. Я—Лидія

Чермилова,—срывается съ моихъ губъ по адресу группы людей, находящихся около передней парты.

Настоящій классъ, какъ и надо было ожидать: и ученическія парты, и каѳедра, и неизбѣжная классная доска. Все какъ въ институтѣ.

Ольга Елецкая уже здѣсь. Она первая подходитъ ко мнѣ и цѣлуетъ меня крѣпко, тоже по-институтски. Потомъ со скамейки поднимается та «трагическая» дѣвушка грузинскаго типа съ пепельными волосами, которая такъ талантливо читала на экзаменѣ.

— Александра Орлова,—низкимъ грудным необычайно красивымъ голосомъ называетъ она себя и жметъ крѣпко и энергично мою руку.

— Маруся Алсуфьева. Узнали?—и русокудрая головка съ выбившимися прядями и тяжелой косой сіяетъ мнѣ всѣми своими ямочками.

Мы поцѣловались.

Высокая полная шатенка съ гладко зачесанными волосами, съ капризно вздернутой верхней губой и гордыми карими глазами—настоящій типъ русской боярышни, тоже протянула мнѣ руку.

— Лили Тобергъ,—тягуче плавнымъ голосомъ проговорила она.

Подлѣ нея выглянула изсиня-черная кудрявая головка итальянскаго мальчугана. Черные, какъ сливы, глаза сверкнули на меня. Привѣтливо улыбнулись яркія губы.

— Ксенія Шепталова,—пропѣлъ свирѣлью тоненькій голосъ.

Дѣвушка была одѣта нарядно, точно на званый вечеръ: бархатное платье, широкій брюссельскихъ кружевъ воротникъ—все это рѣзко отличалось отъ нашихъ скромныхъ костюмовъ. Масса колецъ, браслетовъ украшали ея маленькія ручки.

Познакомившись съ моими товарками, я перешла къ коллегамъ-однокурсникамъ.

— Борисъ Коршуновъ,—и такъ мастерски читавшій на экзаменѣ высокій юноша, съ нѣсколько разсѣяннымъ лицомъ и смѣлыми глазами, улыбаясь, потрясъ мою руку.

— Дѣлить намъ нечего, стало быть, будемъ друзьями,—произнесъ онъ небрежно.

— Авось не подеремся, потому какъ у насъ разныя амплуа,—засмѣялся маленькій комикъ Костя Береговой, потѣшавшій два дня тому назадъ всѣхъ почтившихъ своимъ присутствіемъ экзаменъ.

Высокій, оливково-смуглый, съ прямыми черными волосами и внѣшностью индусскаго факира, Денисовъ, тоже Борисъ, обнаживъ свои ослѣпительно яркія бѣлые зубы, произнесъ густымъ басомъ:

— Должны почитать и уважать меня пуще всѣхъ остальныхъ, барышни, потому какъ, обладая подобнымъ контрабасомъ (онъ любезно-ласково похлопалъ себя при этомъ, съ самодовольнымъ видомъ, по горлу), я буду

несомнѣнно играть только благородныхъ папашъ, а вы—моихъ дочекъ.

Я засмѣялась и возразила, что я сама мамаша, мать семейства, и не намѣрена признавать по этому его авторитета.

Тутъ подошелъ высокій бѣлокурый нѣмецъ съ голубыми застѣнчивыми глазами, Рудольфъ, и совсѣмъ еще молоденькій мальчуганъ, лѣтъ семнадцати, но съ болѣзненно землистымъ цвѣтомъ лица и безпокойно бѣгающими глазками, Ѳедоръ Крымовъ.

Какъ только взаимное закомство окончилось, Борисъ Коршуновъ взошелъ на каѳедру, постучалъ о ея верхнюю доску и, повысивъ голосъ, началъ:

— Милѣйшіе коллеги, я прошу слова! Позволите?

— Получайте, только долго не разговаривайте. Я очень завистливъ и чужого успѣха не выношу,—пробасилъ Денисовъ съ комической ужимкой, вызвавшей нашъ общій смѣхъ.

— Милѣйшіе коллеги!—выдержавъ паузу, снова заговорилъ Коршуновъ,—мы съ сегодняшняго дня представляемъ собою, такъ сказать, одну дружескую семью, соединенную воедино одною общею цѣлью и общею идеею. А поэтому, коллеги, не найдете ли вы болѣе удобнымъ выбросить изъ нашего обихода всякія китайскія церемоніи и относиться другъ къ другу совершенно по-братски и по-сестрински. Начнемъ съ того, что будемъ называть по именамъ сокращенно

другъ, друга. Я бы предложилъ перейти и на «ты», но...

— Это лишнее,—прабасилъ Денисовъ,—достаточно и сокращенныхъ именъ, а то какъ начну я кому «ты» валять, такъ подъ злую руку его же или ее же и выругаю. А если на «вы» выбраниться, какъ будто, не такъ обидно...

— Ха-ха-ха!—закатилась звонкимъ колокольчикомъ Маруся.—Вы Денисовъ,правы, лучше будемъ говорить другъ другу «вы».

— Не Денисовъ, а Бобъ или Боренька, согласно вашему желанію.

— Слушаю-съ, господинъ Бобъ.

— Просто Бобъ.

— Слушаю-съ, просто Бобъ.

Юноша на каѳедрѣ снова постучалъ кулакомъ о доску.

— Ну-съ, вы согласны? Необходимо это рѣшить поскорѣе, такъ какъ сейчасъ, какъ намъ сообщилъ уважаемый инспекторъ, начнется первая лекція.

— Согласны! Согласны!—прозвучало веселымъ хоромъ въ классѣ, такъ что темная, гладко причесанная на проборъ голова Викторіи Владимировны просунулась въ щель двери и, энергично зашикавъ, присовокупила:

— Господа! Нельзя ли потише! Шумѣть не полагается.

Слѣдомъ за этимъ въ классъ вошелъ инспекторъ съ цѣлой пачкой какихъ-то книжекъ и листовъ въ рукѣ.

— Господа!—произнесъ онъ, обращаясь къ намъ.—

я принесъ вамъ для раздачи правила для учащихся на драматическихъ курсахъ и расписаніе лекцій. Сегодня у васъ будутъ слѣдующія занятія: Исторія драмы, Словесность, Законъ Божій и Фехтованіе. Слѣдовательно, три научныхъ лекціи и фехтовальный классъ. Кромѣ того, въ два часа къ вамъ придетъ нашъ высокочтимый Владимиръ Николаевичъ Давыдовъ... Изъ книжки правилъ вы узнаете, что требуется отъ васъ на драматическихъ курсахъ. До предрождественскаго экзамена вы будете, такъ сказать, считаться на испытаніи и только послѣ Рождества васъ окончательно признаютъ дѣйствительными ученицами и учениками курсовъ. Тогда вамъ придется сдѣлать себѣ форму: для дамъ синія платья и серебряные значки-лиры, въ видѣ брошей, для мужчинъ—синіе вицъ-мундиры съ лирами на воротникахъ и лирами вмѣсто кокардъ на фуражкахъ. Менѣе обезпеченнымъ будутъ выдаваться пособія, болѣе способные и оказывающіе успѣхи будутъ освобождены отъ платы. Итакъ, позвольте вамъ пожелать всякаго успѣха и поздравить съ началомъ учебнаго года.

Инспекторъ сошелъ съ каѳедры, раздалъ намъ книжки правилъ и вышелъ. На его мѣстѣ появился высокій плечистый господинъ съ умнымъ лицомъ и выразительными глазами.

— Магистръ Розовъ,—пронеслось по классу.

Мы поклонились ему, привставъ со своихъ мѣстъ, и полная тишина воцарилась въ комнатѣ.

Магистръ Розовъ сумѣлъ сразу во вступительной лекціи захватить наше вниманіе. Онъ сдѣлалъ краткій обзоръ развитія театра въ глубокой древности, далъ общую картину начала празднествъ Діонисія въ Греціи, гдѣ поклоненіе богу виноградныхъ лозъ совпадало съ самимъ сборомъ винограда и представляло собою цѣлое зрѣлище развивающагося дѣйствія, участниками котораго были сборщики винограда и жрецы. Потомъ перешелъ къ Олимпійскимъ играмъ и уже упомянулъ о переходѣ къ трагедіи, когда неожиданный звонокъ прервалъ его рѣчь.

Розовъ быстро сошелъ съ каѳедры и, приблизившись къ намъ, попросилъ со слѣдующихъ лекцій по его предмету вести запись всего того, что онъ говоритъ.

Орлова, Ольга, Ксенія Шепталова и я рѣшили заняться этимъ дѣломъ.

Послѣ десятиминутнаго перерыва въ классъ стремительно вбѣжалъ маленькій, сѣдой, худенькій человѣчекъ—очень популярный въ Петербургѣ преподаватель словесности и лекторъ, Викторъ Петровичъ Горскій. Совершенно сѣдой, съ длинной, немного всклокоченной бородой, старый годами, но удивительно юный душою, сохранившій весь пылъ молодости въ любви къ наукѣ и искусству, Викторъ Петровичъ «взялъ» насъ сразу этимъ молодымъ своимъ пыломъ и горячностью, на которую такъ отзывчива молодежь. Онъ декламировалъ

стихи и отрывки, самъ увлекаясь какъ юноша, и давалъ яркіе, полные красоты примѣры изъ античнаго міра. Незамѣтно переходилъ онъ и къ эстетикѣ, которая, какъ это ни стра но, входила въ курсъ его лекцій по словесности и русской культурѣ.

Удивительно быстро прошелъ этотъ урокъ. Маленькій человѣчекъ исчезъ такъ же стремительно, какъ и появился, оставивъ среди насъ неуловимый туманъ очарованія, который далеко еще не разошелся и тогда, когда на каѳедру вошелъ молодой красавецъ-священникъ въ темной шелковой рясѣ съ академическимъ значкомъ на груди. Исторію церкви я проходила въ институтѣ, какъ и словесность и исторію культуры; тѣмъ не менѣе я поддалась сразу обаянію мягкаго, льющагося въ самую душу голоса нашего законоучителя, повѣствовавшаго намъ о первыхъ памятникахъ церковнаго Византійскаго міра.

Лекція длилась съ полчаса. Потомъ отецъ Василій, прервавъ чтеніе, живо заинтересовался своей маленькой аудиторіей. Онъ распрашивалъ каждаго изъ насъ о нашей семьѣ, о положеніи и частной жизни. Чѣмъ-то теплымъ, родственнымъ и товарищескимъ въ одно и то же время повѣяло отъ его бесѣды съ нами. Услышавъ, что моя сосѣдка справа, Ольга, была вмѣстѣ со мною въ институтѣ, онъ захотѣлъ узнать, какъ и чему насъ тамъ учили по Закону Божьему. Покойнаго отца Александры Орловой, извѣстнаго литератора, онъ, оказы-

вается, зналъ раньше. Зналъ и родителей Денисова въ Казани.

Со мною отецъ Василій говорилъ о моемъ маленькомъ сынишкѣ и выразилъ желаніе причастить его Св. Таинъ въ нашей театральной церкви въ слѣдующее воскресенье.

Ровно въ двѣнадцать прозвучалъ звонокъ въ коридорѣ, совсѣмъ какъ въ средне-учебныхъ заведеніяхъ. Викторія Владимировна распахнула дверь нашего класса, и мы гурьбой высыпали въ коридоръ.

— Господа, вы можете распоряжаться своимъ временемъ до часа,—обратилась она къ намъ.—Мужчины могутъ закусывать въ курильной или музыкальной комнатахъ, дамы — въ дамской гостиной. Впрочемъ, если кто желаетъ, можетъ уйти изъ училища на часъ. Но къ часу обязательно собраться снова.

— Вотъ такъ изумительная несправедливость! — тоненькимъ фальцетомъ произнесъ комикъ Береговой.—У дамъ есть своя гостиная, а у насъ, злосчастныхъ пасынковъ судьбы,—для завтраковъ курильная и музыкальная! Благодарю покорно, вкушать пищу дневную пополамъ съ дымомъ курильнымъ или подъ неописуемыя рулады какой-то дѣвицы, которая уже завладѣла музыкальной. Ей Богу же, я подавлюсь кускомъ при такомъ ненормальномъ условіи жизни!

— Бросьте, старина, идемте лучше завтракать въ кофейню Исакова,—предложилъ Бобъ Денисовъ. — Недалеко, да и за два гривенника такіе два куска куле-

бяки откатятъ, что до вечера не проголодаешься. Гарантирую вполнѣ.

— А мы куда пойдемъ, Елочка? — освѣдомляюсь я.

— Я взяла бутерброды изъ дому и подѣлюсь ими съ тобой, а чай, какъ я узнала, можно получить здѣсь въ дамской. И даже дѣвушку-прислугу посылать можно за закуской.

— Ахъ, я тоже буду приносить бутерброды.

— Прекрасно. Значитъ, съ голоду не умремъ.

Всѣ мы шестеро первокурсницъ-новенькихъ входимъ въ дамскую.

Здѣсь шумъ и гвалтъ стоятъ невообразимые. Второй и третій курсы въ полномъ сборѣ. Облѣпили круглый столъ и съ хохотомъ, шумомъ и болтовнею пьютъ чай, заѣдая его бутербродами. При нашемъ появленіи живо заинтересовываются нами, какъ новенькими.

— Александра Орлова—вы? — обращается къ моей однокурсницѣ тоненькая вертлявая брюнетка Комарова съ забавными усиками надъ верхней губой.—Вы произвели потрясающее впечатлѣніе на насъ вашей читкой на экзаменѣ. Это было что-то удивительное!—говоритъ она съ какимъ-то неестественно-страннымъ жестомъ. — А вы,—обращается она ко мнѣ,—вы были очень милы съ вашей басней, но для монологовъ мцыри вашъ голосъ слишкомъ высокъ и слабъ.

— А мнѣ понравилось,—услышала я звонкій голосъ розовой блондинки, похожей на хорошенькую кошечку.

— Наташа Перевозова, будемъ знакомы,—пожимая мою руку, назвалась она.

Старшіе два курса потѣснились немного и дали намъ мѣсто вокругъ чайнаго стола.

Но утолить голодъ намъ почти не пришлось въ этотъ полдень. Слишкомъ много было пестрыхъ впечатлѣній вокругъ. Едва только я принялась за мой стаканъ чая, какъ быстро распахнулась дверь, и, съ аріей Карменъ въ тавернѣ, влетѣла высокая, большеглазая, совершенно бѣлокурая, какъ сѣверная Валкирія, третьекурсница и объявила, что первокурсницъ ждетъ уже въ залѣ учитель фехтованія.

Обжегши себѣ въ достаточной мѣрѣ горячимъ чаемъ губы и небо, я вмѣстѣ съ Ольгой помчалась туда.

Небольшого роста офицеръ одного изъ гвардейскихъ полковъ столицы ждалъ насъ уже тамъ. Молоденькій, черноглазый подпоручикъ, его помощникъ, стоялъ поодаль съ тяжелыми рапирами въ рукахъ. Оба поздоровались съ нами совершенно просто, какъ со старыми знакомыми.

Учитель-офицеръ въ немногихъ словахъ сталъ объяснять, почему артисткамъ необходимо умѣть фехтовать, какое огромное значеніе имѣютъ пріобрѣтаемыя фехтованіемъ ловкость и красота движеній и пр., а затѣмъ передалъ намъ рапиры и сталъ показывать первые, основные пріемы.

Какъ тяжела огромная рапира, которую мнѣ далъ его помощникъ!

Но мои тонкія руки обладаютъ, очевидно, нѣкоторой долей энергіи и силы: первые пріемы вышли у меня довольно-таки удачно. Наши учителя остались довольны мною и Ольгой. Обѣщаютъ ей и мнѣ несомнѣнный скорый успѣхъ въ искусствѣ владѣть рапирой и шпагой.

Къ двумъ часамъ, красныя, какъ піоны, мы возвращаемся въ дамскую. А четвертью часа позднѣе въ коридорѣ поднимается необычайная суета.

— Маэстро пришелъ! Маэстро!—различаю я въ общемъ смутномъ гулѣ.

VI.

Какъ будто самый день, до сихъ поръ дождливый и угрюмый, проясняется при появленіи очень полной, низкой фигуры, на плечахъ которой гордо посажена полусѣдая геніальная голова. Привѣтливая, какая-то зоркая, если можно такъ выразиться, улыбка играетъ на тонкихъ губахъ «маэстро»—какъ принято на курсахъ называть Владимира Николаевича Давыдова,—когда онъ отвѣчаетъ на наши почтительные поклоны.

Онъ стоитъ подлѣ каѳедры, положивъ одну руку на ея доску и, пристально осматриваетъ каждаго изъ насъ.

И вотъ раздается его мягкій, съ необычайно выработанной дикціей, голосъ.

— Садитесь, господа. Прежде чѣмъ заняться съ вами, я бы хотѣлъ узнать, что влечетъ каждую или

каждаго изъ васъ на сцену. Я, конечно, понимаю, что среди васъ большинство, если даже не всѣ, надѣятся и разсчитываютъ на прочный заработокъ, который должно вамъ доставлять сценическое искусство, разъ у васъ есть способности, талантъ. Это, такъ сказать, своимъ чередомъ. Но я увѣренъ, что не только ради заработка вы выбрали профессію артиста или артистки. Вѣдь вы, навѣрное могли выбрать другую, болѣе выгодную профессію. Были и есть, очевидно, еще другія причины, заставившія васъ посвятить себя сценѣ. Вотъ мнѣ бы и хотѣлось узнать, что именно привлекло васъ сюда, что толкнуло васъ на мысль стать артистомъ или артисткою... Надѣюсь, вы отвѣтите мнѣ откровенно... Вотъ, вы первая подрудитесь отвѣтить на мой вопросъ,— неожиданно быстро обратился онъ къ Марусѣ Алсуфьевой, только что усѣвшейся на первой партѣ.

Краска смущенія бросилась въ лицо дѣвушкѣ, и все оно заалѣлось маковымъ цвѣтомъ.

Маруся вскочила со скамейки, отчаянно затеребила кончикъ косы, перекинутой черезъ плечо, и залепетала, путаясь и смущаясь:

— Я не знаю, право... Это какъ-то безотчетно вышло... меня съ дѣтства влекло на сцену... Мы дома устраивали театры, потомъ я читала на литературныхъ утрахъ въ гимназіи. Потомъ участвовала въ любительскихъ спектакляхъ. А сюда я попала какъ-то неожиданно... странно и...

Маруся сбилась окончательно, замялась и смолкла, краснѣя до предѣловъ невозможнаго.

— А вы?—перенесъ свой вопросъ и свою неотразимую улыбку Давыдовъ по адресу Берегового.

— Мой отецъ былъ комикомъ въ провинціи, и я хотѣлъ хоть отчасти продолжать его мастерство.

Слово за словомъ полились отвѣты, наивные и запутанные, ясные, логическіе и странные, понятные, простые вперемежку съ замысловатыми.

Бобъ Денисовъ оказался тоже сыномъ опернаго пѣвца въ провинціи. Коршуновъ происходилъ изъ писательской семьи, гдѣ собирались художники и артисты, подмѣтившіе задатки сценическаго дарованія въ мальчикѣ и развивавшіе его въ этомъ направленіи. Ѳедя Крыловъ, самый юный, промямлилъ что-то о томъ, что въ театрѣ весело, а въ университетѣ скучно, и что ему все равно, гдѣ учиться теперь. Нѣмчикъ Рудольфъ поднялся со своего мѣста и, чуть хмуря брови надъ дѣтски-ясными и застѣнчивыми глазами, произнесъ спокойно, но чуть слышно:

— Позвольте мнѣ не отвѣтить на этотъ вопросъ. Это мое частное, личное дѣло.

Мы ахнули и со страхомъ взглянули на маэстро. «Дерзость» Рудольфа поразила насъ.

Но подвижное, отражавшее въ себѣ какъ въ зеркалѣ всѣ малѣйшія ощущенія, лицо Владимира Николаевича улыбалось мягкой, словно ободряющей улыбкой.

— Вы?—перевелъ онъ эту улыбку на Орлову.

Тихая, съ трагическимъ лицомъ дѣвушка подняла на него тоскующіе глаза.

— Я люблю сцену! Люблю театръ! — зазвучалъ по классу ея красивый, громкій голосъ.—Я оживаю и отдыхаю только въ театрѣ, только во время представленія пьесы!.. Тогда жизнь, обычная, сѣрая и плоская, перестаетъ для меня существовать... Вотъ почему я рѣшила посвятить себя сценѣ.

Орлова не докончила, судорожно повела бровями и устало опустилась на лавку.

— Благодарю васъ,—произнесъ «маэстро» серьезно, и улыбка сбѣжала съ его лица.

Мы всѣ невольно повернули головы въ сторону Орловой. Ея простыя слова обнаружили незаурядную личность, душу, пережившую немало, несмотря на молодые годы.

Ольга Елецкая поблѣднѣла и стиснула зубы, когда «маэстро» обратился къ ней. И глухо прозвучали ея слова, когда она говорила самыя обыкновенныя вещи.

— Люблю безумно искусство... Видѣла дивные образцы... Наслаждалась несравненной игрой и вотъ пришла сюда, чтобы играть самой...

И бѣлая, какъ мѣлъ, отъ волненія, она снова сѣла.

Шепталова и Тобергъ откровенно заявили, что жизнь барышень изъ общества съ выѣздами, нарядами и балами скучна, сѣра и однообразна, и ихъ потянуло на поприще, гдѣ все ярко, живо и прекрасно.

Тонкая усмѣшка прозмѣилась по губамъ Давыдова, когда онъ отвѣтилъ обѣимъ:

— На сценѣ не все ярко и прекрасно. О, на сценѣ куда больше колючихъ терніевъ, чѣмъ на иномъ пути... И ради развлеченія, шума и блеска, сюда приходить не стоитъ, да и нельзя. Въ алтарь не вступаютъ со смѣхомъ. Гдѣ великое служеніе искусству, тамъ сплошное жертвоприношеніе и только. Да.

Онъ замолкъ, и мнѣ показалось, что стало сильнѣе дыханіе его и сумрачнѣе до сихъ поръ свѣтлое, ясное лицо.

И вотъ глаза его встрѣтились съ моими. Я ясно чувствовала, что онъ сейчасъ обратится ко мнѣ. И не дожидаясь его вопроса, я подняла голосъ:

— Я пришла сюда съ тѣмъ, чтобы научиться искусству, которое я люблю всѣмъ сердцемъ, всѣмъ существомъ моимъ...—заговорила я, волнуясь. — Не знаю, что выйдетъ изъ меня: актриса или бездарность, и вообще, есть ли хоть на волосокъ дарованія въ моей душѣ, но... но что-то, какая-то огромная сила, какой-то шквалъ владѣетъ мною... Что-то поднимаетъ меня отъ земли и носитъ вихремъ, когда я читаю стихи въ лѣсу, въ полѣ, среди озера или просто такъ, дома... Я дѣлаюсь не я въ эти минуты. И вообще я живу больше мечтой, нежели дѣйствительною жизнью... И въ моихъ мечтахъ я создала замокъ Трумвиль, въ которомъ была я принцессой Брандегильдой, а мой мужъ—рыцаремъ Трумвилемъ...

А мой маленькій принцъ въ колыбели, мой дорогой ребенокъ, еще больше развиваетъ мою заоблачную жизнь мечты... И я или оставлю ему, такъ или иначе, красивое гордое имя, или...

Я задохнулась на минуту и прикрыла пылавшее лицо рукой.

— «Осрамилась! Осрамилась!»—вспыхнули яркимъ пламенемъ въ душѣ моей огненныя слова. Я боялась взглянуть въ лицо «маэстро». Что онъ подумалъ обо мнѣ, навѣрное, «сумасшедшая, или истеричка, или просто глупая, тщеславная дѣвчонка».

Съ трудомъ принудила я себя посмотрѣть на него. Какое чудное, свѣтлое, ласковое лицо! Хотѣлось броситься къ нему, схватить его руки и сжать ихъ сильно-сильно или поднести къ губамъ.

Должно быть, онъ понялъ меня, потому что улыбнулся мнѣ своей неотразимой, сочувствующей улыбкой.

— Ну, подавай Богъ!—произнесъ онъ всѣмъ заодно вмѣстѣ и тотчасъ же, перемѣнивъ тонъ, заговорилъ о великой задачѣ артиста.

Онъ развернулъ намъ постепенно картину огромнаго актерскаго труда, безостановочной работы, тяжелаго подчасъ непосильнаго, тернистаго пути. «Кто надѣется найти здѣсь, на этомъ поприщѣ,—говорилъ онъ съ пылающими глазами и блѣднымъ отъ волненія лицомъ,—однѣ розы, яркіе пестрые цвѣты, праздникъ жизни, веселье, радости и цѣлый букетъ успѣха, тотъ пусть

уйдетъ скорѣе изъ нашего храма, пока не поздно еще. Здѣсь работа колоссальная и трудъ порою непосильный для слабодушныхъ. Разгильдяйству, лѣности здѣсь не мѣсто. Отбросить надо все, что не касается служенія искусству, или что связало съ посторонними цѣлями. Многіе легкомысленно идутъ на сцену только ради славы и тщеславія. Это грѣхъ, это преступленіе, за которое приходится потомъ платить горькимъ разочарованіемъ: кто идетъ на сцену только съ мечтою стать «извѣстностью» — тотъ обыкновенно печально кончаетъ свою карьеру, не достигнувъ цѣли. Искусства ради, ради процесса творчества, и чистыми жрицами, съ трепетомъ надо входить въ нашъ храмъ. А для этого надо понять прежде всего высокую задачу театра. Театръ долженъ оздоравливать толпу. Людямъ измученнымъ, больнымъ душою и тѣломъ, усталымъ, истерзаннымъ нуждою, горемъ, лишеніями, онъ долженъ дать минуты отдохновенія, радости, свѣта. Людямъ порочнымъ, недобрымъ, нехорошимъ—показать всѣ ихъ дурныя стороны, недостатки. Людямъ, которые ищутъ эстетическаго отдыха послѣ будничныхъ часовъ жизни, онъ долженъ показать всю мощь красоты» и т. д., и т. д., и т. д.

Ахъ какъ онъ говорилъ! Мы съ затаеннымъ дыханіемъ слушали его. Наши глаза не отрывались отъ этого полнаго жизни и воодушевленія лица, гдѣ жила и дрожала каждая черточка, каждая жилка... Да, настоящій жрецъ искусства былъ передъ нами, и свѣтомъ

истиннаго, вдохновеннаго искусства вѣяло отъ его словъ!.. Онъ давно уже закончилъ свою горячую рѣчь, а мы еще сидѣли, завороженные, захваченные его вдохновенной рѣчью. И только когда его полная фигура, съ гордо посаженной на плечахъ головой, скрылась за стеклянной дверью, мы очнулись, словно проснулись отъ сладкаго сна.

— Вотъ это былъ нумеръ, я вамъ доложу!—воскликнулъ первый Бобъ Денисовъ и съ присущимъ ему юморомъ развелъ руками.

— Н-да! Шикарно, что и говорить!—подхватилъ Береговой.

Коршуновъ усмѣхнулся ему одному понятной усмѣшкой. Глаза Орловой загорѣлись и освѣтили теплымъ, яснымъ свѣтомъ все ея печальное, съ сдвинутыми въ одну трагическую линію бровями, лицо, отчего оно сразу стало проще, добрѣе.

Ольга Елецкая заломила надъ головою руки и шептала въ какомъ-то упоеніи:

— Господи! Я ничего болѣе красиваго и вдохновеннаго не встрѣчала въ жизни! Я предлагаю, господа, сегодня же идти въ театръ. Онъ играетъ въ «Свадьбѣ Кречинскаго». Забросаемъ его цвѣтами.

— Это невозможно.

— Почему?

Бобъ Денисовъ уставился на Елочку испуганными глазами и затвердилъ растеряннымъ голосомъ:

— Нельзя этого! Нельзя! Нельзя!

— Но почему же?—повторила она вопросъ.

Вмѣсто отвѣта онъ вывернулъ съ самымъ серьезнымъ видомъ карманы и произнесъ съ комической безпомощностью большого ребенка, такъ мало гармонировавшей съ его оливково желтымъ лицомъ факира и прямыми, словно высѣченными изъ камня, какъ на статуяхъ волосами:

— Нельзя, потому что денежекъ нѣтъ, денежки—ау—плакали. Если будутъ цвѣты—не будетъ обѣда. А посему я предпочитаю восторгаться рѣчью «маэстро» безъ всякихъ вещественныхъ доказательствъ. И кто не за меня въ данномъ случаю, тотъ противъ меня, и того я вынужденъ считать моимъ врагомъ и искусителемъ.

— Присоединяюсь, коллега, ибо и мои карманы плачутъ,—заявилъ маленькій Береговой и съ комической ужимкой пожалъ руку Бобу.

— Трогательное объединеніе! Гдѣ двое—тамъ и третій!—И Ѳедя Крыловъ мальчишескимъ жестомъ закинулъ имъ на плечи руки и закружилъ обоихъ по классу.

— Господа, шутки въ сторону. Я хочу говорить серьезно,—поднялъ голову Борисъ Коршуновъ,—намъ необходимо объединиться, собираться другъ у друга по очереди всей компаніей, читать классическіе образцы, декламировать, спорить. Кто согласенъ—подними руку.

Всѣ, разумѣется, оказались согласными, и одиннадцать рукъ потрясли воздухъ.

— Ура! Виватъ! Носѣ!—прокричали юноши, но такъ несдержанно громко, что классная дама тревожно просунула въ дверь свою черную, гладко причесанную на проборъ голову.

— Господа, вы свободны и можетъ расходиться по домамъ. Завтра къ девяти собраться безъ опозданій. Владимиръ Николаевичъ будетъ ровно въ два. И завтра же съ нимъ у васъ начнутся настоящія, правильныя занятія. До свиданія, я васъ больше не задерживаю господа.

— Это очень мило съ вашей стороны, Викторія Владимировна.

И «длинный факиръ», какъ я по старой институтской привычкѣ давать прозвища окружающимъ, уже успѣла окрестить Денисова, сдѣлалъ, такой великолѣпный поклонъ, что Маруся Алсуфьева взвизгнула отъ восторга, а всѣ мы покатились со смѣха.

Въ вестибюлѣ съ шумомъ и смѣхомъ облачились мы всѣ въ наши верхнія одежды. У Ольги—стильная шляпа начала прошлаго столѣтія, и вся она, съ ея мечтательной внѣшностью, кажется барышней другого вѣка. Не даромъ ее называли въ институтѣ «Пушкинской Татьяной». Это мнѣніе раздѣлялъ, очевидно, и Бобъ Денисовъ.

Я вамъ пишу, чего же болѣе...
Что я могу еще сказать

запѣлъ онъ женскимъ голосомъ, выходя изъ подъѣзда.

подражая одной изъ оперныхъ пѣвицъ, выступавшихъ въ партіи Татьяны.

— Господинъ, нельзя ли потише. На улицѣ пѣть не полагается, —предупреждаетъ его не вѣсть откуда вынырнувшій городовой, почтительно прикладывая руку къ козырьку фуражки.

— Я не господинъ, а жрецъ!—впадая мгновенно въ мрачную задумчивость, изрекаетъ Бобъ своимъ грознымъ басомъ.

— Господинъ Жрецъ, потише,—покорно соглашается почтенный блюститель порядка, плохо, очевидно, понимая, что означаетъ столь мудрое слово.

— Искусства! Жрецъ искусства!—уже завопилъ на всю улицу Денисовъ.

— Господинъ...

Но мы уже далеко...

Какое солнце, какая радость разлита вокругъ насъ, несмотря на дождь, сентябрь мѣсяцъ и осеннюю слякоть! И эту радость посѣялъ въ наши души талантъ человѣка, умѣющаго такъ ясно и по-дѣтски любить свое родное искусство, свое призваніе.

— И меня есть еще двугривенный. Батя пришлетъ завтра мѣсячную посылку въ размѣрѣ 15 рублей своему лоботрясу,—говоритъ Ѳедя Крымовъ.—Борисъ, хочешь (они уже успѣли перейти на «ты»), пойдемъ со мною обѣдать въ греческую кухмистерскую? Разгуляемся, такъ и быть, на всѣ двадцать грошей.

Факиръ думаетъ съ минуту, морща желтый какъ пергаментъ носъ, потомъ изрекаетъ мрачно.

— Валяй! Я прикладываю свои пятнадцать, и да здравствуетъ лукулловскій пиръ!

На углу улицы кого-то ждетъ щегольская пролетка.

Черненькая Шепталова, вспыхивая, говоритъ, придерживая рукой свою срывающуюся отъ вѣтра огромную, покрытую щегольскими перьями шляпу:

— Mesdemoiselles! Не желаетъ кто-нибудь, я подвезу до Литейной?

Но никто не соглашается. Такъ весело всей толпой шлепать по лужамъ подъ гудящій басъ Боба и смѣшки Кости Берегового.

Послѣ минутнаго колебанія въ пролетку вскакиваетъ Лили Тобергъ.

— Я съ вами, Ксенія, возьмите меня.

— Свѣтскія барышни!—презрительно щурится имъ вслѣдъ Бобъ, и все его благодушіе большого, длиннаго ребенка исчезаетъ куда-то. — И къ чему пошли на сцену, спрашивается?! Сидѣли бы дома — тепло и не дуетъ. Тутъ ѣсть нечего, послѣдніе гроши за ученіе внести надо, а онѣ въ шелкахъ и въ бархатахъ, на собственныхъ пролеткахъ разъѣзжаютъ!

— Стыдитесь, Денисовъ,—неожиданно прервала его Ольга.—Вы не знаете причины, которая привлекла ихъ сюда.

— А вы не слыхали развѣ, что онѣ отвѣчали на

вопросъ «маэстро»? Скучно имъ, видите ли, оттого и пришли. Кощунство какое!

— Привѣтствую это признаніе, потому что оно искренне,—перекрикиваю я спорщиковъ.

— Да! Да! Да! Каждый идетъ туда, куда его тянетъ,—неожиданно воодушевляясь, говоритъ Ольга.—Я строю свои мечты въ заоблачныхъ даляхъ; Лида Воронская, Чермилова то-есть, живетъ въ мірѣ сказочныхъ грезъ; Саня Орлова...

— Ой, ой, ой! Боюсь! Не надо мечты и заоблачныхъ грезъ! — тоненькимъ фальцетомъ пищитъ Костя Береговой и неожиданно попадаетъ въ одну изъ лужъ, обильно покрывающихъ главную аллею Екатерининскаго сквера, по которой мы идемъ.

Маруся Алсуфьева хохочетъ такъ, что встрѣчная няня съ дѣтьми проворно отводитъ послѣднихъ, самымъ искреннимъ образомъ принявъ ее за сумасшедшую, вырвавшуюся изъ больницы.

На Невскомъ мы разстаемся. Саня Орлова, въ сопутствіи Коршунова, Берегового и Рудольфа, идутъ пѣшкомъ на Васильевскій Островъ. Съ ними до конки на Петербургскую Сторону шагаетъ веселая хохотунья Маруся. На Михайловской улицѣ въ другую конку сядетъ моя Ольга и поѣдетъ къ Смольному, гдѣ ютится у своей одинокой тетки, пансіонерки вдовьей половины, и гдѣ сама она служитъ по вечерамъ въ канцеляріи богадѣльни за жалкіе гроши. Денисовъ и Ѳедя Кры-

мовъ провожаютъ меня до свой кухмистерской. Затѣмъ я сворачиваю къ себѣ въ Кузнечный, а они идутъ «насыщаться» копеечнымъ обѣдомъ.

На Владимірской улицѣ народу сегодня немного. Осенняя слякоть гонитъ по домамъ. Уже начинаютъ падать раннія сентябрьскія сумерки, хотя только всего четыре часа.

Я бѣгло оглядываюсь, убѣждаюсь, что никто меня не видитъ, и, забывъ мгновенно свои почтенные девятнадцать лѣтъ, пускаюсь галопомъ вприскачку, чтобы поскорѣе добѣжать до дома и увидѣть моего маленькаго принца...

Дома меня ждетъ остывшій супъ, засохшій антрекотъ и перестоявшіяся, похожія на черные угольки картофелины да воркотня Анюты, — но все это вздоръ въ сравненіи съ крошечными ручонками, обвившими еще пока безсознательно, можетъ быть, мою шею, съ мимымъ лепетомъ обожаемаго маленькаго принца, моего ненагляднаго принца, свѣтлокудраго, бѣленькаго принца изъ далекаго замка Трумвиль...

VII.

Прошелъ цѣлый мѣсяцъ со дня моего поступленія на драматическіе курсы. Холодная студеная осень уже вступила въ свои права.

Какъ скоро, однако, пробѣжало время!

Я стою въ началѣ длинной шеренги одиннадцати

человѣкъ противъ зеркала въ репетиціонномъ залѣ. Лѣвая рука моя лежитъ на барьерѣ, правая систематически поднимается и закругляется надъ головой.

— Разъ—два! Разъ—два! Разъ—два!—отсчитываетъ мѣрнымъ какъ метрономъ голосомъ высокій, стройный господинъ во фракѣ, съ пепельной отъ сѣдины головой и львинымъ профилемъ.

Это нашъ преподаватель танцевъ, пластики и мимики Листовъ.

Сейчасъ идетъ классъ пластики, онъ подходитъ къ концу. Бѣлокурый таперъ ударяетъ энергичными руками по клавишамъ рояля, и мы незамѣтно переходимъ на танцкласс. Звуки моднаго «миньонъ» оглашаютъ все верхнее помѣщеніе училища. Мой неизмѣнный кавалеръ по танцамъ—Вася Рудольфъ. Неуклюжій и удивительно забавный Ѳедя Крымовъ танцуетъ съ Лили Тобергъ, въ десятый разъ отдавливая ей ноги. Ловкій и подвижной Костя Береговой танцуетъ съ Шепталовой, Бобъ—съ моей Олей, Саня Орлова чередуется съ Марусей, такъ какъ у нихъ одинъ кавалеръ на двоихъ — Борисъ Коршуновъ.

Сегодня «маэстро» не придетъ заниматься съ нами; у него генеральная репетиція въ театрѣ. Его замѣняетъ маленькій старичокъ съ черными гладкими волосами, съ кукольнымъ личикомъ, точно снятымъ съ какой-то старинной гравюры. И волосы, и галстукъ у воротника, и всѣ его тихія размѣренныя движенія — все старинное.

Это—артистъ Шимаевъ.

Басни наши мы ему отвѣчаемъ, какъ говорится, спустя рукава, и тотчасъ же приступаемъ къ разговору, къ разспросамъ объ образцовой сценѣ, гдѣ онъ служитъ, и, главнымъ образомъ, о «маэстро». Нашъ старичокъ оживляется неожиданно и сіяетъ. Въ «маэстро», въ его геній, онъ вѣруетъ, какъ въ святыню. Онъ становится краснорѣчивымъ, когда разсказываетъ о немъ съ чистосердечнымъ увлеченіемъ взрослаго ребенка.

Въ четыре часа выходимъ изъ училища. Шепталова уѣзжаетъ съ Лили Тобергъ. Онѣ подружились, а мы, «демократы», по прозвищу, данному намъ Бобомъ, энергично шлепаемъ по способу пѣшаго хожденія. По пути уславливаемся вечеромъ придти въ театръ. Намъ, «курсовымъ», полагается даровая ложа, иногда двѣ или три на каждое представленіе. Весь этотъ мѣсяцъ мы широко пользовались этимъ правомъ смотрѣть пьесы на лучшей изъ русскихъ сценъ. Мы наслаждались несравненною игрою нашего «маэстро», а рядомъ съ тѣмъ и другого образцоваго комика—Варламова, знаменитой Савиной, Стрѣльской и Коммиссаржевской.

Въ тотъ вечеръ какъ разъ шла пьеса, въ которой знаменитая артистка Вѣра Федоровна Коммиссаржевская выступала въ роли дѣвочки-подростка, въ одной изъ пьесъ нѣмецкаго классическаго репертуара.

Наскоро пообѣдавъ подгорѣвшей котлетой и выслушавъ неминуемую воркотню Анюты, «что-де гдѣ это

видано и гдѣ это слыхано, чтобы до пяти часовъ голодомъ морили, на одномъ фриштыкѣ сухомъ», да повозившись съ моимъ маленькимъ принцемъ и сдѣлавъ ему ванночку, бѣгу, сломя голову, въ театръ.

Наши всѣ уже въ сборѣ, кромѣ Ксеніи и Лели, которыя въ этотъ вечеръ поѣхали въ оперу. Въ ложѣ, гдѣ полагается быть всего шестерымъ, насъ набирается девятеро, и мы всѣ въ ожиданіи поднятія занавѣса жужжимъ, какъ пчелы. Изъ сосѣднихъ ложъ подозрительно поглядываютъ на насъ, потому что Бобъ Денисовъ при помощи бинокля, взятаго имъ у Оли, показываетъ удивительные фокусы. Онъ глотаетъ бинокль и потомъ неожиданно находитъ его за обшлагомъ Ѳеди Крымова, и все это со своей абсолютно-спокойной физіономіей желтаго факира.

Лавры его успѣха не даютъ покоя Костѣ Береговому. Тотъ тоже старается придумать что-нибудь такое, чтобы насъ разсмѣшить.

Борисъ Коршуновъ неожиданно выпаливаетъ со своимъ разсѣянно мечтательнымъ видомъ:

— А у меня въ боковомъ карманѣ пальто имѣется шоколадъ. Цѣлая коробка!

— Что же вы этого раньше не сказали, коллега? Это уже не по-товарищески, Боря!—и Маруся Алсуфьева укоризненно качаетъ головою.

— Нехорошо!—соглашается съ нею всегда серьезная Саня Орлова.

— Господа! Я совѣтую наказать коллегу за укрывательство и, лишивъ его конфетъ, разыграть ихъ немедленно,—предлагаетъ Ѳедя Крымовъ.

— Чужая собственность должна быть неприкосновенна,—изрекаетъ мрачнымъ басомъ факиръ и, перешагнувъ своими журавлиными ногами черезъ кресло, выходитъ изъ ложи.

— Куда вы, Бобъ? Куда вы?—ужасно заинтересовываемся мы.

— Туда!—неопредѣленнымъ, но безспорно классическимъ жестомъ указываетъ онъ въ даль и уже на порогѣ прибавляетъ, состроивъ забавную мину:—за Борисовымъ шоколадомъ, конечно. Какъ вы недогадливы, лорды и джентльмены, и вы, милѣйшія миледи и миссъ, тоже.

— Вотъ вамъ и неприкосновенная чужая собственность!—возмущается Костя.—Хорошо еще, если онъ принесетъ коробку сюда въ завязанномъ видѣ... Знаете ли, господа, я пойду и понаблюдаю за нимъ; послужу, такъ сказать, сдерживающимъ началомъ.

— Ха-ха-ха!—залилась Маруся.—Ну, дѣти мои, теперь уже рѣшено: мы не увидимъ конфетъ, какъ своихъ ушей.

Но, къ счастью, она ошибается. Ровно за минуту до поднятія занавѣса они оба появляются въ ложѣ, съ самымъ серьезнымъ видомъ держа коробку за оба конца: факиръ своими желтыми костлявыми пальцами, Ко-

стя Береговой своими маленькими руками. И лица у обоихъ торжественно вытянуты, какъ на похоронахъ.

Въ сосѣдней ложѣ какія-то незнакомыя барышни смѣются. Длинный съ журавливыми ногами Бобъ и маленькій Костя, дѣйствительно, забавны, когда они рядомъ.

Санѣ Орловой, какъ самой тихой и корректной изъ насъ, разрѣшается развязать коробку. Но оркестръ какъ разъ въ эту минуту заканчиваетъ играть, и занавѣсъ взвивается тотчасъ же за послѣднимъ звукомъ.

Какъ безподобна Коммиссаржевская на сценѣ! Полная иллюзія милаго пятнадцатилѣтняго подростка! Такъ хороша, естественна и высокоталантлива ея игра! Да и полно—игра ли это? Знаменитая артистка живетъ каждымъ фибромъ, каждымъ нервомъ своего существа. Она вся горитъ, пылаетъ на сценѣ, передавая съ мастерствомъ великаго таланта настоящія страданія, настоящую жизнь. И этотъ голосъ, который никогда не забудется тѣми, кто его слышалъ хоть разъ въ своей жизни. И эта несравненная мимика очаровательнаго дѣтскаго личика, эти глаза, лучистые и глубокіе, какъ океанъ безбрежный!..

Сидимъ, затаивъ дыханіе, впитывая въ себя каждый звукъ этого чарующаго, ни съ чѣмъ несравнимаго голоса, ловя каждое ея движеніе, каждый ея взглядъ.

И когда съ легкимъ шуршаніемъ занавѣсъ опускается, закрывъ за собою свѣтлый чарующій образъ

артистки, мы продолжаемъ сидѣть, какъ завороженные, боясь нарушить жестомъ или словомъ тишину очарованія, захватившаго насъ.

Только звуки оркестра, раздавшагося въ антрактѣ, приводятъ насъ немного въ себя.

— А что же конфеты?—оживаетъ первый Бобъ Денисовъ.—Лорды и джентльмены, прошу не стѣсняться, хотя шоколадъ, признаться, чужой. Но я ничего не слышу и не вижу, на все заранѣе закрываю уши и глаза...

Не не встрѣтивъ одобренія съ нашей стороны, на этотъ разъ онъ умолкаетъ.

Наше очарованье длится... Маленькая женщина съ большой геніальной душой заполнила насъ всѣхъ своей дивной игрою. Я чувствую, что и Ольга, и Саня Орлова, и Коршуновъ тоже сейчасъ, какъ и я, далеки отъ земли.

— Да, я понимаю, что можно умеретъ отъ счастья, видя такое исполненіе!—роняетъ нервно Борисъ Коршуновъ.

— Такую жизнь!—поправляетъ Саня.

— Свѣтлое, радостное, прекрасное существо! Въ какихъ голубыхъ садахъ обитаетъ ея геній?—шепчетъ Елочка съ помутившимися глазами.

— Ой-ой! Не надо, Олечка, не надо такихъ сногсшибательныхъ выраженій...—съ комическимъ ужасомъ подхватываетъ Береговой.—Я насчетъ декаденства ничего не понимаю. Лучше скушайте шоколаденку, съ разрѣшенія хозяина коробки.

— Коробка! Шоколадъ! Что за пошлость послѣ этой музыки, которой сейчасъ звучали наши уши!—произнесъ Коршуновъ, все еще продолжая смотрѣть на сцену зачарованнымъ взоромъ.

Въ коробкѣ осталось лишь нѣсколько штукъ на донышкѣ. Мы уничтожаемъ шоколадъ съ аппетитомъ, какой дай Богъ имѣть всякому.

Бобъ ставитъ коробку на барьеръ передъ собою и строго контролируетъ каждаго, кто протягиваетъ къ ней руку.

— Попрошу не брать ликерной бутылочки, она моя,—заявляетъ онъ серьезнымъ тономъ.

— А вотъ, представь себѣ, что именно на нее у меня и разыгрался аппетитъ,—говоритъ Ѳедя и тянется за коробкой.

Бобъ демонстративно отодвигаетъ ее подальше. Ѳедя настаиваетъ. Сосѣдки по ложѣ, смѣшливыя барышни, съ любопытствомъ слѣдятъ за этой игрой.

— Хочу цоколадную бутильку!—тономъ избалованнаго ребенка тянетъ Ѳедя и стремительно хватаетъ коробку. И—о, ужасъ!—мы не успѣваемъ опомниться, какъ вся она съ оставшимися конфетами, описывая взлеты въ воздухѣ и перекувыркиваясь, какъ птица, летитъ въ партеръ. Шоколадинки выпадаютъ изъ нея и темными градинами устремляются туда же.

Въ партерѣ переполохъ... Дамскій нервный выкрикъ... Какой-то истерическій смѣшокъ, затѣмъ негодующій

возгласъ сердитаго старичка во фракѣ, нервно потирающаго свою глянцевито блестящую, безъ признака волосъ, голову.

Мы замираемъ отъ неожиданности и страха и смотримъ внизъ прямо въ лысину старичка и на нервно мечущуюся близъ него въ своемъ креслѣ даму.

— Увы! Онѣ были съ ликеромъ!—трагическимъ шопотомъ шепчетъ Бобъ и лѣзетъ подъ стулъ отъ охватившало его гомерическаго смѣха.

Тотъ же неудержимый приливъ хохота захватываетъ и насъ.

— Онѣ были съ ликеромъ!..—шепчетъ Маруся, вся содрогаясь и извиваясь отъ хохота, багровая, какъ свекла.

Разсержанный и гнѣвный влетаетъ къ намъ театральный чиновникъ.

— Господа! Какъ можно?! Этому нѣтъ названія! Это безобразіе! Вѣдь вы не дѣти!

— Нечаянно... Ей Богу, нечаянно... Мы это нечаянно,—находитъ, наконецъ, силы выдавить изъ себя Ѳедя Крымовъ, съ налившимися, отъ тщетнаго усилія удержать смѣхъ, жилками на лбу, но, не выдержавъ, фыркаетъ и заливается снова.

Капельдинеръ съ тряпкой бѣжитъ въ партеръ. Оркестръ заканчиваетъ снова свой нумеръ, и снова забывается все, весь міръ съ его большими и мелкими событіями, и чудное обаяніе талантливой артистки захва-

тываетъ наши души и уноситъ ихъ въ заоблачную даль...

VIII.

Передо мною лежитъ письмо изъ далекой Сибири. Письмо отъ «рыцаря Трумвиля» къ его «маленькой Брандегильдѣ» и крошечному «принцу». Такое славное, ласковое, родное письмецо!

Но оно не можетъ развѣять печальныхъ мыслей. У маленькаго принца рѣжутся первые зубки, и онъ не спитъ третью ночь. Не спитъ съ нимъ и его юная мать, и кормилица Саша.

Бываютъ случаи, что дѣти умираютъ отъ первыхъ зубовъ. Эта мысль гнетъ мою душу и тяжелымъ кошмаромъ давитъ мозгъ.

Сегодня праздникъ, одно изъ декабрьскихъ воскресеній. Скоро предрождественскій экзаменъ, и на душѣ у меня такъ безконечно тяжело.

Совсѣмъ изморившаяся Саша спитъ, какъ убитая. Въ моей комнатѣ сидятъ Оля, Маруся Алсуфьева, Рудольфъ и Бобъ.

Оля ночуетъ у меня сегодня, помогая ухаживать за моимъ Юрикомъ. Маруся Алсуфьева, подвязавъ передникъ, помогаетъ Анютѣ стряпать обѣдъ, потому что послѣдняя заявила самымъ рѣшительнымъ образомъ, что ей не успѣть наготовить на такую «большую кумпанію».

Бобъ переписываетъ съ моихъ тетрадей лекціи, прикусивъ кончикъ языка и усиленно дыша отъ «напряженія непосильнымъ трудомъ», какъ онъ выражается, а нѣжный, голубоглазый Рудольфъ забавляетъ маленькаго принца. Онъ то дѣлаетъ ему «козу», заставляя смѣяться ребенка, то изображаетъ «сороку-ворону», то вертитъ погремушки передъ его глазенками.

Откуда такія неожиданныя способности у этого, всегда серьезнаго, сдержаннаго и застѣнчиваго Васи,—неизвѣстно.

Мы, какъ и предполагали раньше, собирались теперь еженедѣльно по вечерамъ другъ у друга. Сегодня была очередь Ольги принимать у себя. Но милая дѣвушка не хотѣла звать къ себѣ гостей безъ меня. А я не въ силахъ была оставить маленькаго принца.

— Надо было бы, собственно говоря, позвать доктора,—изрекъ неожиданно Бобъ и съ размаху наградилъ исполинской кляксой совершенно чистую страницу.

— Ея лекціи! Лидины лекціи! Вы измазали ихъ, несчастный!—появившись съ чумичкой въ рукѣ, восклицаетъ Маруся.

— Что за ужасъ, подумаешь! И что такое лекція передъ вопросомъ—позвать доктора или не позвать, когда у мальчика рѣжутся зубки?! И вы не вздумайте меня, пожалуйста, прибить чумичкой, Маруся, потому что я этого не потерплю и буду кричать на весь домъ.

И онъ со свирѣпымъ видомъ косится на чумичку,

которою энергично помахивала полная, съ засученнымъ рукавомъ, ручка Маруси.

Позвать доктора? Гм! Не могу же я сказать имъ, что всѣ имѣвшіяся въ домѣ деньги я еще недѣлю тому назадъ внесла въ уплату за право посѣщать лекціи на драматическихъ курсахъ. Теперь хозяйственные расходы у насъ дѣлаются изъ тѣхъ суммъ, которыя я выручаю изъ заклада той или другой вещи моего недавно еще такого наряднаго гардероба. Мой отецъ, правда, присылаетъ мнѣ деньги каждый мѣсяцъ, но мнѣ ихъ нехватаетъ. А отъ помощи мужа я отказалась. Ему самому тамъ, въ его холодной странѣ, такъ понадобится его скромное жалованье. Приходится сводить кое-какъ концы съ концами. Приданое серебро уже заложено, и мои серьги тоже... А расходы не уменьшаются, жизнь, оказывается, такъ дорога.

Я откровенно заявляю, что у меня въ домѣ «ни гроша» и что... ломбардъ закрытъ. По воскресеньямъ онъ всегда бываетъ закрытъ.

— Глупое, въ сущности, правило,—вставляетъ Бобъ, захлопывая тетради, и съ самымъ энергичнымъ видомъ подступаетъ ко мнѣ.—А какъ у насъ насчетъ татаръ, коллега?

— Какихъ татаръ?—недоумѣваю я.

— Ахъ, ты Господи! Лорды и джентльмены, ничего она не понимаетъ нынче, я вижу, эта миледи! Я говорю, конечно, не о татарскомъ игѣ и нашествіи Ба-

тыя, а о тѣхъ мирныхъ халатникахъ-татарахъ, которые ходятъ къ намъ на дворы для покупки разнаго хлама.

— Ага!—начинаю я понимать, и лицо мое озаряется улыбкой. — Отлично, милый Бобъ, отлично! Зовите татарина: у меня, къ счастью, есть, что продать.

Послѣднихъ моихъ словъ онъ не слышитъ, потому что журавлиныя ноги уже выносятъ его на улицу.

— Князь! Князь! — слышимъ мы спустя минуту его энергичный голосъ во дворѣ.

Я, при помощи Оли, Маруси и Васи Рудольфа, выталкиваю сундукъ съ моимъ гардеробомъ и начинаю энергично рыться въ немъ. Маленькій принцъ, лежа съ поднятыми подъ одѣяльцемъ ноженками поперекъ широкой оттоманки, слѣдитъ за нами блестящими глазками. Ему, очевидно, нравится вся эта суета.

Бархатное платье... Шелковый капотъ... Бѣлое средневѣковое одѣянье Брандегильды... Еще бальное... Еще визитное... и чудесная на бѣломъ ангорскомъ мѣху ротонда...—все это вмигъ покрываетъ столъ, стулья, диванъ и кресла моей маленькой квартиры.

Просыпается Саша и съ заспаннымъ видомъ присоединяется къ намъ. Прибѣгаетъ Анюта изъ кухни и, выпучивъ глаза, останавливается у порога. И когда торжествующій Бобъ Денисовъ приводитъ бритоголоваго, въ темновишневой тибитейкѣ, съ лукаво бѣгающими глазами татарина—эффектъ получается грандіозный.

Бобъ съ видомъ настоящаго оцѣнщика взбрасываетъ на рукѣ ту или другую вещь и торгуется, какъ извозчикъ. Но татаринъ неумолимъ. Даетъ самыя мизерныя цѣны, несмотря на то, что Бобъ его величаетъ и «вашимъ сіятельстомъ», и «княземъ», и «свѣтлостью» даже. Но «свѣтлость» уперлась на своемъ. За бархатное платье онъ даетъ пять рублей, за шелковое тоже пять, за ротонду десять, и все косится на новенькій костюмъ Боба.

— Дамскій нарядъ что...—говоритъ онъ, мотая бритой головой, — дамскій нарядъ — тьфу... А ты лучше свой пиджакъ продай, красавчикъ,—умильно елейнымъ голосомъ обращается онъ къ Денисову.

Тотъ въ ужасѣ отскакиваетъ отъ него.

— Ей Богу, продай. Хорррошую дамъ цѣну!

— Уйди! Уйди! — шепчу я въ ужасѣ и машу на него обѣими руками.

— Уйди! — кричитъ энергичнымъ голосомъ Рудольфъ, и мы не узнаемъ нашего обычно тихонькаго и застѣнчиваго нѣмца.

Татаринъ сердится тоже.

— Уйду и самъ. Молоды-зелены, чтобы старика учить.

Я, однако, во-время спохватываюсь и удерживаю его за рукавъ кафтана.

— Пожалуйста, возьми бархатное платье и дай пять рублей.

Ну, вотъ, такъ-то лучше...

— Ну вотъ, такъ-то лучше.

И онъ, преспокойно выдавъ мнѣ засаленную бумажку, уходитъ, унося мой костюмъ.

Мои друзья подавлены.

— Богъ знаетъ что!—вдругъ неожиданно произноситъ Бобъ Денисовъ. — И надо же случиться, что у насъ ни у кого денегъ нѣтъ, господа! И въ какое ты неподходящее заболѣлъ, карапузъ, время!—обращается онъ съ комическимъ ужасомъ къ маленькому «принцу», какъ будто тотъ можетъ что-нибудь понять. Минуту спустя, Бобъ стремительно бѣжитъ за докторомъ.

— Самаго лучшаго приведите!—кричу я ему вслѣдъ.

—Самаго лучшаго, Боря! Узнайте адресъ въ аптекѣ.

— Да, какъ же, придетъ къ вамъ самый лучшій за пять рублей! Держите карманъ!—доносится его басъ изъ маленькой передней.

Пока Оля и Маруся, при помощи Саши, водворяютъ мой гардеробъ обратно въ сундукъ, Рудольфъ съ таинственнымъ видомъ отводитъ меня въ сторону.

— Послушайте, Лидочка, мнѣ вамъ надо что-то сказать.

Увожу его въ дѣтскую, гдѣ мягко теплится передъ образомъ лампадка и кротко смотрятъ изъ кіота Богоматерь и Младенецъ Христосъ.

— Въ чемъ дѣло, Вася?

Голубые глаза Рудольфа застѣнчиво мигаютъ, избѣгая смотрѣть на меня.

— Вотъ видите ли...—начинаетъ онъ такъ тихо и робко, что я едва могу его разслышать. — Завтра день моего рожденія. Мнѣ минетъ ровно двадцать три года, и мой дѣдушка обѣщалъ мнѣ дать большую сумму въ этотъ день... Я, признаться, ждалъ этого подарка съ дѣтскихъ лѣтъ... Я такъ любилъ сцену и хотѣлъ на эти деньги устроить маленькій театръ, сдѣлаться его хозяиномъ. Съ этою цѣлью я пришелъ учиться сюда на курсы... Когда «маэстро» спросилъ меня тогда, помните, зачѣмъ я пришелъ, я скрылъ, умолчалъ, но всѣ мои мысли сосредоточивались на маленькомъ театрѣ... А теперь... сейчасъ... Послушайте, Лидочка, возьмите у меня заимообразно эти деньги, всю сумму сполна, на два, на три, на четыре года, если хотите... Когда заработаете, заслужите, вернете... Вамъ онѣ нужнѣе, чѣмъ мнѣ: у васъ ребенокъ, семья...

— Вася! Рудольфъ! Голубчикъ! Господь съ вами!

Необъяснимое чувство поднялось во мнѣ и захватило, заполонило все мое существо.

Этотъ нѣмчикъ, такой застѣнчивый, робкій и тихій, повернулъ мое сердце.

— Не надо! Не надо!—вся потрясенная, проговорила я.—Ради Бога, не говорите такъ, Рудольфъ!.. Я всею душою, всѣмъ моимъ существомъ признательна вамъ... У меня слезы на глазахъ, вы видите это... Но я не могу, я не должна принимать ни отъ васъ, ни отъ кого другого никакой помощи, никакого одолженія... По-

мните, что я со стѣсненнымъ сердцемъ принимаю даже помощь отца, такого близкаго мнѣ и дорогого человѣка... Нѣтъ! Нѣтъ! Я сама, собственными силами должна пробить себѣ дорогу... Я найду способъ зарабатывать уроками, переводами, я не знаю какъ еще, но я буду, буду работать до послѣднихъ силъ... А вамъ, вамъ большое спасибо, голубчикъ... Этого вашего сочувствія я не забуду никогда...

Я стискиваю его руку и взволнованная выхожу къ моимъ друзьямъ.

— Докторъ пришелъ,—испуганнымъ шопотомъ сообщаетъ Маруся.

Докторъ, очень серьезный господинъ, долго и тщательно осматриваетъ маленькаго принца, въ то время какъ Бобъ Денисовъ, прищелкивая пальцами и приплясывая на мѣстѣ, отвлекаетъ вниманіе моего крошечнаго сынишки отъ непріятной процедуры, производимой надъ нимъ врачомъ. Всѣ мы смотримъ на почтеннаго эскулапа съ замираніемъ и надеждой, съ нетерпѣніемъ ожидая, что онъ скажетъ намъ.

— Кто изъ васъ мать?—освѣдомляется врачъ и, различивъ мое блѣдное съ выраженіемъ страха и ожиданія лицо, обращается уже ко мнѣ непосредственно:

— Вы мать, конечно. Пожалуйста, не волнуйтесь. На рѣдкость крѣпкій малютка, и зубастый же онъ будетъ у васъ! Въ семь мѣсяцевъ зубы! Поставьте ему

компрессъ на животикъ и ложитесь-ка мирно спать. Завтра вашъ мальчикъ будетъ совсѣмъ здоровъ.

Я едва дослушиваю послѣднія слова доктора, взвизгиваю отъ восторга и начинаю кружиться по комнатѣ.

Бобъ Денисовъ кричитъ «ура». Рудольфъ, Маруся и Ольга смѣются.

Послѣ ухода врача мы накидываемся на обѣдъ съ аппетитомъ голодающихъ индусовъ.

— Брр! Что за гадость, однако! — безцеремонно отставляя свою тарелку, говоритъ Бобъ. — Странный вкусъ у этой жареной наваги... Что вы съ нею сдѣлали, Маруся? Или, можетъ быть, это морскіе крабы, а не рыба? Что?

— Ахъ!

Русая головка Маруси склоняется надъ тарелкой.

— Ужасъ какой! Я ее вычистить забыла. Анюту послала за масломъ, сказала, что сама, и... и...—и, окончательно пристыженная, она смолкаетъ.

— «Офелія! Удались въ монастырь! Тебѣ здѣсь не мѣсто»!—гробовымъ басомъ прогудѣлъ Бобъ надъ склоненной головкой слова изъ заученной имъ роли.

— Ну, ничего. Зато ватрушка съ творогомъ вышла на славу. Успокойтесь, друзья мои, ее стряпала Анюта. Можете ѣсть безъ опасенія, — успокоила я моихъ гостей.

— За здоровье выздоровѣвшаго больного!—крикнулъ Бобъ, поднимая стаканъ съ баварскимъ квасомъ.

— И за мнительныхъ не въ мѣру маменекъ!—тихо подхватилъ Рудольфъ.

— Нѣтъ, господа, будемъ пить за здоровье одного благороднѣйшаго человѣка,—предложила я, скосивъ лукавый взглядъ на вспыхнувшаго отъ смущенія Васю.

— Аминь! И да будетъ такъ! Я нелюбопытенъ,—мрачно согласился Бобъ.

— А когда же вы ко мнѣ, друзья мои?—подняла голосъ Оля.

— Назначимъ будущее воскресенье, — предложила Маруся.

— А пирогъ съ вареньемъ будетъ?—освѣдомился Бобъ.

— Краюшка чернаго хлѣба съ водою, вотъ что вамъ будетъ,—засмѣялась Маруся.

— И это ничего, если большая,—согласился неуязвимый юноша.

Они ушли поздно. А я, уложивъ спать маленькаго принца, принялась за письмо къ рыцарю Трумвилю въ далекую Сибирь.

Въ этомъ письмѣ я отдала моему мужу подробный отчетъ о состояніи здоровья нашего сынишки, описывала ему самымъ подробнымъ образомъ мою новую жизнь, моихъ друзей, тѣсное объединеніе нашего курса и закончила свою исповѣдь подробнымъ описаніемъ поступка Васи Рудольфа, который такъ потрясъ все мое существо.

IX.

— А-а а-а!

— И-и-и-и!

— Е-е-е-е!..

— О-о-о-о!

— У-у-у-у!

И опять сначала: а, и, е, о, у... и т. д., и т. д.

Это урокъ пѣнія.

Въ музыкальной комнатѣ за роялемъ сидитъ высокій молодой человѣкъ въ пенснэ и ударяетъ пальцами по клавишамъ. Маленькій коренастый брюнетъ—преподаватель Аноховъ—стоитъ и слушаетъ всѣхъ по очереди, и лицо, его поминутно, когда мы фальшивимъ, корчится какъ отъ боли.

У Ольги низкій грудной голосъ. У Сани Орловой—бархатное контральто, выработанное въ консерваторіи, гдѣ она пробыла цѣлый годъ по окончаніи гимназическаго курса. У Ксеніи Шепталовой—красивое сопрано. Мы трое: Маруся, Лили Тобергъ и я, обладаемъ совершенно невыработанными дискантами. Совсѣмъ пѣтушиные голоса, когда тѣ пробуютъ свои силы.

Глубокій басъ длиннаго Боба и дивный баритонъ Бори Коршунова приводятъ Анохова въ настоящій восторгъ. Зато Костя Береговой и Ѳедя Крымовъ ужасаютъ почтеннаго учителя не менѣе нашихъ «пѣтушковъ». Выручаетъ мягкій и нѣжный теноркъ Рудольфа.

* * *

На дворѣ стала настоящая зима. Декабрь клонится къ концу. Скоро Рождество. На Рождествѣ, на первый день, я ѣду съ Сашей и моимъ маленькимъ принцемъ въ Царское Село на елку къ своимъ. Затѣмъ мы рѣшили «кутнуть» всѣмъ курсомъ: соберемся у Ольги и оттуда на двухъ тройкахъ поѣдемъ на Острова. Эту поѣздку рѣшено было устроить въ складчину, но Вася Рудольфъ вознегодовалъ: онъ получилъ свои деньги отъ дѣдушки и на радостяхъ рѣшилъ насъ всѣхъ угостить.

Но впереди у насъ еще цѣлое событіе. Страшное событіе—экзаменъ.

Отъ этого экзамена зависитъ наше дальнѣйшее пребываніе на курсахъ. Талантливыхъ, подающихъ какую-либо надежду, оставятъ, неталантливыхъ исключатъ. Экзаменъ долженъ быть черезъ три дня. «Маэстро» приходитъ теперь ежедневно и занимается съ нами по цѣлымъ часамъ. И часто-часто его умное, доброе, выразительное лицо принимаетъ брезгливое выраженіе: выпячивается нижняя губа, хмурятся брови, и всѣ черты принимаютъ выраженіе недовольнаго дитяти. Особенно недоволенъ онъ Ѳедей Крымовымъ. Съ нѣкоторыхъ поръ юноша неузнаваемъ, манкируетъ занятіями, едва выучиваетъ заданное, ходитъ какой-то разсѣянный, блѣдный, молчаливый и растерянный.

Да и мы, прочіе, лѣнивы, разсѣяны, по мнѣнію «маэстро», скоро забываемъ его указанія, не занимаемся столько, сколько слѣдуетъ.

Это правда. Мы лѣнимся. Намъ надоѣдаетъ тянуть нараспѣвъ басни и стихи въ классѣ, дѣлать упражненія на повышеніе и пониженіе голоса и на скороговорку, и мы относимся къ этимъ занятіямъ спустя рукава. Хочется сразу читать и декламировать стихи, роли и, еще больше того, играть на сценѣ.

А тутъ еще такой соблазнъ. Старше-курсники играютъ и въ школьномъ театрѣ, и «на сторонѣ», въ маленькихъ клубныхъ театрахъ, и на пригородныхъ сценахъ. Второкурсницы, съ Наташей Перевозовой во главѣ, практикуютъ въ Пороховомъ театрѣ (гдѣ пороховые заводы) и каждое воскресенье ѣздятъ туда выступать передъ «настоящей» платной публикой. Ихъ профессоръ, большой актеръ образцовой сцены, товарищъ нашего «маэстро», Ленскій позволяетъ имъ это. А нашъ «маэстро» настрого запретилъ намъ выступать на частныхъ сценахъ, пока мы учимся у него въ школѣ. У него на это свои соображанія. Онъ говоритъ, что разучиваніе ролей наспѣхъ, безъ опытнаго руководства, только портитъ молодыя силы.

— Милостивые государи и милостивыя государыни, вы еще «несозрѣвшіе плоды»,—говоритъ онъ,—и вотъ надо пока воздержаться, если вы серьезно относитесь къ дѣлу, къ искусству. А главное, такія выступленія мѣшаютъ правильному ходу занятій.

Скрѣпя сердце, приходится покоряться.

* * *

— А, е, и, о, у,—тяну я самымъ добросовѣстнымъ образомъ, скашивая то и дѣло глаза на окно, за которымъ прыгаютъ и кружатся снѣжныя хлопья.

Подъ ложечкой сосетъ отъ голода. Забыла захватить изъ дома свои буттерброды.

И вдругъ происходитъ какое-то необыкновенное движеніе въ толпѣ «мальчиковъ», какъ мы называемъ нашихъ коллегъ мужского пола.

Что это?

Ѳедя Крымовъ падаетъ на полъ, растянувшись во весь ростъ крупнаго семнадцатилѣтняго юноши. Лицо его зелено-блѣдно, глаза сведены, въ нихъ страшно бѣлѣютъ одни бѣлки.

Мы бросаемся къ нему на помощь. Я первая наклоняюсь надъ нимъ, за мною Бобъ Денисовъ. Срываемъ съ него воротничокъ, разстегиваемъ жилетъ. Ольга съ Ксеніей бѣгутъ за водой.

— Ему дурно! Съ нимъ обморокъ! Онъ умираетъ!— кричу я, заглядывая въ его блѣдное какъ снѣгъ, и безжизненное лицо.

— Дайте ему капель поскорѣе, это пройдетъ,—протискиваясь къ намъ, шепчетъ Саня Орлова.

Не обращая вниманія на Анохова и его аккомпаніатора, которые должны были поневолѣ прекратить урокъ, мы приводимъ въ чувство бѣднаго Ѳедю.

— Это ничего... Это пройдетъ,—лепечетъ онъ смущенно.

— Осрамился, старина, нечего сказать,—слышу я укоризненный голосъ Коршунова.—Отъ тебя разитъ виномъ... Не стыдно тебѣ? Не стыдно тебѣ, гадкій мальчишка, каждый вечеръ проводить въ компаніи какихъ-то подозрительныхъ субъектовъ, выгнанныхъ за лѣнь и дурное поведеніе изъ училищъ, играть съ ними въ карты и пить вино? Вотъ они результаты такого времяпровожденія. Упалъ въ обморокъ, какъ какая-нибудь слабонервная кисейная барышня. Стыдись!... Вѣдь мы всѣ знаемъ, что ты продѣлываешь, когда возвращаешься изъ училища. И всѣ мы...

— Да всѣ вы поступаете отвратительно!—внезапно прозвучалъ сразу окрѣпшій и наполнившій своими звуками всю музыкальную комнату голосъ Сани Орловой, и передъ нами точно выросла маленькая фигурка нашей товарки.

Ея лицо какъ-то преобразилось сразу; исчезло лежавшее на немъ выраженіе задумчивой печали, и оно сдѣлалось неожиданно негодующимъ и гнѣвнымъ. Темные восточные глаза расширились и заблестѣли гнѣвомъ.

— Стыдно вамъ!—зазвучалъ снова по комнатѣ ея славный голосъ.—Стыдно вамъ, что вы, зная, какъ проводитъ время этотъ мальчикъ, оторванный отъ семьи, безвольный и мягкій, не остановили его во время, не предупредили этого явленія, не пришли къ намъ, къ вашимъ товаркамъ, наконецъ, за совѣтомъ. Вѣдь мы здѣсь какъ сестры и братья, чего же намъ стѣсняться, господа? Да,

онъ ничѣмъ не виноватъ, этотъ несчастный Ѳедя. Его увлекли дурные примѣры гадкихъ мальчишекъ, и вотъ...

— Послушайте, Крымовъ,—внезапно обратилась она къ юношѣ:—дайте мнѣ слово, слово честнаго человѣка и будущаго дѣятеля сцены, что никогда, никогда не будете вы больше дружить съ темными личностями, такъ вредно вліяющими на васъ... И пить не будете и играть въ карты. Вы должны мнѣ дать это слово. Вы мнѣ дадите его, Ѳедя?

Весь красный, потупивъ глаза, Крыловъ стоялъ передъ нею.

— Я не знаю... я не могу...—безвучно лепетали его губы.

— Ну и это хорошо, что не можете обѣщать, не соразмѣривъ своихъ силъ,—подхватила Саня.—Такъ вотъ что: когда васъ потянетъ въ дурную компанію, Ѳедя, пріѣзжайте къ намъ. Вы знаете мою старушку-маму. Она пережила много горя, и умѣетъ вліять на людей. Она васъ успокоитъ, развлечетъ и приголубитъ. А мои братья постараются васъ занять, и вы почувствуете себя, какъ въ родной семьѣ, какъ дома. Придете, Ѳедя, да?

Она взяла холодную, влажную руку юноши и, не смущаясь запахомъ вина, близко наклонилась къ его лицу

Слезы брызнули изъ глазъ Крымова.

— Приду... Спасибо вамъ,—шепнулъ онъ чуть слышно и, не глядя ни на кого, выбѣжалъ изъ комнаты.

На минуту въ комнатѣ воцарилось полное молчаніе.

— Господа,—послѣ продолжительной паузы первый произнесъ Коршуновъ,—я не могу не поклониться низко-низко за все только что слышанное коллегѣ Орловой. Позвольте, Саня, дорогой товарищъ, пожать вашу руку, какъ свѣтлой личности и милой сестрѣ.

Смущенная, она протянула свою маленькую энергичную руку, не зная, шутитъ онъ или говоритъ серьезно.

— И мнѣ тоже дайте пожать вашу руку,—послышался знакомый голосъ за нами.

Мы живо обернулись всѣ сразу, какъ одинъ человѣкъ.

Въ дверяхъ музыкальной комнаты стоялъ «маэстро». Онъ все слышалъ: это было видно по его глазамъ, съ мягкимъ отеческимъ выраженіемъ остановившимся на лицѣ Сани. И когда его пухлая крупная рука сжала тонкую руку дѣвушки, свѣтлая, довольная улыбка сіяла на его лицѣ.

— Въ свою очередь,—говорилъ онъ—я попрошу васъ довершить ваше благодѣяніе m-lle Орлова и взять подъ свое покровительство Крымова. Постарайтесь повліять на него. Онъ способный юноша, и будетъ горько, если дурныя привычки погубятъ это юное дарованіе. Вы обѣщаете мнѣ это, самая уравновѣшенная и серьезная изъ моихъ ученицъ? Не правда ли?

— Обѣщаю,—тихо пролепетала вспыхнувшая Саня.

И она сдержала это обѣщаніе. Ежедневно уводила она

Ѳедю къ себѣ, гдѣ въ тѣсной и дружной семьѣ юноша, постепенно отвыкалъ отъ прежней компаніи и проводилъ время въ обществѣ серьезныхъ и милыхъ братьевъ Сани, ея самой и ихъ матери, къ которой, кстати сказать, привязывался каждый, кто узнавалъ эту добрую и отзывчивую душу.

X.

Вотъ онъ—страшный день.

На улицѣ морозъ, предрождественскія метель и вьюга съ безконечнымъ снѣгомъ за окномъ. Въ школѣ—напряженные ожиданіе и страхъ. Ровно въ два часа экзаменъ. Мы спускаемся внизъ по театральной лѣстницѣ въ боковую, прилегающую къ сценѣ комнату. Тамъ насъ ждетъ «маэстро».

Онъ не одинъ. Юноша лѣтъ семнадцати-восемнадцати, съ угрюмымъ, сосредоточеннымъ лицомъ, и смуглая, черноволосая и черноглазая, дѣвушка нерусскаго типа стоятъ по обѣ стороны его.

— Вотъ, друзья мои, рекомендую,—обращается къ намъ «маэстро»,—двухъ новыхъ коллегъ: Султана Алыдашева, присланная отъ правительства Болгаріи для изученія драматическаго искусства, будущая вольно-слушательница, и Владимиръ Карѣевъ, бывшій ученикъ пѣвческой капеллы, вашъ новый товарищъ. Они будутъ экзаменоваться вмѣстѣ съ вами.

— Здравствуйте!—ломаннымъ русскимъ языкомъ

бросила всѣмъ сразу болгарка и стала поочередно протягивать намъ свою смуглую узенькую руку.

Юноша съ достоинствомъ наклонилъ курчавую голову.

— Ну, братъ Боря, теперь тебѣ ау—крышка. Этотъ Владимиръ Карѣевъ—будущій геній, увѣряю тебя,— успѣлъ шепнуть неугомонный Бобъ по адресу Коршунова, котораго всѣ мы до сихъ поръ считали изъ ряда вонъ выходящимъ талантомъ.—У него въ лицѣ что-то такое, знаешь, сократовское... Однимъ словомъ, геній, да и только, увѣряю тебя.

— Я буду читать изъ Шиллера,—неожиданно низкимъ голосомъ заявляетъ болгарка и таращитъ на всѣхъ свои черные какъ уголья прекрасные глаза.

— Совсѣмъ азіатка!—шепчетъ Костя Береговой и, отвернувшись, хихикаетъ въ руку.

Красивая болгарка имѣетъ видъ дикаго, прелестнаго, но совсѣмъ некультурнаго существа. Она разглядываетъ насъ безцеремонно, ощупываетъ наши костюмы, освѣдомляется о цѣнѣ ихъ, интересуется жизнью въ Петербургѣ, дороговизной помѣщенія, извозчиками и всякими мелочами. И все это на тарабарскомъ нарѣчіи и низкимъ какъ труба голосомъ, при чемъ то и дѣло ударяетъ себя рукою въ грудь.

Я смотрю на «маэстро». Его глаза хитровато подмигиваютъ и смѣются. Онъ чутьемъ опытнаго цѣнителя чувствуетъ уже въ этомъ дикомъ созданіи непосредственный темпераментъ и талантъ.

Вбѣгаетъ инспекторъ съ экзаменаціонными листками въ рукахъ и почтительно приглашаетъ «маэстро» занять его мѣсто въ партерѣ, а насъ торопитъ идти на сцену.

Вотъ она снова, эта сцена, куда робкими, ничего не знающими дебютантками мы входили четыре мѣсяца тому назадъ! За эти четыре мѣсяца мы уже пріобрѣли нѣкоторыя знанія, выдержку, прошли, такъ сказать, первую азбуку сценическаго искусства. Но тѣмъ хуже для насъ: строже будутъ предъявляться къ намъ требованія со стороны начальства.

Съ отведеннаго мнѣ мѣста у правой кулисы я вижу и нашихъ экзаменаторовъ и старшихъ курсовыхъ, и публику. Впереди начальство: директоръ образцовыхъ театровъ, управляющій, ихъ помощники. Дальше милое лицо «маэстро», встревоженнаго за насъ. А тамъ инспекторъ, его помощникъ, симпатичный, молчаливый и добрый человѣкъ, Викторія Владимировна и учителя. Вотъ сидятъ «Бытовая исторія», «Словесность», «Исторія драмы», французъ, рыжій и веселый, какъ и подобаетъ быть французу, батюшка, «Мимика», «Рисованіе» и «Пѣніе»,— словомъ, весь синедріонъ, до двухъ фехтовальщиковъ включительно.

А въ «раѣ», какъ и на пробномъ испытаніи, старшекурсники, насмѣшливые и требовательные, какъ всегда. Впрочемъ, среди нихъ есть и дружескій элементъ: Наташа Перевозова, Комарова, Наровскій, Плавскій, об-

щій здѣшній любимецъ, Наташа Бахметьева, изящная, хрупкая, какъ японочка, узкоглазая брюнетка, и другіе.

Провалиться на виду у всей этой блестящей аудиторіи—позоръ.

Каждый изъ насъ долженъ прочесть кусокъ прозы и стиховъ, прочесть со свойственными уже артисту пріемами, какъ насъ училъ эти четыре мѣсяца «маэстро». Мы волнуемся, каждый по-своему. Я то блѣднѣю, то краснѣю и вся дрожу мелкой дрожью. Маруся Алсуфьева шепчетъ всѣ молитвы, какія только знаетъ наизусть. Ксенія Шепталова пьетъ изъ китайскаго флакончика валерьяновыя капли, разведенныя въ водѣ. Лили Тобергъ плачетъ. Ольга то креститъ себѣ «подложечку», то хватаетъ и жметъ мои пальцы холодною какъ ледъ рукою. Саня Орлова вѣрна себѣ: стиснула побѣлѣвшія губы, нахмурила брови, насупилась и молчитъ.

— Совсѣмъ Антигона, классическая героиня! Не тронь меня, а то укушу за носъ!—пробуетъ острить на ея счетъ Бобъ, но никто изъ насъ не смѣется. Всѣхъ захватила торжественность минуты.

И опять, какъ и четыре мѣсяца тому назадъ, звучитъ голосъ инспектора на весь театръ:

— Госпожа Алсуфьева!

— Начинается! Помяни, Господи, царя Давида и всю кротость его!—шепчутъ помертвѣвшія губы.

Ни слушать, ни сидѣть я не въ силахъ. Вскакиваю

со своего мѣста и несусь въ боковую комнату. Тамъ мечется съ папиросой въ зубахъ Боря Коршуновъ.

— Страшно?—спрашиваю не я, а кто-то внутри меня.

— Съ чего вы взяли?—пожимаетъ онъ плечами.

Но я чувствую, какъ фальшиво звучатъ его слова, хотя ему, въ сущности, нечего бояться: онъ не можетъ «провалиться», онъ—несомнѣнный талантъ, немного истеричный и своеобразно-странный, но, тѣмъ не менѣе, крупный, если судить по его читкѣ стиховъ.

Какъ два раненые звѣря въ клѣткѣ, мечемся мы навстрѣчу другъ другу изъ одного конца комнаты въ другой, сталкиваемся, смотримъ другъ на друга разбѣгающимися глазами и снова бѣгаемъ взадъ и впередъ. Не помню, сколько времени проходитъ въ этомъ состояніи, но меня неожиданно огорашиваетъ собственное мое имя, произнесенное гдѣ-то за глухой стѣной. И взволнованная, едва не сбивъ съ ногъ моего коллегу, несусь на сцену, съ оторопѣлымъ видомъ и нелѣпыми движеніями.

Вотъ оно—жуткое мгновеніе!

«Какъ хороши, какъ свѣжи были розы»—звенитъ, дрожа и трепеща, мой и даже не мой какъ будто, а чей-то чужой голосъ. Говорю прекрасныя слова тургеневскаго стихотворенія въ прозѣ, а сердце такъ и пляшетъ, такъ и скачетъ въ груди.

Кончено. Начинаю стихи. Окрѣпъ, слава Богу, голосъ. Прояснѣлъ разсудокъ.

Точка. Стопъ. Иду на мѣсто, а въ сердцѣ снова вопль и тревога.

— Провалилась! Позоръ! Завтра пришлютъ бумагу: пожалуйте вонъ изъ школы..

* * *

Экзаменъ окончился къ четыремъ часамъ. Опять, какъ и тогда, длинное совѣщаніе конференціи и появленіе «маэстро» среди насъ.

— Ну, спасибо, братики, разодолжили. Поддержали старика. Молодцы ребята. Успѣхъ несомнѣнный.

Лицо его улыбается, глаза сіяютъ. Шутитъ онъ или нѣтъ?

— А.. выключили кого?—нахожу я, наконецъ, въ себѣ силы произнести слово и съ посинѣвшими губами и перекошеннымъ лицомъ подхожу ближе.

— Тебя за то, что чушь порешь,—самымъ серьезнымъ тономъ говоритъ нашъ дорогой учитель, въ то время какъ глаза его продолжаютъ изливать солнце и свѣтъ.

О, это драгоцѣнное «ты», которое срывается съ его устъ только въ рѣдкія минуты, когда онъ бываетъ особенно доволенъ нами! Это драгоцѣнное «ты»! Какъ пріятно было его услышать теперь!

Лили Тобергъ и Ксенія Шепталова плачутъ, обнявшись. За эти слезы счастья и волненія мы прощаемъ имъ сразу и ихъ «аристократизмъ», и нарядныя платья,

и собственную лошадь, которая ежедневно около четырехъ ждетъ Ксенію у школьнаго подъѣзда.

— Ну, не ревите же, милыя,—самымъ искреннимъ тономъ умоляетъ ихъ Бобъ, просовывая между ними свою черную голову.—Не ревите, а то я самъ зареву. Ей Богу же, вы славные ребята и всячески заслуживаете моего сочувствія,—неожиданно добавляетъ онъ и такъ крѣпко жметъ руки обѣимъ барышнямъ, что тѣ вскрикиваютъ отъ боли.

А Ѳедя Крымовъ шепчетъ въ это время Орловой:

— Спасибо вамъ, Санечка. Если бы не вы, провалиться мнѣ, какъ Богъ святъ съ позоромъ.

Онъ правъ, говоря это: если бы ни Саня, ежедневно занимавшаяся съ нимъ послѣдніе мѣсяцы, Господь вѣдаетъ, какъ сошли бы еще его экзамены.

* * *

Опять полное спокойствіе и тишина воцаряются въ школьномъ театрѣ. Теперь мы уже представляемъ собою зрителей-публику, а не несчастныхъ испытуемыхъ созданій.

Теперь экзаменуются двое новенькихъ—Султана Алыдашева и Владиміръ Карѣевъ.

Султана выбрала монологъ Жанны Д'Аркъ изъ «Орлеанской Дѣвы» и читаетъ его такъ, что мы не можемъ ничего разобрать: по-русски это или по-болгарски, не понять ни за какія блага міра.

Но это не смѣшно нисколько, несмотря на исковерканныя до неузнаваемости слова, несмотря на дикіе жесты чтицы. Лицо болгарки съ перваго же мгновенія преобразилось до неузнаваемости. Глаза ея засверкали, брови грозно сдвинулись, и могучій голосъ, голосъ, какимъ, вѣроятно, обладали древнія воительницы-амазонки, загудѣлъ подъ сводами театра.

— Ну и глоточка! Храни тя, Христосъ! Позавидовать можно!—испуганно прошепталъ Береговой.

— Но вѣдь это прекрасно, хотя и не совсѣмъ понятно,— перешептывались первокурсницы.

Въ концѣ своего монолога Султана разошлась до того, что топнула ногой о подмостки сцены.

Но и это охотно простилось ей.

И когда она, взволнованная, блѣдная до прозрачности, крикнула черезъ рампу: «Гдэ тутъ сходытъ внызъ, двэръ есты?» никто не засмѣялся, а Викторія Владимировна поспѣшила показать ей выходъ въ зрительный залъ.

Читка Карѣева послѣ нея показалась нѣсколько блѣдной и вялой, хотя въ немъ, въ этомъ юношѣ, были безспорные задатки дарованія.

— Коршуновъ, успокойся и почивай на лаврахъ,—зашипѣлъ на подобіе змѣи длинный Бобъ, наклонясь къ Борѣ.—Это во всякомъ случаѣ не гоній и твоей славы не затмитъ.

— Прошу безъ неумѣстныхъ шутокъ,—огрызнулся послѣдній, густо краснѣя.

Онъ вспыльчивъ, обидчивъ и деспотиченъ, этотъ Боря. Но ему многое прощается за его талантъ. Это любимецъ «маэстро»,—и въ будущемъ его ждетъ несомнѣнно блестящая карьера.

Давно уже мы не расходились изъ школы съ такимъ радостнымъ подъемомъ въ молодыхъ душахъ, какъ въ этотъ день. Ахъ, какъ хорошо! Хорошо, что выдержали экзаменъ, хорошо, что никого не изъяли изъ нашей, успѣвшей уже тѣсно сплотиться, курсовой семьи, хорошо, что скоро Рождество и съ нимъ двухнедѣльный отпускъ, что елками уже пахнетъ на улицѣ и что крѣпокъ и душистъ рождественскій морозъ.

Идемъ, по обыкновенію, гурьбою. На углу ждутъ щегольскія сани подъ медвѣжей полостью.

— Мадемуазель, вашъ Пегасъ поданъ. Благоволите садиться,—комически расшаркивается передъ Ксеніей Береговой и насмѣшливо задорно улыбается, предупредительно отстегивая полость.

Ксенія мгновенно останавливается.

— Зачѣмъ вы постоянно подшучиваете надо мной, Костя?—говоритъ она дрогнувшимъ голосомъ, и все ея миловидное личико итальянскаго мальчугана подергивается краской.

— Я рѣшила сегодня съ вами пройтись... Поѣзжай, Платонъ!—прибавляетъ она въ сторону кучера и машетъ крошечной ручкой, затянутой въ щегольскую перчатку.

— Вотъ это я понимаю! Это по-нашему!—внезапно

разражается Бобъ.—Ахъ, какъ, въ самомъ дѣлѣ, шикарно! Лорды и джентльмены, леди-миледи, чувствуете вы это? Вашу ручку, очаровательная Ксенія.

И онъ, съ видомъ настоящаго рыцаря, подставляетъ ей калачикомъ руку.

Ксенія смѣясь принимаетъ ее при общемъ одобреніи.

У Екатерининскаго сквера получаю неожиданно такой здоровый толчекъ въ спину, что если бы не поддержавшая меня во-время Ольга, я бы, безъ всякаго сомнѣнія, упала на землю. Передъ нами, какъ изъ-подъ земли, вырастаетъ высокая фигура болгарки.

— Скажы, пожалусти, гдэ тутъ яды есты?—гудитъ она на всю площадь.

— Яды?—переглядываясь между собою, недоумѣваемъ мы.

— Яды, собственно говоря, продаются въ аптекѣ,—соображаетъ, наконецъ, Боря Коршуновъ.—Но безъ рецепта врача ихъ не даютъ.

— Вамъ, вѣрно, лекарство надо?—дѣлаетъ догадку Ѳедя.

— Милая коллега, вы больны?—тревожно освѣдомляется всѣмъ сочувствующая Маруся.

— Яды, яды гдѣ есты?—вопитъ еще громче болгарка и, неожиданно наклонившись къ сугробу, хватаетъ горсточку снѣга и запихиваетъ его себѣ въ ротъ.—Вотъ яды, вотъ яды!—лепечетъ она, ударяя себя въ грудь по привычкѣ.

— Ѣсть она хочетъ!—вдругъ догадывается Береговой.—Эй, братушка, «Шуми, Марица» *), если вамъ ѣсть хочется, то надо идти въ кухмистерскую. Вотъ и мы туда идемъ.

— Нѣтъ,—вдругъ неожиданно звенитъ своимъ тонкимъ сопрано Ксенія,—не въ кухмистерскую, нѣтъ: ко мнѣ всѣ идемте. Я васъ угощу сегодня обѣдомъ. Вы разрѣшите, да?

— Великосвѣтская дѣвица, я соглашаюсь,—изрекъ первымъ Бобъ и отвѣсилъ низкій реверансъ.

— Послушайте, однако, откуда вы достанете столько провіанта на всю братію?—заинтересовалась я.

— Ахъ, только соглашайтесь, господа, обѣдъ будетъ. Разумѣется, и рѣчи не можетъ быть объ отказѣ.

Ксенія живетъ по княжески у своей богатой тетки. Роскошная квартира, чудная обстановка, изысканныя блюда за обѣдомъ, сама хозяйка, обаятельно любезная свѣтская женщина,—всего этого достаточно, чтобы всѣ мы чувствовали себя немного стѣсненно.

Когда подали артишоки, Бобъ долго смотрѣлъ на нихъ съ такимъ видомъ, точно передъ нимъ лежало морское чудище, и вдругъ съ рѣшительно заявилъ, къ всеобщему ужасу, что онъ подобнаго «фрукта» не рѣшится отвѣдать никогда въ жизни.

А Султана забавляла всѣхъ своей своеобразной болтовней.

*) Популярный болгарскій гимнъ.

Къ вечеру всѣ разошлись до того, что долго не хотѣли уходить.

— Вотъ поди-жъ ты,—рѣшилъ Береговой, когда мы опускались съ лѣстницы,—и между аристократическими семьями встрѣчаются премилыя...

— Госпожа Шепталова очень симпатичная особа,—такимъ неожиданно авторитетнымъ тономъ изрекъ Вася Рудольфъ, что мы такъ и покатились со смѣху.

Прощаясь, рѣшили сойтись у Ольги на третій день Рождества.

XI.

Сочельникъ. Я убираю елку въ первой комнатѣ, въ то время, какъ во второй мнѣ готовится сюрпризъ. Какой, я не знаю, но смутно догадываюсь о чемъ-то невыразимо сладкомъ и пріятномъ.

Елочка у меня самая скромненькая, и украсила я ее совсѣмъ маленькими дешевыми бездѣлушками. Но маленькому принцу, которому десять дней тому назадъ стукнулъ годъ, она, разумѣется, должна казаться роскошной. Отъ рыцаря Трумвиля подъ елкой лежитъ письмо и подарокъ—бѣлая, какъ снѣгъ, сибирская доха для принца и теплый бѣличій голубовато-сѣрый мѣховой жакетъ для меня. Тутъ же бѣленькая какъ пухъ дѣтская папаха и мои подношенія сынишкѣ: заводной зайчикъ на колесахъ, барабанъ, волчокъ. Сашѣ и Анютѣ по свертку шерстяной матеріи.

Когда загорятся елочные огни, придутъ Ольга, Маруся Коршунонъ и Рудольфъ. Можетъ быть, забѣжитъ Карѣевъ, нашъ общій любимецъ, со своей флейтой, на которой онъ играетъ мастерски, и Саня Орлова съ Береговымъ и Ѳедей, своими попутчиками на Островъ. Но это еще не навѣрное: въ Рождественскій сочельникъ всѣ предпочитаютъ сидѣть по домамъ..

Я заканчиваю украшеніе елки, зажигаю послѣднюю свѣчу и подхожу къ плотно замкнутой двери.

— Мой сюрпризъ готовъ, а твой, Саша?—кричу я срывающимся отъ остраго радостнаго предчувствія голосомъ.

— Сейчасъ, сейчасъ. Вотъ и мы.

Широко распахивается смежная дверь, и на порогѣ ея я вижу моего маленькаго принца, самостоятельно стоящаго безъ посторонней помощи на его еще не совсѣмъ окрѣпшихъ дѣтскихъ ноженкахъ.

— Ахъ!—всплескивая ручками, не то вздыхаетъ, не то захлебывается восторгомъ мое сокровище и дѣлаетъ первый, второй и третій шаги по направленію къ елкѣ. Затѣмъ, поднявъ ручонку, лепечетъ, указывая на огни:

— Ма-ма-ма-ма!

Да, это сюрпризъ! Самый радостный, самый, пріятный!

Я подхватываю мое дитя на руки и подношу къ елкѣ, осыпая поцѣлуями.

Его восторгаетъ все: и огоньки, и бѣлый зайчикъ, и барабанъ.

Отдаю ему всѣ подарки; зову Анюту и Сашу, даю и имъ. Обѣ довольны, обѣ сіяютъ, хотя подарки такіе пустячные, что ихъ стыдно и дарить.

— Гости будутъ? — таинственно освѣдомляется Анюта.—А что же подадимъ къ чаю?

— Пустяки. Что-нибудь. Колбасу, булки, какъ всегда.

— Деньги пожалуйте.

— Ахъ, да! Деньги!

Эти ужасныя деньги, которыхъ у меня такъ мало и которыя способны отравить все мое существованіе! Послѣдніе дни былъ расходъ, огромный для нашего скромнаго бюджета. Надо было купить подарки, сдѣлать елку, пріобрѣсти традиціоннаго праздничнаго гуся, а главное, раздать на чаи дворникамъ, швейцару въ школѣ, почтальонамъ, трубочисту...

— Денегъ нѣтъ,—говорю я мрачно.

— Тогда позвать татарина, какъ давеча?—предлагаетъ Анюта.

— Татары подъ праздникъ сюда не придутъ.

— Тогда, можетъ быть, ты, Саша, выручишь...— нерѣшительно заикается Анюта.

— Тсс...—слышу я отчаянный шопотъ за моей спиной, оглядываюсь и вижу какіе-то кабаллистическіе знаки со стороны Саши.

Анюта пожимаетъ плечами.

— А по мнѣ скрывай, коли охота есть, все одно узнается когда-нибудь.

— А еще божилась, что никто не узнаетъ! Куда какъ хорошо!—возмущается Саша, и все ея милое съ мелкимъ бисеромъ веснушекъ лицо отчаянно краснѣетъ.

— Чего я не должна узнать? Чего я не должна узнать? Да говорите же, ради Бога!—кричу я и, предоставивъ сынишкѣ одному заниматься зайчикомъ и барабаномъ, хватаю за руку Сашу и увлекаю ее въ дѣтскую.

Какое-то темное предчувствіе угнетаетъ меня.

— Саша, — говорю я. — Покажи мнѣ твой сундукъ, покажи, ради Бога.

— И не подумаю. Съ какой радости,—ворчитъ она.

Я знаю, что въ углу сундука у Саши имѣется деревянный слонъ-копилка, въ которой хранятся ея сбереженія: всего-на-всего 67 рублей двадцать пять копеекъ. А рядомъ «министерство финансовъ», то есть наша общая касса, въ которую въ началѣ мѣсяца мы кладемъ получаемыя мною деньги и понемногу расходуемъ ихъ на хозяйственныя нужды.

Саша съ воркотнею открываетъ сундукъ.

— Ну, еще чего. . Сказано, не твое дѣло... Видано ли, слыхано ли, чтобы рыться по чужимъ вещамъ?

Я вся уже дрожу отъ нетерпѣнія. Предчувствія оправдываются, послѣднія сомнѣнія колеблются и исчезаютъ.

Бросаюсь открывать кассу—она пуста. Раскрываю слона—тамъ на днѣ его лежитъ одна тщательно сложенная десятирублевка.

— Саша!—кричу я въ отчаяніи.—Саша, ты истратила на насъ всѣ твои деньги! Какой ужасъ! Какой ужасъ! И я этого не знала, Саша!

Она смотритъ на меня съ минуту замутившимися отъ смущенія глазами и, вдругъ сердито махнувъ рукой, опускается на край постели и начинаетъ съ плачемъ причитывать во весь голосъ.

— Да что ты взялась душу мою вымотать христіанскую, что ли! Да что это, въ самомъ дѣлѣ, за разбой среди бѣла дня! Да что ты лѣзешь ко мнѣ, скажи на милость! Ну, истратила! Ну, истратила. Не на тебя, барынька-сударынька, госпожа гордая, а на сестру свою, на дитятко ея тратила, на молочнаго сынка своего. Эка невидаль, сдѣлай милость! Я тебѣ все одно, что сестра родная, ты меня не какъ прислугу, мужичку лядащую, какъ сестру почитаешь, а мнѣ не дозволено потратить какихъ-то рублевъ злосчастныхъ на васъ. Да что я вамъ чужая, что ли? Или стыдно тебѣ, гордость тебя обуяла, что простая мужичка, крестьянка московская, на тебя, барыню-сударыню ученую, свои гроши смѣетъ расточать? А?..

И уже новымъ, злымъ взглядомъ глядятъ на меня заплаканные глаза Саши.

— Молчи, Саша! Ради Бога, молчи!

Я бросаюсь къ ней на шею, и мы обнимаемся и плачемъ.

Въ дверяхъ появляется крошечная фигурка и при

видѣ этого ревущаго дуэта прикладываетъ пальчикъ къ губамъ и тоже заливается звонкимъ плачемъ.

— Недурное тріо, нечего сказать! И если встрѣчать Рождество Христово такимъ концертомъ, то ужъ лучше бы предупреждали добрыхъ людей не приходить.

И длинный Бобъ, на ходу сбрасывая свою вѣтромъ подбитую шинельку, потирая холодныя руки, идетъ къ намъ.

Саша вскакиваетъ со своего мѣста. Слезъ какъ не бывало.

— Да ты рехнулся, батюшка!—кричитъ она запальчиво.—Съ морозу прямо въ комнату лѣзешь, ребенка застудишь. Ишь пару сколько напустилъ.

— Да, да, отойдите, Денисовъ, — подтверждаю и я.

— Слушаюсь, миледи,—съ комическимъ видомъ расшаркивается онъ.

Черная головка Ольги, широкоплечая фигура Володи Карѣева выглядываютъ изъ прихожей.

— А Маруся? Она тоже обѣщала,—недоумѣваю я, не видя смѣющагося лица, всегда жизнерадостной русой головки.

— Они съ Борисомъ Коршуновымъ, съ Костей и Федей къ Орловымъ махнули. А мы, какъ видите, миледи, вѣрны вамъ,—съ новымъ, изысканнымъ поклономъ рапортуетъ Бобъ.

Послѣ таинственнаго совѣщанія между Сашей и Анютой, появляются колбаса, пряники и булки.

За столомъ я не выдерживаю и разсказываю моимъ друзьямъ «о подвигахъ» Саши.

Маленькій принцъ уже спитъ, но Саша бодрствуетъ въ дѣтской. И Бобъ Денисовъ предлагаетъ «чествовать» ее.

На мгновенье его длинная на журавлиныхъ ногахъ фигура исчезаетъ за дверьми дѣтской и появляется снова подъ руку съ Сашей, красной какъ піонъ.

— Да ну тя, оглашенный! Юреньку разбудишь!— отбивается она всячески отъ своего навязчиваго кавалера.

Но тотъ, не слушая ея, подводитъ свою «даму» къ столу, сажаетъ ее на почетное мѣсто и, опускаясь на низенькую скамеечку у ея ногъ, начинаетъ:

— Лорды и джентльмены! (хотя джентльменъ, кромѣ самого оратора, всего только одинъ, въ лицѣ Володи Карѣева). И вы, миледи! Сія юная дочь народа выказала примѣръ исключительнаго самопожертвованія и великодушія, и за это я позволяю себѣ поднять сей сосудъ съ китайскимъ нектаромъ,—онъ поднялъ стаканъ съ чаемъ,—и осушить его за ея здоровье и облобызать ея благородную руку. Миледи,—обратился онъ къ Сашѣ, ни слова не понявшей изъ его рѣчи,—разрѣшите облобызать вашу руку въ знакъ моего глубокаго уваженія къ вамъ.

— Что-то онъ тамъ лопочетъ? Я никакъ въ толкъ не возьму!—хлопая глазами, удивляется та.

— Онъ проситъ поцѣловать твою руку,—пояснила я ей самымъ серьезнымъ образомъ.

— Руку! Да что я попъ, что ли!?—Ея глаза раскрываются еще шире.—Ахъ, ты, озорникъ, озорникъ этакій! У попа да у отца съ матерью руки цѣлуй,—наставительно обратилась она къ Бобу,—а другимъ не моги. Слыхалъ?

— Слыхалъ,—покорно соглашается Бобъ.

— А тапереча нечево мнѣ прохлаждаться съ вами. Къ Анютѣ пойду, посуду ей пособлять убрать. А вы, слышьте, не шумите больно. Юреньку разбудите. Тогда берегись.

И она исчезаетъ, погрозивъ намъ на прощанье пальцемъ.

Какъ тихо и нѣжно поетъ флейта въ рукахъ Володи при догорающемъ свѣтѣ елочныхъ свѣчей! Какая дивная, душу успокаивающая мелодія! Такая же тихая, дивная и простая, какъ поступокъ Саши, какъ ея чудная большая душа...

Подъ эти звуки въ моей собственной душѣ слагается неожиданное рѣшеніе работать, не покладая рукъ. Я попробую переводить съ французскаго и нѣмецкаго и буду помѣщать мелкіе переводные разсказы въ журналахъ. Такимъ образомъ, я скоро выплачу Сашѣ истраченную ею на насъ такую крупную въ моихъ глазахъ сумму и увеличу хоть отчасти мой скромный доходъ.

Дѣлюсь этой мыслью съ моими друзьями. Ура! Они одобряютъ ее.

И опять тихіе, кроткіе, какъ пастушья свирѣль далекаго альпійскаго рая, звуки наполняютъ собой мою крошечную квартиру и вселяютъ въ мою душу новыя смѣлыя мечты

* * *

У моихъ родныхъ въ Царскомъ Селѣ, куда я попадаю на другой день, огромная, подъ потолокъ, елка и ликующая толпа дѣтей. По обыкновенію у нихъ званый рождественскій вечеръ съ массой нарядныхъ взрослыхъ и ребятъ.

Меня подводятъ къ какимъ-то сѣдымъ въ шуршащихъ шелкахъ дамамъ и важнымъ господамъ въ пенснэ и безъ пенснэ, въ очкахъ и безъ очковъ. За мною ходятъ по пятамъ мои братья: Павликъ и Саша, мальчики восьми и десяти лѣтъ, сестра Нина и крошка Наташа.

Я окунаюсь въ совершенно новую жизнь. Здѣсь не говорятъ о лекціяхъ, о театральномъ училищѣ, о практическихъ занятіяхъ и о сценѣ. Здѣсь иной міръ, далекій отъ борьбы, смѣлыхъ дерзновеній и горячей юношеской мечты. И интересы здѣсь другіе. Совсѣмъ другіе. И только милые, полные тревоги и любви глаза моего «Солнышка», какъ я называю моего отца, и мамы-Нэлли, моей любимой мамы, обращаются ко мнѣ много разъ въ продолженіе вечера и словно спрашиваютъ меня:

— Ну, что же, довольна ты своей судьбой, неспо-

койное, смѣлое, вѣчно ищущее борьбы и бури дитя?..

Изъ шумнаго зала, гдѣ веселье, дѣтскій смѣхъ и рѣзвый ребяческій топотъ смѣшались съ принужденной свѣтской болтовней гостей и звуками рояля, проскальзываю въ маленькую комнату, находящуюся позади дѣтской. Это настоящая келья монахини. Образа съ теплющимися передъ ними лампадами озаряютъ скромную узкую кровать, столъ и комодъ, уставленный видами всевозможныхъ монастырей и церквей.

Худенькая съ желтымъ некрасивымъ лицомъ дѣвушка поднимается мнѣ навстрѣчу.

— Лидочка! Наконецъ-то! Я знала, что ты зайдешь.

— Варя! Милая, здравствуй!—и я бросаюсь къ ней на шею.

Это—Варя, воспитательница моихъ братьевъ и сестеръ и мой давнишній другъ *). Съ нѣкоторыхъ поръ она стала очень странной, эта Варя. Бредитъ поступленіемъ въ монастырь, горитъ желаніемъ стать монахиней.

У дѣтей теперь веселая швейцарка Эльза, которая сумѣла ихъ привязать къ себѣ. Варя же все свободное время просиживаетъ у себя въ келейкѣ, какъ сама называетъ свою комнату, молится, читаетъ священныя книги и плачетъ. И всѣ оставили ее въ покоѣ и не мѣшаютъ ей.

*) См. повѣсть «На всю жизнь».

— Ну, какъ дѣла, Варя?—освѣдомляюсь я.

Она смотритъ на меня проницательными и несовсѣмъ довольными глазами.

— А ты все крутишься. Все тѣшишь сатану. Бѣсовскія дѣйства изображаешь въ своемъ театрѣ. Прельщаешься мишурою, суетою. Куда какъ хорошо. Небось, какъ рыба въ водѣ плаваешь. У, недостойная! Уйди ты отъ меня! Знать тебя не хочу! Уйду въ обитель, за ваши грѣхи молиться буду... Отмолю, отмолю, отмолю!

Она съ остервенѣніемъ начинаетъ класть земные поклоны и твердитъ одно и то же, одно и то же по сто разъ подъ рядъ. И глаза ея лихорадочно сверкаютъ въ полутьмѣ комнаты, и губы кривятся на блѣдно-желтомъ лицѣ.

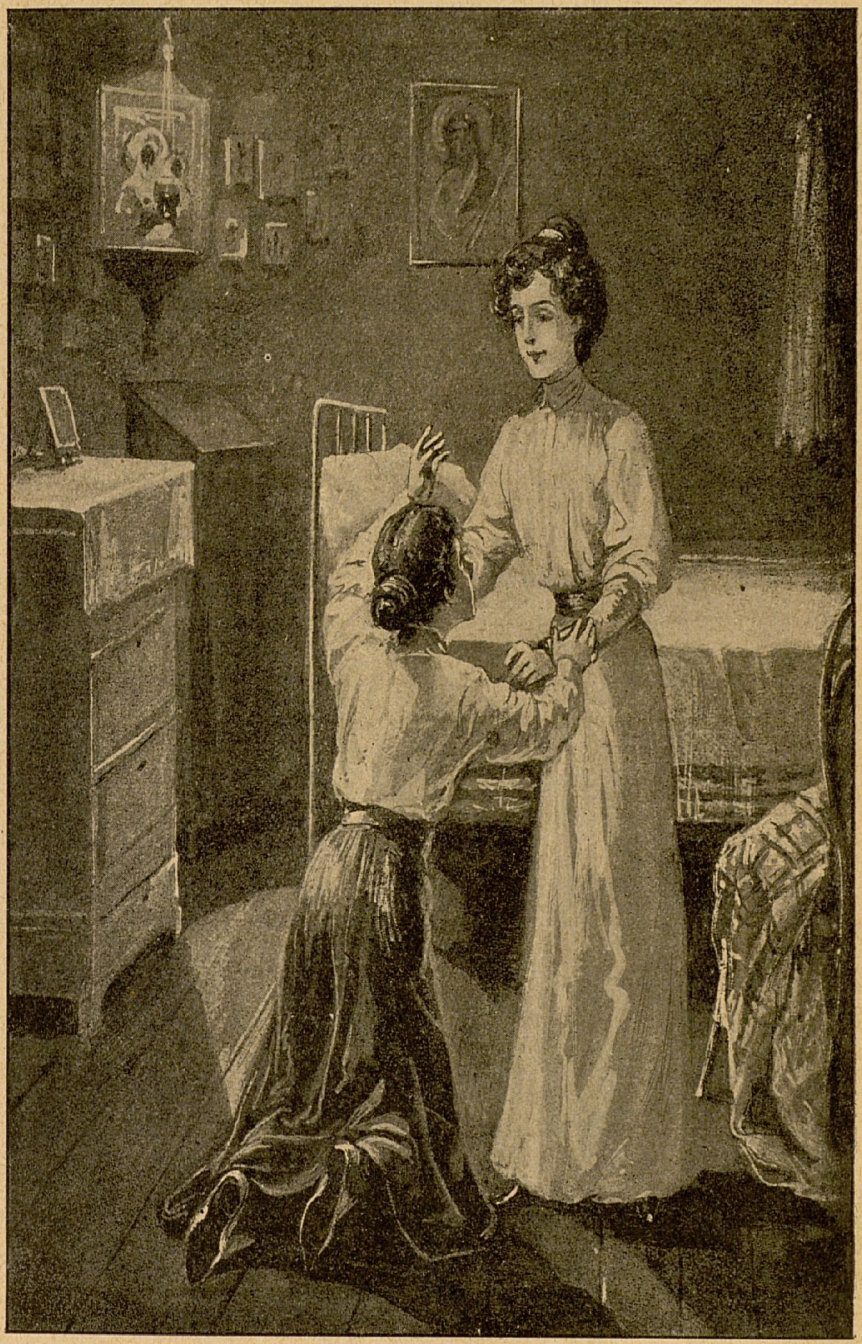
Мнѣ становится жутко. Кажется, что имѣешь дѣло съ сумасшедшей, тянетъ уйти, но я пересиливаю въ себѣ это чувство.

— Полно, Варя,—говорю я, кладя ей руку на плечо.—Перестань такъ узко и односторонне смотрѣть на людей: каждому свое дорого. Ты чувствуешь призваніе къ монастырю, меня влечетъ къ искусству. И не будемъ мѣшать другъ другу.

— Мѣшать?

Она кривитъ судорожно губы.

— Нѣтъ, я буду мѣшать тому, что считаю неправымъ... Тебя ждутъ разочарованіе и борьба, меня—



— Идемъ со мною! Идемъ со мною!..

тихая пристань. Пойдемъ со мною, Лидочка, возьми сына и пойдемъ. Я ручаюсь, что никакія невзгоды, никакія печали не коснутся тебя за прочными дверьми монастыря. Я укрою тебя отъ нихъ, родная!

При этихъ словахъ она быстро поднимается съ колѣнъ, бросается ко мнѣ и крѣпко-крѣпко обхватываетъ тѣснымъ объятіемъ мою шею.

— Идемъ со мною! Идемъ со мною!—твердитъ она въ какомъ-то забытьѣ, и глаза у нея жутко закатываются при этомъ.

Тяжелое, гнетущее впечатлѣніе. Я чувствую, что только усиліемъ воли смогу привести ее въ себя.

— Перестань, Варя,—говорю я строго.—Это уже не религіозность и не набожность, а какой-то суровый фанатизмъ. Оставь мою шею, ты меня задушишь. Я люблю Бога и исповѣдую Его не менѣе тебя, но въ монастырь я не пойду.

— Не пойдешь!—взвизгиваетъ она у самаго моего уха и такъ крѣпко сжимаетъ меня снова, что у меня мутится въ глазахъ, потомъ бросается на стулъ и рыдаетъ.

— Заблудшія овцы! Заблудшія овцы!—всхлипывая, повторяетъ она.

Тутъ входятъ Эльза и дѣти.

Любимецъ Вари, братъ Саша, со всѣхъ ногъ бросается къ ней.

— Не плачь, Варенька, не плачь!—шепчетъ онъ, самъ готовый разревѣться.

— Кто скорѣе въ залу? Ну, разъ, два три! Наперегонки,—предлагаю я, чтобы отвлечь вниманіе дѣтей отъ печальной картины, и мчусь туда первая, какъ на крыльяхъ.

Они за мною.

Эльза, поровнявшись со мною, шепчетъ:

— О, madame Lydie, не волнуйтесь, она уже давно такъ. Мы всѣ привыкли. Скоро она уѣзжаетъ въ монастырь.

Скоро! Прощай же, прощай, бѣдная милая, никому непонятная Варя! И да сойдетъ на твою скорбную душу высшій и прекрасный священный покой...

XII.

Какія огромныя грандіозныя залы! Какъ блестятъ даже въ наступившихъ сумеркахъ ярко натертые янтарные квадратики паркета. Какое подавляющее величіе кругомъ!

Мы столпились кучкой и всѣ тринадцать человѣкъ кажемся такими незначительными и ничтожными въ этихъ огромныхъ помѣщеніяхъ стариннаго дворца, наполовину передѣланнаго Смольнаго дома. Чай мы пили въ большой и уютной комнатѣ, гдѣ живетъ Ольга со своей тетушкой, вдовой убитаго на войнѣ офицера.

Тетушка предупредительно исчезла къ кому-то изъ сосѣднихъ старушекъ, предоставивъ намъ шумѣть и дебоширить въ ея комнатѣ, сколько хотимъ. Но мы

предпочли наскоро выпить чай и пойти осматривать эти безконечные залы и коридоры.

Вотъ длинная широкая бѣлая зала. Здѣсь, должно быть, были когда-то пріемы. И огромная свита во главѣ съ самой императрицей въ величавомъ гросфатерѣ *) проходила по этимъ самымъ доскамъ, гдѣ проходимъ мы. Въ сгустившихся сумеркахъ зимняго вечера тускло поблескиваютъ золоченыя рамы огромныхъ портретовъ. Все цари и царицы. Всѣ словно смотрятъ на насъ, исполненные недоумѣнья, откуда пришла эта веселая, жизнерадостная группа молодыхъ людей и дѣвушекъ въ этотъ тихій, молчаливый пріютъ.

— Я положительно уничтоженъ,—шепчетъ Костя Береговой.—Олечка, неужели же вашу музу не вдохновляетъ ужъ одна эта грандіозно-прекрасная зала?

Оля вспыхиваетъ отъ смущенія. Костя затронулъ ея «струну». Ольга пишетъ красивые звучные стихи о темныхъ ночахъ Востока, о бѣлыхъ лотосахъ и соловьяхъ.

— Можетъ быть, и опишу все это когда-нибудь,— признается она смущенно.

Бобъ вынимаетъ папироску и хочетъ закурить.

— Брось!—неожиданно свирѣпѣетъ Коршуновъ,— здѣсь, въ этихъ залахъ, цѣлый міръ прошлаго, а ты— курить!

---

*) Старинный танецъ, заимствованный у нѣмцевъ.

— Да вѣдь никто не видитъ,—оправдывается Бобъ.

Но онъ ошибается. Съ одной изъ скамеекъ неожиданно поднимается темная, невидимая намъ до сихъ поръ фигура и идетъ прямо на насъ.

— Ай!—взвизгиваетъ Маруся. А Лили и Ксенія нервно хватаютъ за руки другъ друга.

— Тише! Тише! Умоляю васъ. Это—графиня Кора. Она живетъ здѣсь давно-давно, и никто не слышалъ отъ нея ни слова. Съ тѣхъ поръ, какъ умеръ графъ и она здѣсь поселилась, графиня ни съ кѣмъ не разговариваетъ и молча бродитъ по этимъ заламъ. Многіе считаютъ ее безумною, но она въ полномъ разсудкѣ и пишетъ чудесные французскіе стихи,—быстрымъ шопотомъ поясняетъ Ольга и опускается передъ проходящей мимо насъ женщиной въ низкомъ почтительномъ реверансѣ, произнося почтительно:

— Bonsoir, princesse!

Легкій кивокъ совершенно бѣлой головы подъ черной кружевной наколкой, и величаво проплыла къ дверямъ и исчезла за ними высокая стройная фигура.

Мы успѣли только разглядѣть стариннаго покроя платье съ длиннымъ шлейфомъ, волочившимся въ видѣ широкой шелестящей змѣи, тонкое аристократическое сухое лицо безъ единой морщины и цѣлый океанъ невыраженной слезами печали въ глубинѣ строгихъ синихъ глазъ.

— Какая красота! Страшная красота горя!—зады-

хаясь, шепнула Саня.—Нѣтъ, господа, ничего подобнаго мы не увидимъ никогда!

— Графъ умеръ, спасая отъ землетрясенія жителей какого-то италіанскаго мѣстечка,—пояснила все тѣмъ же шопотомъ Ольга, хотя графини уже не было около насъ.

— Но она русская?

— Вполнѣ русская, совсѣмъ.

— Господа!—неожиданно изрекъ Ѳедя Крымовъ,—не находите ли вы, что насъ, маленькихъ смертныхъ, гнетутъ эти залы, это величіе и эта нѣмая графиня, похожая на призракъ. По крайней мѣрѣ, я чувствую себя не совсѣмъ въ своей тарелкѣ. Ѣдемъ, право. Тройки заждались.

— Стойте, я хочу стихи говырять,—прогремѣла на всю залу до сихъ поръ молчавшая Султана.

— Стойте, дѣти! Почтенная Болгарія желаетъ говырять стихи!—вторилъ ей Бобъ и, поднявъ обѣ руки надъ головою, приготовился дирижировать.

— Только потише, Султаночка. У васъ, душа моя, не голосъ, а труба іерихонская,—предупредилъ Костя.

Увы! Запоздалое предупрежденіе. Султана уже стала въ позу и загудѣла на всю залу... И эхо изъ другихъ залъ, сводчатыхъ и пустынныхъ, понеслось, перекликаясь, за нею:

Клынусь я пэрвымъ дня творэньи,
Клынусь его послѣдны денъ.
Клынусь...

— Ради Бога, тише! Ради Бога!—зашептали мы испуганно и замахали на нее руками.

Это было, въ сущности говоря, слишкомъ поздно: изо всѣхъ дверей сосѣдняго съ залой коридора высунулись старушечьи головы въ чепцахъ и безъ чепцовъ. И ужасъ, краснорѣчивый ужасъ, былъ написанъ на всѣхъ этихъ почтенныхъ лицахъ!

Наконецъ, самая энергичная изъ обитательницъ вдовьей половины высунулась до половины изъ своей двери и произнесла по нашему адресу недовольнымъ голосомъ:

— Если вы не замолчите и не перестанете шумѣть, сейчасъ посылаю за начальницей, чтобы она васъ удалила.

Вотъ и дождались!

Мы моментально приходимъ въ себя отъ этого нелестнаго для насъ предостереженія. Мужчины шаркаютъ ногами, какъ пай-мальчики; мы низко присѣдаемъ.

Но это не помогаетъ.

— Спасайся, кто можетъ!—неожиданно кричитъ Ѳедя и первый ударяется въ бѣгство.

Мы всѣ за нимъ. Едва сдерживая неудержимый, бѣшенный приступъ хохота, наступая на ноги другъ другу, толкаясь и спотыкаясь,—летимъ. Бурей врываемся въ комнату Ольгиной тетки, одѣваемся второпяхъ и мчимся изъ Вдовьяго дома, какъ на крыльяхъ, туда внизъ, гдѣ насъ ждутъ нетерпѣливыя лошадки тройки, веселые ямщики и крѣпкій декабрьскій морозъ...

* * *

Какъ хороша, какъ удивительно пріятна быстрая ѣзда подъ веселые заливчатые звуки серебристыхъ бубенчиковъ! Духъ захватываетъ и сердце бьется дѣтскимъ восторгомъ, когда, взрывая снѣжные хлопья, тройка быстрыхъ лошадей мчитъ насъ по залитой электричествомъ дорогѣ.

Въ нашихъ саняхъ сидятъ семеро: Ольга, Саня Орлова, я; на колѣняхъ у насъ—Султана, подпрыгивающая на каждомъ ухабѣ и испускающая громкій, испуганный визгъ при каждомъ толчкѣ; на передней скамейкѣ—Бобъ, Вася Рудольфъ, виновникъ-устроитель этой поѣздки, и Костя Береговой. Во второй тройкѣ—Маруся, хохочущая и щебечущая, какъ птичка, Ксенія въ удивительной бѣлой ротондѣ, въ которой черная головка итальянскаго мальчугана тонетъ, какъ муха въ молокѣ, Боря Коршуновъ, Ѳедя Крымовъ и Володя Карѣевъ.

Вторая тройка старается во что бы то ни стало обогнать насъ. Тамъ ямщикъ совсѣмъ молодой, задорный паренекъ. У насъ—степенный тульскій мужичокъ съ окладистой бородою.

— Не пропускай! Не пропускай!—кричу я, почуя въ груди бѣшеный приливъ какого-то необузданнаго дѣтскаго веселья.—Не позволяй имъ перегонять, Ефимъ!..

И Ефимъ словно преображается сразу. Куда исчезаетъ добродушный тульскій мужичокъ? Онъ гикаетъ, свищетъ, выкрикиваетъ:—«Эй, соколики, выручай!» такимъ громовымъ голосомъ, что Султана съ перепугу

валится прямо носомъ въ теплую шубу Рудольфа, въ то время, какъ лошади въ какомъ-то дикомъ азартѣ подхватываютъ быстрой рысью и несутъ насъ впередъ.

— Ай! Ай!—кричитъ не своимъ голосомъ Береговой.—Голову потерялъ! Верните мнѣ мою голову!

Дѣйствительно, шапка слетѣла съ его непокорныхъ остриженныхъ жесткимъ ежикомъ волосъ и катится по снѣгу.

— Господа лорды и джентльмены изъ второй тройки! Сто червонцевъ тому, кто принесетъ сюда голову Кости Берегового!—вытянувъ длинную шею, голосомъ волка изъ «Красной шапочки» кричитъ Денисовъ.

Великодушная Саня, пока останавливаются тройки и наши спутники бѣгутъ, перегоняя другъ друга за злополучной шапкой, отдаетъ Костѣ свою огромную муфту.

— Покройтесь пока, а то простудитесь.

Костя принимаетъ муфту какъ должную дань и нахлобучиваетъ себѣ на маковку съ самымъ энергичнымъ видомъ. Его крошечная голова сразу уходитъ, проваливается въ отверстіе огромной старинной прабабушкиной муфты, и, благодаря этому кажется, что у маленькаго юноши выросла, вмѣсто лица, какая-то огромная мѣховая боярская шапка.

— Какъ и всегда безличенъ,—остритъ по его адресу неугомонный Бобъ.

— Константинъ, нашелъ твою голову, получай,—появляясь около нашихъ саней, говоритъ Коршуновъ.—

Третья часть находки по закону моя. А впрочемъ, я великодушно отказываюсь отъ награды. Ну, медамъ, куда теперь? На Острова? Да?—обращаясь къ намъ, спрашиваетъ Боря.

— Да! Да!—отвѣчаемъ мы хоромъ.—Тамъ теперь чудо, какъ хорошо!

И опять заливаются серебряные бубенцы. Морозъ безжалостно пощипываетъ насъ за носы, щеки и уши. Бѣшенъ быстрый бѣгъ коней. Дивно хорошо сейчасъ на Островахъ, въ эту звѣздную декабрьскую ночь. Бѣлыя деревья, запушенныя инеемъ, снѣжно-бѣлая какъ скатерть дорога. А надъ головами—небо, испещренное сверкающимъ золотымъ сіяніемъ опаловыхъ огней.

У самаго взморья, на Стрѣлкѣ, какъ называютъ это мѣсто петербуржцы, мы выходимъ изъ саней, чтобы отогрѣться и промять закоченѣвшія ноги. Здѣсь, въ таинственной чащѣ бѣлыхъ деревьевъ, неожиданно красивымъ пятномъ выступаютъ электрическіе огни.

— «Я вижу Толедо, я вижу Мадридъ»,—пробуетъ декламировать Бобъ, простирая руки къ взморью, которое кажется отсюда какой-то зачарованной, таинственной бѣлой пустыней подъ бѣлыми льдами.

Султана Аладышева, не видѣвшая ничего подобнаго у себя въ Болгаріи, млѣетъ, отъ восторга. Она то хватаетъ насъ за руки, лепеча: «Какъ эты, дэтя мои, хороша!», то, ударяя себя въ грудь, начинаетъ гудѣть

своимъ низкимъ, какъ у мужчины, голосомъ на всю Стрѣлку.

«Зыма. Крыстьянынъ, торжествуя,
На дрогихъ обнывляетъ путъ...»

— Давайте лучше въ горѣлки играть. Ноги мерзнутъ стоять на мѣстѣ,—предлагаетъ Коршуновъ.

— Давайте! Давайте!

Быстро становятся пары. Оля съ Володей, я съ Бобомъ, Ксенія съ Костей, Лили съ Ѳедей, Саня съ Васей Рудольфъ. Султанѣ предлагаютъ «горѣть».

— Горы-горы ясно, чтобы не погасло...—кричитъ она зычнымъ голосомъ, приводя этимъ въ неописуемый восторгъ обоихъ ямщиковъ.

— Ай да барышня! Глотка у ней почище нашего брата, мужика тульскаго, буде!—умиляется Ефимъ.

— Чего ужъ! Протодьякону въ соборѣ такого не дадено!—вторитъ ему его молодой товарищъ.

— Разъ! Два! Три!—отсчитываетъ Бобъ, и мы пускаемся со всѣхъ ногъ по широкой утоптанной снѣжной дорожкѣ.

Бобу, съ его журавлиными ногами, и мнѣ, привыкшей съ самаго ранняго дѣтства носиться стрѣлою по лѣснымъ тропинкамъ, ничего не стоитъ уйти отъ Султаны. Но зазѣвавшійся Володя попадаетъ со своей дамой впросакъ. Султана хватаетъ его за руку и торжественно ведетъ, какъ плѣнника, на свое мѣсто.

Бѣжитъ слѣдующая пара: Ксенія и Ѳедя. Бѣгутъ, какъ стрѣла, стремительно и быстро.

Володѣ не догнать ни того, ни другого. И вдругъ—стопъ—остановка...

— Я потерялъ калошу!—неожиданно кричитъ Крымовъ такимъ печальнымъ голосомъ, что Маруся отъ смѣха буквально валится въ сугробъ.

— Одну или двѣ?—освѣдомляется Бобъ дѣловымъ тономъ.

— Одну!—взываетъ плачущій голосъ.

— Лорды и джентльмены, этотъ несчастный потерялъ одну калошу. Благоволите ее сыскать,—гремитъ басъ Боба по всему парку.

Всѣ ищутъ съ особымъ рвеніемъ калошу Ѳеди. Послѣдній не принимаетъ участія въ поискахъ. Онъ сидитъ на скамейкѣ, поднявъ одну ногу и болтая другой, и плачущимъ голосомъ ноетъ, что у него «протекція» въ подметкѣ и что онъ скорѣе позволитъ изжарить себя и съѣсть, какъ котлету, нежели сойдетъ съ мѣста.

Зоркіе глаза Султаны скорѣе другихъ находятъ искомое.

— Уррра!—кричитъ она.—Нашелъ, нашелъ твоя сапога, нашелъ, товарыщъ!—И, двумя пальцами приподнявъ калошу съ земли, она несетъ ее Ѳедѣ.

— Вы—великодушнѣйшая изъ дочерей славянскаго племени!—церемонно раскланиваясь передъ ней и все

еще стоя, какъ цапля, на одной ногѣ, высокопарно изрекаетъ Ѳедя.

Становится слишкомъ холодно въ паркѣ. Наши спутники, кромѣ Бори Коршунова и Рудольфа, одѣты очень легко. Да и Султана въ ея, какъ говорится, подбитой вѣтромъ кофточкѣ стынетъ.

— Пора и честь знать! По домамъ!—командуетъ Саня, самая серьезная изъ насъ всѣхъ.

И мы опять суетливо, со смѣхомъ и визгомъ, размѣщаемся на тройкѣ.

Снова мчимся стрѣлою... Снова звенятъ-заливаются бубенцы. Снова то и дѣло вырываются веселые всплески смѣха...

Наша тройка перегоняетъ первую. Бобъ Денисовъ быстро, изловчившись, запускаетъ заранѣе приготовленнымъ комомъ снѣга въ Ѳедю.

Визгъ, шумъ, хохотъ и писк.

Но вотъ остановка. Бѣшеная игра въ снѣжки довершаетъ прогулку.

— «Шуми, Марыца окровавленна...»—затягиваетъ свою національную пѣсню Султана, когда мы, утомленные хохотомъ и вознею, пускаемся въ путь.

Потомъ Бобъ Денисовъ копируетъ знаменитаго комика образцовой сцены, заставляя насъ задыхаться отъ смѣха. А Костя представляетъ нервную барыню, боящуюся мышей и таракановъ.

Теперь я, вмѣсто Султаны, сижу на колѣняхъ у

Сани и Ольги и не могу не чувствовать неудобствъ пути. Толчокъ на ухабѣ, и я припадаю къ чьимъ-то калошамъ съ самымъ родственнымъ объятіемъ.

— Гдѣ вы, Лидочка? Ау!—заинтересовывается Бобъ, и въ то время, какъ отъ смѣха я не могу произнести ни слова, онъ ищетъ меня въ противоположномъ углу тройки...

Въ эту ночь я грежу дѣтскими радостными снами: веселыми бубенцами, быстрымъ бѣгомъ коней, бѣлой скатертью дороги. И надъ всѣмъ этимъ, какъ странное, красиво-таинственное видѣніе, витаетъ легкимъ призракомъ плѣнительный этой именно своей тайной образъ молчаливой графини Коры...

XIII.

Все второе полугодіе мы занимаемся на курсахъ особенно прилежно. Въ апрѣлѣ и маѣ у насъ экзамены по научнымъ предметамъ и искусствамъ и переходное на второй курсъ испытаніе уже по нашей спеціальности.

Въ классѣ «маэстро» мы проходимъ задачи на всевозможныя ощущенія: психологическія задачи на выраженіе гнѣва, радости, ярости, стыда, болѣзни, мольбы и приказанія. Это очень ново, трудно, но интересно. Выдумываемъ сами небольшія сценки, изображающія наглядно то или другое движеніе души, и разыгрываемъ ихъ передъ «маэстро».

Учимся также сценически вѣрно воспроизводить

плачъ, хохотъ, рыданье. Марусѣ Алсуфьевой особенно удается второе. Ея смѣхъ звенитъ, какъ серебряный бубенчикъ, и хоть мертваго способенъ поднять изъ могилы. У Бориса Коршунова такъ дивно выходятъ потрясающія сцены отчаянія, что вчужѣ становится жутко смотрѣть на него.

Это будетъ большой актеръ, недюжинный, своеобразный, блещущій талантомъ, въ чемъ никто не можетъ усомниться, ни мои коллеги, ни самъ «маэстро», съ особенно-заботливой готовностью занимающійся съ юношей.

И по научнымъ лекціямъ мы подвинулись впередъ. Наши преподаватели довольны нами. Даже французъ Гюи. Несмотря на то, что наши «мальчики» умѣютъ говорить по-французски не болѣе извозчиковъ россійскихъ, Гюи не ропщетъ и хвалитъ. Безподобный выговоръ Ксеніи приводитъ его въ восторгъ, а наша французская болтовня, Ольгина, Санина и моя, вознаграждаютъ его за басни, написанныя русскими буквами мною или Елочкою и разучиваемыя нашей мужской молодежью съ неподражаемымъ выговоромъ и умопомрачительнымъ акцентомъ.

Вмѣсто рисованія у насъ теперь преподается гримъ. Мы безконечно любимъ этотъ урокъ. Преподаватель грима, веселый, не менѣе насъ жизнерадостный, еще молодой человѣкъ, объясняетъ намъ тайны наружнаго перевоплощенія въ то или другое лицо. Мы учимся обыкновенному, характерному и историческому гриму.

Вѣдь на сценѣ все приходится играть: и старухъ, и калѣкъ, и убогихъ, и больныхъ, и глупыхъ, и злыхъ, и добродушныхъ. И каждое лицо можно измѣнять и дѣлать неузнаваемымъ при помощи пасты, красокъ и другихъ атрибутовъ. Можно загримироваться негромъ, индусомъ, туркомъ, или же, тщательно держась копіи гравюры, какимъ-нибудь историческимъ лицомъ.

Работы у насъ столько, что свободнаго времени нѣтъ ни минутки. Прихожу полуживая отъ усталости домой, вожусь съ моимъ маленькимъ «принцемъ», а вечеромъ къ восьми уже лечу въ театръ, чтобы учиться играть на великихъ образцахъ.

Юморъ и тонкая какъ кружево игра однихъ артистовъ и глубокія, захватывающія, полныя потрясающаго реализма переживанія на сценѣ другихъ — доводятъ насъ до бѣшенаго восторга. Когда же нашъ «маэстро» появляется на сценѣ, мы совсѣмъ теряемъ голову. Неистовствуемъ и едва удерживаемся отъ криковъ восторга.

По возвращеніи домой, куда меня провожаетъ гурьба попутчиковъ и попутчицъ, я еще долго не ложусь. До трехъ часовъ горитъ въ моей комнатѣ лампа, и я сижу надъ французскимъ переводомъ. Я перевожу длинную повѣсть моднаго французскаго писателя. За этотъ переводъ мечтаю получить нѣсколько десятковъ рублей.

Одна моя переводная работа уже принята редакціей журнала, деньги за нее получены и отданы Сашѣ. Теперь намъ чуточку полегче живется. И переводы под-

вернулись, и мелкіе стишки, которые я пишу, принимаются за плату въ различныхъ скромныхъ періодическихъ изданіяхъ.

Съ Сашей у насъ происходятъ постоянныя столкновенія.

— Охъ, выдумала, сударынька,—ворчитъ моя молоденькая нянька,—напишешь-нацарапаешь страничку, а керосину у тебя выгоритъ на цѣлый пятачокъ. Вотъ и раскинь-ка умомъ, вѣдь ты у насъ образованная. Стоитъ ли пятаки тратить да ночи не спать?

— Стоитъ, стоитъ, милая Саша! Стоитъ!

Она за послѣднее время, впрочемъ, ворчитъ все меньше. И похудѣла она какъ будто, и румянецъ спалъ съ ея свѣжаго лица. Кажется, ей нездоровится: ходитъ какъ тѣнь, поминутно жалуясь на лихорадку. Предлагала доктора,—не хочетъ.

— Еще невидаль, подумаешь: меня, мужичку, лечить вздумала! Рубли на меня тратить! Какъ бы не такъ, позволю я тебѣ. Вотъ на дачу поѣдемъ, въ Финляндію что ли, такъ все какъ рукой сниметъ, небось.

Мы, дѣйствительно, рѣшили поѣхать на лѣто куданибудь въ Финляндію, гдѣ дешево и тихо. Сразу послѣ экзаменовъ и тронемся съ мѣста, а пока я усердно учусь, занимаюсь, пишу и перевожу.

* * *

Какъ хорошо и радостно начался этотъ свѣтлый мартовскій день!

Утромъ Викторъ Петровичъ Горскій, сидя на первой партѣ, «на облучкѣ», по выраженію Боба, пояснилъ разницу между красивымъ и прекраснымъ въ предметѣ эстетики. Онъ самъ увлекался, цитируя гомеровскіе стихи и дикламируя битву подъ Троей. И мы перенеслись слѣдомъ за нимъ подъ вѣчно-синее небо Эллады, на родину неземной, безбрежной красоты.

Потомъ Цѣховскій своимъ симпатичнымъ хохлацкимъ говоркомъ на лекціи культуры народовъ, пояснилъ намъ іоническій, коринѳскій и дорійскій стили тѣхъ удивительныхъ колоннъ Греціи, которыя поддерживали роскошные портики и храмы.

И, наконецъ, Викторія Викторовна погнала всѣхъ насъ внизъ на сцену (именно погнала, потому что мы никакъ не могли прервать какого-то удивительнаго спора, происходившаго посреди коридора, мѣшая нашимъ сосѣдямъ второкурсникамъ и балетнымъ ученикамъ). Тамъ уже ждалъ насъ, нетерпѣливо расхаживая по сценѣ, учитель рисованія и грима, Мечеславъ Михайловичъ Мецкевичъ. За его тонкой фигурой мы видимъ въ глубинѣ сцены рядъ столовъ съ зеркалами и принадлежностями грима.

— Мы займемся сегодня характернымъ гримомъ. Садитесь, господа. Времени немного,—наскоро пожимая намъ руки, командуетъ онъ.

— Вотъ изображеніе Іоанна Грознаго, загримируйтесь имъ,—подаетъ онъ Бобу небольшой акварельный рисунокъ.

— Вы — молодой царь Ѳеодоръ Іоанновичъ,—обращается онъ къ Борѣ Коршунову.

— Вы, Карѣевъ,—Борисъ Годуновъ.

— Береговой—Людовикъ XV.

— Рудольфъ—кардиналъ Ришелье.

— Крымовъ, постарайтесь дать въ вашемъ гримѣ типъ Наполеона.

— Дамы, у васъ народный гримъ: Орлова—древняя Рахиль, вотъ по этой гравюрѣ; Аладышева—негритянка; Елецкая—индіянка; Алсуфьева, сдѣлайте себѣ характерный гримъ русской деревенской простоватой крестьянки; Шепталова—плутоватой французской торговки съ базара, Тобергъ—сентиментальной нѣмочки Гретхенъ; Чермилова — татарки изъ какого-нибудь дикаго кавказскаго аула... Головные уборы, парики и наклейки (т.-е. бороды и усы для мужскихъ лицъ)—все это тутъ, въ этой корзинѣ.

Черезъ какія-нибудь полчаса работа кипитъ во-всю. Смазавъ себѣ предварительно все лицо вазелиномъ, я добросовѣстно накладываю на него краски и тона. Во время работы я вспоминаю, что въ моихъ жилахъ течетъ кровь старинныхъ князей Казанскихъ—татарская безпокойная кровь. Я люблю безгранично моихъ предковъ. И кавказскіе народы Востока имъ сродни. Вотъ почему съ такой любовью я при помощи цвѣтныхъ карандашей, сурьмы и красокъ перевоплощаю себя сейчасъ въ одну изъ дочерей Востока. Бѣлая чадра, накинутая на голову, помогаетъ много моему дѣлу.

Въ это самое время Костя Береговой добросовѣстно «подъ Людовика» разрисовываетъ свое лицо.

Четвертью часа позже, по сценѣ, опираясь на палку и сгорбившись въ три погибели, въ синей гримировальной рубашкѣ ученика театральной образцовой школы, ходитъ настоящій, словно ожившій и возставшій изъ гроба, царь Іоаннъ Васильевичъ IV. Страшный и грозный, со сверкающими нездоровымъ огнемъ глазами, съ рѣденькой бородкой, съ хищнымъ орлинымъ носомъ, со лбомъ, испещреннымъ сѣтью морщинъ... Ходитъ, согнувшись, зеленый, худой, чуть живой и жуткій до ужаса, и гремитъ далеко не старческимъ потрясающимъ басомъ:

— «Кто дерзнулъ? Измѣна! Ладно! Я покажу измѣну вамъ! Крамольники! Злодѣи!..»

А рядомъ керенастый, удивительно удачно загримированный, заложивъ руку на спину, шагаетъ, насупившись подъ своей треуголкой, Наполеонъ.

Съ Султаной, по обыкновенію, не все благополучно. Она слишкомъ сильнымъ растворомъ хватила себѣ лицо и теперь мечется на сценѣ, вся черная, какъ сажа, съ выставленными впередъ растопыренными пальцами, тоже черными, словно только что вылѣзшая изъ трубы.

— Это ужъ не негритянка! Это Богъ вѣсть что! Дочь самого Вельзевула, выскочившая изъ ада!—дразнитъ Костя Береговой—изнѣженный и точно склеенный изъ фарфора Людовикъ.

— Ахъ, ты такъ-то!

Негритянка свирѣпѣетъ. Напрасны крики Мецкевича и строгій приказъ остановиться. Опрокинувъ стулъ, съ вытянутыми черными, какъ у трубочиста, руками Султана устремилась на Людовика съ явнымъ намѣреніемъ добросовѣстно и щедро подѣлиться съ нимъ тою черною краской, которая въ такомъ изобиліи покрываетъ ея руки и лицо.

— Ай!—вопитъ не своимъ голосомъ Людовикъ и лѣзетъ подъ столъ. Столъ падаетъ. Зеркало разбивается.

Мечеславъ Михайловичъ, принужденный забыть свое товарищеское отношеніе къ намъ, сердито кричитъ:

— Что за безобразіе! Дѣти вы, что ли! Неужели же идти за инспекторомъ, чтобы васъ унять?

И какъ разъ въ ту минуту, когда Саня Орлова, въ видѣ трагически прекрасной древней Рахили, склоняется надъ осколками зеркала, дверь робко отворяется чьей-то нерѣшительной рукой, и въ школьный театръ просовывается голова моей Анюты.

— Барыню мою надоть на минутку,—робко говоритъ она.

Что-то ударяетъ меня по сердцу.

«Если Анюта здѣсь, значитъ, тамъ, дома, несчастье. Маленькій принцъ... Неужели онъ заболѣлъ?»

У меня мутится въ головѣ отъ ужаса и туманъ въ глазахъ, когда я подхожу, пошатываясь, къ двери.

— Анюта! Что случилось? Ради Бога, говорите скорѣе!

Но она не узнаетъ меня въ этой бѣлой чадрѣ, подъ гримомъ восточной женщины, съ черными, углубленными, при помощи туши, глазами, съ черными же піявками бровей, съ алымъ, необыкновенно яркимъ ртомъ и измѣненнымъ носомъ.

— Чермилову бы мнѣ, барыню мою...—говоритъ Анюта, выпучивъ глаза на мое преображенное лицо.

— Да это я! Говорятъ вамъ—я! Да говорите же, что съ Юрикомъ, ради Бога!?

— Ахъ, не узнала, простите, барыня... Съ Юрикомъ ничего, а вотъ съ Сашей плохо, отправили ее въ больницу. Вся жаромъ пышетъ... Велѣла Юреньку съ дворникомъ оставить—спитъ онъ, а мнѣ бѣжать...—срывается трепетно съ устъ Анюты.

— О, Господи! Гдѣ же она?—совершенно безсмысленно роняю я и обливаюсь холоднымъ потомъ.

— Отправили... Въ Обуховскую больницу... Больно плохо ей стало... И пятна у нея какія-то на лицѣ... Багровыя...

— Пятна!

Я окончательно холодѣю.

— Пятна! Значитъ заразное что-нибудь! А Юрикъ! Мой маленькій принцъ! Неужели?!

Боязнь того, чтобы больная Саша не заразила моего ребенка оспой, скарлатиной или другой болѣзнью, на мгновенье заслоняетъ острую жалость къ самой Сашѣ.

— А Юрикъ? Какъ вы могли его оставить съ дворникомъ, Анюта?—шепчу я съ укоромъ.

— Онъ спитъ, барыня. Успокойтесь, миленькая, онъ спитъ.

— Такъ ѣдемъ же! Скорѣе ѣдемъ!

Я хватаю ее за руку и выскакиваю за дверь.

— Куда! А гримъ-то! Вотъ сумасшедшая! Не поѣдете же въ гримѣ!—слышу я голосъ позади себя.

И то правда. Хороша бы я была въ такомъ видѣ на улицѣ!

Нервно хватаю чью-то банку съ вазелиномъ трясущимися руками смываю гримъ и возвращаю себѣ свой прежній видъ. Не слышу, что говоритъ рядомъ Ольга, что лепечетъ на своемъ тарабарскомъ нарѣчіи все еще черная Султана. Сердце горитъ и рвется на милліоны частей.

Наконецъ-то я въ своемъ прежнемъ видѣ. Хватаю Анюту и бѣгу по лѣстницѣ, выскакиваю на улицу, сажусь на извозчика. Ѣдемъ.

Сначала заѣзжаемъ домой. Оставляю тамъ Анюту. Забѣгаю къ маленькому принцу.

Онъ спитъ безмятежнымъ дѣтскимъ сномъ, не чувствуя, что подлѣ его колыбели нѣтъ маленькой, добродушной, миловидной няни Саши. На ея мѣстѣ сидитъ большой, бородатый старикъ, съ добрыми честными глазами,—нашъ дворникъ Матвѣй—и съ сосредоточеннымъ видомъ качаетъ колыбель-коляску.

Черезъ нѣсколько минутъ я ѣду уже дальше.

Утромъ отправили Сашу, и только теперь, во второмъ часу, я могу узнать въ больницѣ о состояніи ея здоровья.

Вотъ оно грозное желтое зданіе, таящее въ себѣ столько ужасовъ и страданій. Сердце мое бьется частымъ, сильнымъ боемъ, когда я ожидаю въ пріемной фельдшера, у котораго могу узнать о состояніи здоровья Саши.

Наконецъ, онъ появился передо мною въ бѣломъ халатѣ съ папиросой во рту.

— Вы справляетесь о крестьянкѣ Московской губерніи, Н—скаго уѣзда, Александрѣ Акуниной? Доставлена сегодня, вы говорите?

— Да! Да!—нетерпѣливо кричу я, забывшись отъ волненія.

Онъ недовольно смотритъ на меня поверхъ очковъ тѣмъ взглядомъ, который говоритъ:—«Вы дурно воспитаны, моя милая. Такъ нельзя говорить со старшими».

Какой противный! Ненавижу въ эту минуту его халатъ, его папироску, его очки...

— Скорѣй же! Скорѣй! Да не мучьте же меня ради Бога!—выхожу я изъ себя окончательно.

Онъ опять смотритъ на меня поверхъ очковъ, потомъ долго роется въ книгѣ и, наконецъ, останавливается пальцемъ около одной строчки исписанной страницы.

— Вотъ она. Подмосковская крестьянка Александра

Акунина,—тѣмъ же убійственно спокойнымъ голосомъ и тономъ роняетъ онъ, въ то время, какъ все мое существо начинаетъ дрожать съ головы до ногъ.

— У Александры Акуниной, видите ли, найдено сильнѣйшее злокачественное...—тутъ онъ называетъ непонятное для меня латинское слово.

— По-русски! Умоляю васъ говорите по-русски!—кричу я и, сама того не замѣчая, бью отъ нетерпѣнія ладонью по столу.

— У нея злокачественная, въ самой серьезной степени, рожа. Очень трудно-излечимая болѣзнь. Очень заразная,—поясняетъ онъ тѣмъ же ровнымъ, какъ метрономъ, голосомъ

Я хватаюсь рукой за стулъ, чтобы не растянуться у ногъ этого господина, потому что мои собственныя ноги едва держатъ меня.

— Рожа? Злокачественная? Заразная? Значитъ, она умретъ?

— Весьма возможно,—слышу я гдѣ-то далеко-далеко, точно изъ-за глухой стѣны, потому что шумъ въ ушахъ, звонъ и шорохъ въ моей головѣ заглушаютъ все окружающее.

— Я могу ее видѣть?—срывается у меня.

— Если не боитесь заразиться. Очень опасно, предупреждаю. И подходить къ ней близко нельзя. Она въ заразномъ баракѣ, въ концѣ сада. Я позову служителя, онъ проводитъ васъ черезъ дворъ. Ужасно, что ее при-

везли такъ поздно. Болѣзнь запущена. Спасти нельзя.

Я едва слышу, что онъ говоритъ... Поворачиваюсь къ дверямъ и, пошатываясь, выхожу изъ пріемной. Солдатъ-служитель идетъ впереди меня.

Мое сердце стучитъ... Ахъ, какъ мучительно больно стучитъ мое сердце!.. И все одно и то же выстукиваетъ оно: «болѣзнь запущена, спасти нельзя».

О, зачѣмъ я дала этому совершиться! Зачѣмъ я не обратила должнаго вниманія на Сашу! Я такъ ушла во всѣ свои злободневныя заботы, мелочи, въ борьбу за существованіе. А она давно уже страдала и маялась подлѣ меня... Какой ужасъ! Бѣдная Саша! Бѣдная моя!

XIV.

Въ концѣ больничнаго сада помѣщается баракъ для заразныхъ. Туда иду я, въ сопровожденіи служителя, по шаткимъ, какъ бы наскоро настланнымъ по аллеѣ, доскамъ.

Кругомъ пробуждается весна. Таетъ снѣгъ, разливаются лужи. Воробьи чирикаютъ на голыхъ по-весеннему деревьяхъ.

Все это я замѣчаю вскользь, въ то время, какъ безпросвѣтнымъ мракомъ полна моя душа.

Саша! Дорогая Саша! Неужели же это послѣдняя весна твоей жизни?

Въ прохожей барака меня встрѣчаетъ сестра милосердія съ краснымъ крестомъ на груди.

— Можно видѣть больную?—отрывисто спрашиваю я ее.—Александру Акунину, поступившую утромъ.

— Да, видѣть можно, но подходить близко къ ней нельзя... Вы постоите въ дверяхъ ея комнаты... Она лежитъ въ маленькой палатѣ и пока одна. Болѣзнь очень серьезна.

— Я знаю. Проводите меня къ ней, ради Бога.

— Вонъ она здѣсь.

Сестра толкаетъ какую-то дверь слѣва, и я вижу очень маленькую комнату, выдвинутую на середину кровать и среди бѣлыхъ подушекъ... чье-то багровое, какъ бы кровью налитое, страшно раздутое лицо.

Это не Саша. Нѣтъ, нѣтъ! Со вчерашняго вечера (утромъ я не видѣла ея, уходя въ школу) она не могла такъ измѣниться.

И вдругъ багровое лицо съ усиліемъ приподнялось съ подушки, знакомые глаза блеснули мнѣ горячечнымъ огнемъ, запекшіяся губы раскрылись, и съ трудомъ проговорилъ глухой голосъ трудно больной:

— Барынька моя, золотая, серебряная... Лидочка моя, сударынька, сестрица богоданная, сынка моего молочнаго мать! Пришла-таки, не побоялась, желанная, пришла...

Больная протянула мнѣ худенькія руки, силясь приподняться съ подушекъ, чтобы броситься мнѣ навстрѣчу.

— Подойди, подойди...—лепетала она коснѣющимъ языкомъ.—Подойди ко мнѣ, голубонька, сударынька моя... Подойди, сестричка моя богоданная...

— Саша!

И съ этимъ крикомъ, забывъ боязнь заразиться и заразить сынишку, я метнулась впередъ.

— Что вы дѣлаете! Какое безуміе!

Маленькая, но сильная, энергичная рука сестры милосердія до боли крѣпко схватила мою руку и принудила остановиться.

А изъ крошечной комнаты тянулись ко мнѣ за одинъ сутки до неузнаваемости похудѣвшія руки Саши, ея метавшаяся отъ жара фигурка и багровое лицо. И запекшіяся губы молили безпрерывно:

— Подойди ко мнѣ... Подойди.. Обними меня и поцѣлуй. Тошнехонько мнѣ, голубка... Ой, приласкай меня...

Ея голосъ изъ глухого вдругъ сдѣлался плачущимъ и жалобно капризнымъ, какъ у ребенка. Онъ рвалъ мнѣ сердце на части, этотъ жалобно срывающійся голосокъ.

— Подойди. Подойди же, желанная моя, голубка...

Очевидно, она не сознавала опасности.

Глубокое отчаяніе овладѣло мною. Не помня себя, я упала на колѣни на порогѣ комнаты, протянула руки къ ней и, задыхаясь отъ волненія, залепетала:

— Саша, видитъ Богъ, я не могу исполнить твоей просьбы... Доктора не велятъ подходить близко... Но я буду приходить къ тебѣ каждый день... Буду

долго-долго простаивать здѣсь у порога, буду говорить тебѣ, какъ я тебя люблю, Саша... Но не проси меня подойти къ тебѣ—я не могу... Ради нашего Юрика не подойду, Саша...

И я закрыла лицо руками, съ трудомъ удерживаясь отъ слезъ.

Мгновенно, съ прозорливостью трудно больной, она поняла всю страшную суть дѣла и неожиданно заплакала тонкимъ, горькимъ, по-дѣтски слабымъ и жалобнымъ плачемъ.

— Стало быть, помру я... Стало быть, конецъ мнѣ приходитъ...—разслышала я сквозь всхлипыванія ея жалобный голосъ.

Съ твердостью, которую иногда сразу можетъ породить самое сильное отчаяніе, я быстро, горячо заговорила, обращаясь къ ней самымъ убѣжденнымъ, самымъ увѣреннымъ тономъ:

— Нѣтъ, нѣтъ!—срывалось съ моихъ устъ.—Ты не умрешь, Саша, сестричка, подружка моя дорогая, ты будешь жить... Вмѣстѣ со мною ты будешь поднимать нашего дорогого мальчика... Вырастимъ его сильнымъ, здоровымъ, добрымъ и честнымъ — такимъ же, какъ ты... Да, Саша, ты будешь здорова, ты не умрешь, тебя спасутъ.

И, не помня себя, я бросилась отыскивать доктора, мелькомъ замѣченнаго мною въ баракѣ.

Вотъ онъ. Я схватила руку чужого мнѣ, посторон-

няго человѣка и молила его спасти, выходить, поставить на ноги мою Сашу.

Я плохо сознавала то, что говорила... Слезы катились по моему лицу; голосъ, срываясь, лепеталъ какія-то наивныя мольбы.

Мнѣ что-то отвѣчали, что-то говорили и давали обѣщаніе сдѣлать все, что возможно.

Я отдала всѣ деньги, какія имѣлись со мною, сидѣлкѣ, прося ее ухаживать за «моею» больною, принести ей вина и всего, чего она только ни попроситъ.

Потомъ снова кинулась къ Сашѣ.

Сейчасъ она лежала затихшая, странно спокойная, но такая же багровая, какъ прежде. Глаза ея, не отрываясь, смотрѣли на дверь.

— Саша, — позвала я ее тихо,—я говорила съ докторомъ. Онъ обѣщалъ мнѣ вылечить тебя поскорѣе.

Она чуть замѣтно, недовѣрчиво покачала головою.

— Гдѣ ужъ вылечить... Помирать пора, чувствую я...—тихо пролепетала она, на минуту опустивъ вѣки.

Вдругъ, съ внезапно охватившей ее энергіей, она заговорила:

— Деньги твои, хозяйскія, барыня, въ сундукѣ. Ты безъ меня, слышь, не транжирь зря-то... И Анютѣ больше рубля пятидесяти копеекъ въ день не давай... Она рада зря тратить-то, Анюта-то... Страсть любитъ много накупать... Да по ночамъ керосинъ не жги даромъ... Продашь, не продашь работу, а керосинъ-

то идетъ. И Юренькѣ теплую голубую фуфаечку вели выстирать. Я не успѣла... Да вотъ еще у меня деньги останутся малость, что ты мнѣ отдавала, такъ отъ меня Юренькѣ. Небось, мертвой не надо, съ собой не унесу.

— Саша!—крикнула я дикимъ голосомъ.

Мое сердце едва не разорвалось на куски.

Эта бѣдная умирающая Саша еще находила въ себѣ силы заботиться объ удобствахъ тѣхъ, кого любила! И въ такую ужасную минуту, среди невѣроятныхъ физическихъ мукъ!

* * *

Когда я, обезсиленная всѣми пережитыми волненіями, входила въ мою квартиру, страшная мысль потрясала все мое существо. Боязнь за сынишку, опасеніе, что Саша, находившаяся при немъ въ началѣ болѣзни, уже заразила его рожистымъ воспаленіемъ, едва не лишила меня разсудка.

Послѣ короткаго совѣщанія съ приглашеннымъ для тщательнаго осмотра ребенка врачомъ, я успокоилась немного. Моему малюткѣ не грозило никакой опасности. Какимъ-то чудомъ болѣзнь Шурочки не перешла на него.

И все же я не спала всю ночь и просидѣла у его колыбели. Меня угнетали мои горькія мысли, острая жалость къ Сашѣ, безумная боязнь, что она умретъ, и угрызенія совѣсти...

Да, ужасныя угрызенія совѣсти въ томъ, что я недостаточно обратила вниманія на нее, уже больную. Что не заставила немедленно позвать доктора, что не имѣла достаточно энергіи настоять на своемъ.

То была ужасная ночь! Я не забылась ни на минуту, и только лепетъ проснувшагося маленькаго «принца» привелъ меня въ себя, напомнилъ о томъ, что, кромѣ угрызеній совѣсти, тоски и страданій, есть еще и другое чувство—чувство величайшей въ мірѣ материнской любви...

* * *

Я освободилась только къ шести часамъ вечера на другой день. Утромъ и днемъ занятіе на курсахъ, потомъ надо было смѣнить Анюту, которая разрывалась на части отъ прибавившейся ей новой роли няни.

Объ обѣдѣ нечего было и думать. Анютѣ не до него. Едва удалось сварить кашку Юрику и зажарить ему котлетку.

Маленькій принцъ—самое требовательное существо въ мірѣ. Онъ любитъ, чтобы его развлекали неустанно и занимались съ нимъ съ утра до вечера, какъ и подобаетъ маленькому принцу.

Къ шести часамъ приходитъ Ольга, чтобы смѣнить меня, и приноситъ моему сынишкѣ бумажнаго паяца.

Юрикъ сразу сильно заинтересовывается паяцомъ, потомъ коралловымъ ожерельемъ на шеѣ Ольги, и я

незамѣтнымъ образомъ, чтобы не дать ему повода поднять крикъ на всю квартиру, какъ это бываетъ въ минуты моего ухода, выскальзываю за дверь. На дворѣ сталкиваюсь съ Васей Рудольфомъ.

— Пришелъ за лекціями. Одолжите, коллега.

— Вася, умоляю васъ, помогите Ольгѣ занять Юрика. Я ѣду къ Сашѣ,—наскоро говорю я.

— Ей лучше?

— Какое! А впрочемъ, я ничего не знаю пока.

— Не безпокойтесь. Мы займемъ ваше сокровище. Нашъ общій маленькій повелитель не будетъ имѣть повода быть недовольнымъ своей свитой,—пробуетъ пошутить онъ, но голубые глаза его грустны. Ему, очевидно, жаль до безумія Сашу, какъ и всѣмъ, кто знаетъ эту милую, чуткую, удивительно честную женщину.

Я киваю ему головою и спѣшу дальше.

Сегодня воскресенье. На улицѣ веселая праздничная толпа народа. Идутъ студенты, учащіяся барышни, служащіе и освобожденные отъ работы фабричные мастеровые. У всѣхъ веселыя, довольныя лица. Всѣхъ заполняетъ и радуетъ расцвѣтающій праздникъ близкой весны.

А у меня въ душѣ тьма и тревога. Что-то съ Сашей? Найду ли я улучшеніе въ ея здоровьѣ сегодня?

Докторъ не далъ мнѣ надежды, но вѣдь доктора

могутъ иногда ошибаться. Робко цѣпляюсь за эту слабую мысль и вхожу въ больничный садъ. Воробьи чирикаютъ, какъ и вчера, радостно и звонко. И воздухъ марта чистъ, веселъ и свѣжъ.

У заразнаго барака останавливаюсь, чтобы перевести дыханіе. Потомъ вхожу съ сильно бьющимся сердцемъ, минуя длинный коридоръ, проходную комнату, не встрѣчая никого... Вотъ и маленькая палата... Открываю дверь... Заглядываю... И замираю на мѣстѣ, холодѣя всѣмъ тѣломъ.

Гдѣ Саша? Ея кровать пуста. Куда они унесли ее?

Неслышными шагами подходитъ ко мнѣ сестра милосердія и говоритъ торжественно и тихо:

— Она въ часовнѣ. Вы можете пройти туда.

— Она!...

— Она умерла сегодня въ полдень,—такъ же тихо произноситъ сестра.

На меня находитъ столбнякъ. Я не могу двинуться съ мѣста. Какой-то страшный круговоротъ захватываетъ меня, мою раздавленную острымъ горемъ душу, все мое существо.

— Она умерла безъ особыхъ страданій,—тихо продолжаетъ сестра,—и до послѣдней минуты агоніи вспоминала васъ... Трогателенъ былъ ея послѣдній лепетъ. Уже едва дыша, она заботилась о васъ и о вашемъ ребенкѣ. Звала васъ... Просила выбрать ему няню по-

лучше... Просила не выпускать подольше гулять въ легкой шинелькѣ. Говорила, что забыла починить ему старые чулочки. Ахъ, какая это была нѣжная, полная самоотреченія привязанность къ вамъ!...

— Да... Я знаю...—вырвалось у меня съ такимъ отчаяніемъ, съ такой безпредѣльной тоской, что сестра невольно положила мнѣ руку на плечо и сказала уже инымъ тономъ и голосомъ:

— Ну, Господь съ вами! Что вы! У васъ есть сынъ. Не надо отчаиваться. Живите съ Богомъ для него. Хотите, я дамъ вамъ провожатаго въ часовню?

— Нѣтъ, не надо. Я найду дорогу одна.

— Но тамъ, кромѣ, вашей, есть другіе мертвые. Вамъ будетъ жутко и непріятно.

— Нѣтъ, нѣтъ, я хочу одна...

* * *

Хотя на улицѣ почти еще свѣтло, но въ небольшой часовнѣ, помѣщающейся во дворѣ больницы и лишенной оконъ, стоитъ жуткая полутьма. Невѣрный огонекъ лампады и двѣ-три свѣчи передъ образами слабо освѣщаютъ эту каменную церковку, похожую на склепъ. Въ притворѣ, на возвышеніи стоятъ, какъ бы тѣсня другъ друга, простые однообразные гробы. Подхожу къ первому. Мужское синее лицо съ густою бородою. Дальше костлявая, страшная, какъ скелетъ высохшая, старуха. Еще дальше мальчикъ... О, сколько ихъ здѣсь!...

Мерцающій огонекъ лампады играетъ на лицахъ умершихъ, и кажется минутами, что эти лица страннымъ образомъ движутся, оживаютъ...

Мнѣ становится трудно дышать въ этомъ царствѣ мертвыхъ. Малодушный страхъ гонитъ отсюда на воздухъ, къ живымъ.

Холодный ужасъ проникаетъ мнѣ въ душу, наполняетъ дрожью все мое существо, шевелитъ волосы. Я уже не владѣю собой. Хочется дико закричать и броситься вонъ.

Не помня себя, подавивъ усиліемъ воли этотъ непрошенный, ничѣмъ необъяснимый страхъ, подхожу къ послѣднему тѣлу, заглядываю въ лицо.

— Саша!...

Это она. Смерть унесла съ собою страшные слѣды ея жестокой болѣзни. Лицо прояснилось, просвѣтлѣло. И выраженіе безконечнаго покоя легло на эти юныя черты.

Недавняго страха какъ не бывало. Я склонилась на холодный полъ часовни и, сжимая до боли руки, шептала, обливаясь слезами:

— Саша, милая, добрая, нѣжная, заботливая Саша! Какъ мнѣ тяжело безъ тебя! Какъ я люблю тебя, Саша, какая печальная жизнь потянется теперь безъ тебя, безъ твоей любви и ласки... Саша, милая Саша, зачѣмъ ты умерла! Зачѣмъ!...

XV.

Апрѣль стоитъ горячій и знойный. Жарко точно въ іюнѣ. Тянетъ нестерпимо на лоно природы, въ сосновые лѣса Финляндіи, къ прохладнымъ студенымъ озерамъ. Но уѣхать нельзя—у насъ экзамены. Сижу цѣлыми днями у открытаго окна и занимаюсь. А въ душѣ тоска. Тоска и печаль по Сашѣ. Ихъ ничѣмъ нельзя утишить. Все такъ живо напоминаетъ ее и брошенный на окнѣ кокошникъ, и бусы, которыми играетъ «маленькій принцъ», а главное, ея голосъ и пѣсни, которые стоятъ въ моихъ ушахъ съ утра до вечера.

Тяжело нестерпимо.

«Маленькій принцъ» тоскуетъ и зоветъ Сашу. Анюта плачетъ по вечерамъ и каждую ночь видитъ ее во снѣ.

Въ день похоронъ пріѣхала изъ деревни мать умершей. Я ей отдала всѣ сбереженія Саши, всѣ ея платья, все, что она имѣла. Старуха надорвала намъ сердце своими причитаніями и плачемъ. Это была ея любимая дочь.

Ахъ, почему такъ жестоко сложились обстоятельства! Почему я не обратила должнаго вниманія на Сашину болѣзнь! Зачѣмъ не употребила всѣ силы и не позвала доктора! Можетъ быть, она была бы жива...

Какая пытка учиться съ этимъ адомъ въ душѣ, съ этимъ запоздалымъ раскаяніемъ. Я складываю тетради и несусь къ Смольному.

— Оля, Елочка!—кричу я вышедшей навстрѣчу подругѣ.—Оля, милая, я съ ума сойду, если все это продолжится еще. Спаси меня, Оля, отъ моихъ мыслей, отъ моей муки.

Елочка, только что усердно долбившая коринѳскій и дорійскій стили, покорно захлопываетъ тетрадь съ лекціями и смотритъ на меня мечтательными глазами.

— Лидочка, милая, успокойся!—глуховатымъ голосомъ говоритъ она и, поднявъ глаза къ небу, добавляетъ:— Ей тамъ лучше, Лида, въ голубыхъ сферахъ надлунія... У нея сейчасъ крылья за плечами и тѣло легкое, прозрачное, какъ у чистыхъ дѣвъ далекаго рая... И она царитъ въ безбрежности или гуляетъ въ заоблачныхъ садахъ...

— Не то! не то!—шепчу я, нимало не удовлетворенная бредомъ увлекающейся мечтательной Елочки.— Не то, Оля, милая! Все это сказка и мечта. Я хочу живую, радостную Сашу, я хочу ее видѣть около, съ нами, видѣть, чувствовать, говорить съ нею.

— Мечтать лучше, нежели жить дѣйствительною жизнью,—шепчетъ задумчиво Оля.

Она осталась вѣрна себѣ, эта милая мечтательница. Такая же, какою была и въ институтѣ. Но въ ея заоблачныхъ грезахъ мало для меня сейчасъ утѣшительнаго. Ольга, нѣжная, тихая и покорная, не рождена для житейской борьбы, ея грозъ, битвъ. Она склоняется подъ ударами судьбы. А по-моему, надо бороться, бо-

роться и бороться до послѣднихъ силъ, чтобы побѣдить непобѣдимое...

* * *

Изъ Смольнаго со Вдовьей половины я несусь къ Орловымъ. Это какая-то удивительная семья, живущая интересами всего міра, всѣхъ людей и забывающая себя ради близкихъ.

Сама Зоя Георгіевна Орлова, вся сѣдая отъ какого-то никому другому невѣдомаго горя, съ трогательной заботливостью освѣдомляется о моемъ состояніи.

— Не убивайтесь, Лидочка,—говоритъ она,—берегите свое здоровье. Время залечитъ все. И горе, и радость преходящи.

Ахъ, какъ нѣженъ голосъ этой женщины и какъ ласково и ясно ея лицо съ затаенной печалью въ глубокихъ темныхъ глазахъ...

За чаемъ Саня съ озабоченнымъ видомъ говоритъ мнѣ, что ее серьезно безпокоитъ Ѳедя Крымовъ, который очень лѣниво занимается; она будетъ сама готовить его къ экзаменамъ.

И Султана ее также волнуетъ, но уже по другой причинѣ. У нашей дикарки есть самая непріятная привычка: она совсѣмъ не признаетъ чужой собственности. Такъ, съѣсть чужой завтракъ, износить до дыръ чужіе ботинки, прогуливаться въ чужой кофточкѣ, какъ-будто это ея собственная,—для Аладашевой ровно ничего не

стоитъ. И дѣлаетъ она это такъ просто, открыто и явно, съ такой откровенной дѣтской простотою, что нѣтъ никакой возможности разсердиться на нее.

— Она невозможная!—возмущенно передаетъ мнѣ Саня, и вся ея правдивая, глубоко честная душа глядитъ на меня эти минуты изъ ея печальныхъ темныхъ глазъ —Вчера, знаете, что она выкинула? Пальто Викторіи Владимировны надѣла и отправилась въ немъ завтракать въ кондитерскую. А наша «классная дама» захотѣла раньше уйти изъ школы. Смотритъ, пальто нѣтъ. Скандалъ страшный... Но вѣдь это Богъ знаетъ что! Мамочка, хоть бы вы наставили хорошенько наше сокровище,—обращается она къ матери въ то время, какъ братья ея хохочутъ неудержимо.

— Нда-съ, экземплярчикъ! —говоритъ младшій Володя.

— И ничего тутъ особеннаго нѣтъ, непосредственность только,—смѣется старшій, Павелъ.

У нихъ есть еще братъ. Но о немъ никогда не говорятъ при постороннихъ. И въ этомъ тайная печаль маленькой семьи. Изъ-за этой тайной печали побѣлѣли волосы матери, и постоянная грусть залегла въ прелестные глаза Сани, и лица Павла и Володи стали сосредоточенны и строги, несмотря на молодость.

Поздно вечеромъ ухожу изъ гостепріимной квартирки на Васильевскомъ Острозѣ и уношу съ собою уже не прежній страшный грузъ, бремя отчаянной тоски по Сашѣ, а умиротворенную тихую печаль.

Зоя Викторовна, отпуская меня, цѣлуетъ и креститъ.

— Если снова взгрустнется, Лидочка, приходите къ намъ. На людяхъ легче бываетъ, да и раздѣленное горе—пол-горя, какъ говорится. Саня моя васъ полюбила, да и всѣ мы. Придете? Да?

Развѣ можно не придти на этотъ теплый родственный призывъ?

— Приду, конечно, приду! Спасибо!

* * *

Бѣгу стремительно домой съ экзамена. Слава Богу, конецъ. Выдержаны всѣ,—не осрамилась!

И послѣдній, самый страшный, спеціальный, сошелъ сегодня. Я читала монологъ изъ «Орлеанской дѣвы», потомъ разыгрывала сценку изъ Островскаго съ Ѳедей Крымовымъ и Карѣевымъ.

Всѣ мои однокурсники перешли на второй курсъ. «Маэстро» доволенъ. Всѣ двѣнадцать человѣкъ удовлетворили его. Тринадцатая, Султана, не экзаменовалась: она вольнослушательница. Она только «присутствовала» и тотчасъ послѣ экзаменовъ исчезла куда-то, захвативъ перчатки Шепталовой и зонтикъ Ольги.

Послѣ экзамена «маэстро» задержалъ насъ на два часа, раздавая работу на лѣто, въ видѣ водевильныхъ ролей и драматическихъ этюдовъ. Подавалъ намъ совѣты читать полнымъ голосомъ въ лѣсу, въ полѣ, приглядываться къ лицамъ встрѣчныхъ, изучать типы, запи-

сывать въ записную книжку или зарисовывать то или другое характерное лицо. И на прощанье подалъ намъ всѣмъ руку.

На радостяхъ Бобъ прогремѣлъ своимъ басомъ «ура», а Ѳедя Крымовъ вскочилъ на каѳедру и оттуда съ азартомъ заявилъ на всю школу, что онъ такъ счастливъ, что не провалился; и что не провалился онъ исключительно благодаря Санѣ, которая носилась съ его экзаменами больше, чѣмъ со своими; и что онъ всѣхъ насъ любитъ, какъ «сорокъ тысячъ братьевъ любить не могутъ», а потому передъ долгой разлукой предлагаетъ намъ всѣмъ перейти на «ты».

— Да! Да! Разумѣется на «ты»,—подхватилъ Коршуновъ.

— А вы браниться не будете? Вы такой вспыльчивый, Боря,—лукаво прищурилась на него Маруся Алсуфьева.

— Я не буду,—комически дѣтскимъ голосомъ пропищалъ юноша.

Числомъ двѣнадцати голосовъ противъ одного—Вася Рудольфъ, со свойственной ему деликатной выдержкой долго протестовалъ противъ поднятаго вопроса,—рѣшеніе прошло. Мы дали другъ другу слово быть на «ты» и держаться тѣсной, родственной семьей.

Весь этотъ день, пестрый по впечатлѣніямъ, переживался мною безконечное число разъ, пока я стремительно неслась по шумнымъ петербургскимъ улицамъ къ себѣ въ Кузнечный.

Надо торопиться съ укладкой и помогать Анютѣ. Завтра мы ѣдемъ.

Пробѣгая мимо чугунной ограды Владимирскаго сквера, вижу маленькаго «принца», пресерьезно, съ раскраснѣвшимся личикомъ, копошащагося въ пескѣ вмѣстѣ съ другими дѣтишками. Его новая няня сидитъ на скамейкѣ.

Эта новая няня, важная сѣдая старуха, съ перваго же часа своего поступленія, внушала мнѣ какое то невольное смущеніе. Она служила и у «ея сіятельства графини К.», и у «баронессы М.», и у «генеральши Н.», и у «адмиральши В.» и постоянными поученіями, какъ надо воспитывать «дите», чтобы оно не болѣло,—совсѣмъ уничтожала меня. Я, никого никогда не боявшаяся до сихъ поръ, положительно начинаю ея трусить. Она умѣетъ по особенному рецепту приготовить котлетку, и «дите» у нея не плачетъ, и молочко-то она подогрѣетъ «въ самый разъ», и сказки разсказываетъ такія, что просто прелесть... И все же я боюсь ея зато, что она постоянно критикуетъ мою материнскую неопытность и держитъ меня, какъ говорится, «въ респектѣ» во всемъ, что касается моего Юрика.

Сейчасъ мнѣ безумно хочется влетѣть вихремъ за ограду, подхватить на руки моего «маленькаго принца» и притащить его домой, цѣлуя безудержно его разгорѣвшуюся отъ жары мордочку. Но этого нельзя. «Аристократическая» нянька запрещаетъ зря волновать

«дите». Вѣдь разъ я утащу моего мальчуганчика къ себѣ, онъ уже не пожелаетъ къ ней вернуться.

Скрѣпя сердце, прохожу домой.

Дома сюрпризъ.

Анюта стоитъ надъ пустой кастрюлей и проливаетъ горькія слезы.

Это она о Сашѣ,—мелькаетъ у меня быстрая мысль, и сердце болѣзненно екаетъ привычнымъ приливомъ горя.

— Полно, Анюта, полно. Мертвую этимъ не воскресить.

И вдругъ она разражается цѣлой тирадой безудержнаго гнѣва.

— Да пущай бы она померла лучше, чѣмъ людей подводить-то... Да я, барыня миленькая, ее бы не знаю какъ за это... Да она кровь мою всю выпила...

— Кто же? Кто это? Говорите толкомъ, Анюта.

— Да она, прости ее, Господи, верченая эта. Турчанка она, что ли. Ахъ ты, грѣхи тяжкіе, чтобъ ее.

— Ничего не понимаю,—лепечу я недоумѣнно.

— Пройдете въ комнату, такъ поймете; небось, кушать-то хочется?

— Очень,—откровенно сознаюсь я.

— Анъ и не придется вамъ, говорю, кушать-то!

Опять недоумѣваю. Пожимая вопросительно плечами, прохожу въ первую комнату, служащую мнѣ одновременно столовой, гостиной и спальней (такъ какъ на ночь мнѣ стелется тамъ на широкой отоманкѣ постель). На

столѣ грязныя пустыя тарелки, остатки соуса на блюдѣ, кусочки хлѣба и на самомъ видномъ мѣстѣ записка въ полъ-листа писчей бумаги. Огромныя корявыя буквы гласятъ неправильными строками:

«Пожалуста, не сердысь, я съила твою курыцу. Она била вкусни, только малы соли. А суку тоби оставила. Ѣшь на здоровья. Твоя Султанка».

Не угодно ли! Она съѣла мой обѣдъ! Съѣла такъ же просто и наивно, какъ носитъ чужія вещи и треплетъ до дырокъ чужіе сапоги.

Пріятная перспектива, нечего сказать, остаться безъ обѣда!

И все-таки мнѣ смѣшно. Въ первый разъ смѣшно со дня Сашиной смерти.

Нечего дѣлать, глотаю пустой супъ (потому что съ рѣдкой предусмотрительностью Султана и тутъ осталась вѣрна себѣ и повытаскала изъ него всѣ клецки) и посылаю Анюту за колбасой, долженствующей замѣнить мнѣ второе блюдо.

А вечеромъ до поздней ночи укладываюсь. Утромъ мы уже уѣзжаемъ. Уѣзжаемъ въ тихій, маленькій рай, гдѣ такія высокія и зеленыя сосны, гдѣ столько сладкой грустной тишины, нѣжныхъ улыбокъ солнца и голубыхъ прозрачныхъ озеръ...

КОНЕЦЪ 1-й ЧАСТИ.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

I.

Почти цѣлый годъ прошелъ незамѣтно. Снова январь, радостно бодрящій людей своимъ студенымъ дыханіемъ.

Въ широкія окна аудиторіи льются скудные зимніе лучи солнышка. Въ печкѣ весело потрескиваютъ дрова. Сижу между Ольгой и Саней Орловой и спѣшно записываю лекціи по Бытовой Исторіи.

«О-де-ж-да рим-ска-го гла-ді-а-тора,—умышленно растянуто, чтобы дать намъ поспѣть за нимъ, своимъ пѣвучимъ хохлацкимъ голосомъ говоритъ Цѣховскій,—состояла изъ...»

Слѣва отъ меня Бобъ Денисовъ переговаривается съ Ѳедей:

— Такъ и передай: меньше восьми цѣлковыхъ я не поѣду. Что, въ самомъ дѣлѣ. Мы вѣдь второкурсники.

Я отлично знаю, о чемъ они говорятъ. Несмотря на запрещеніе «маэстро» участвовать въ частныхъ теат-

рахъ, они играютъ. Гдѣ-то за Невской заставой лицедѣйствуютъ, главнымъ образомъ, Боря Коршуновъ, Саня Орлова, Маруся Алсуфьева и Лили Тобергъ. Тамъ же—Ѳедя, Володя Карѣевъ, Бобъ и Береговой. Не играютъ только Вася Рудольфъ и Ольга, да еще Ксенія Шепталова, потому что ея великосвѣтская тетка не разрѣшаетъ ей этого, Султана, которой никакъ нельзя выступать съ ея тарабарскимъ парѣчіемъ, и я. Ольга по вечерамъ служитъ въ конторѣ Смольной богадѣльни, находящейся подлѣ Вдовьей половины. Я же не имѣю времени играть, занятая, помимо курсовой работы, еще и переводами. Одинъ лишь Вася Рудольфъ отказался отъ участія въ спектакляхъ исключительно только изъ повиновенія «маэстро».

«Что мы обѣщали маэстро, то должно быть исполнено свято», и другого мнѣнія не можетъ быть у него на этотъ счетъ.

Въ душѣ каждый изъ насъ не можетъ не уважать такого рѣшенія Васи; явно же—мы всѣ чуть-чуть подсмѣиваемся надъ нимъ:

— Тихоня. Пай мальчикъ. Ни капли горячей любви къ искусству. Корректный нѣмчикъ. Педантъ,—нѣсколько разъ уже прохаживался на его счетъ Боря Коршуновъ.

Кстати сказать, характеръ Бориса очень измѣнился за послѣднее время. Ореолъ ли таланта, окружившій эту своеобразно красивую голову, вскружилъ немножко

послѣднюю, или же онъ былъ слишкомъ занятъ своими постановками спектаклей за Невской заставой, гдѣ онъ игралъ главныя роли,—но Борисъ сталъ неузнаваемъ: разсѣянъ, вспыльчивъ, раздражителенъ. Съ нимъ почти невозможно разговаривать спокойно. Говоритъ дерзости своимъ и чужимъ на каждомъ шагу. Одна Маруся Алсуфьева имѣетъ на него какое-то необъяснимое вліяніе. Ея дѣтская непосредственность и веселость, ея звонкій смѣхъ, безпечность и умѣнье развѣять самыя хмурыя настроенія не могутъ не оказать своего дѣйствія.

Она и Борисъ въ перемѣны между уроками ходятъ по коридору и горячо бесѣдуютъ, размахивая руками. И послѣ такихъ бесѣдъ Борисъ какъ будто дѣлается мягче, добрѣе.

— Все это кончится свадьбой,—въ такихъ случаяхъ запѣваетъ басомъ Бобъ.

— Не говори глупостей, — обрываетъ Боба красная отъ смущенія Маруся и грозитъ пальцемъ.

— А почему бы и не быть свадьбѣ?—возмущается Борисъ.—Скажите, пожалуйста, что я отщепенецъ какой или бездарность, стыдно, что-ли за меня замужъ идти?

— Нѣтъ, нѣтъ! Только не бездарность. Нѣтъ,—горячо торопится успокоить его Маруся.—Только не бездарность. Ты большой, ты крупный талантъ.

И глаза ея горятъ при этомъ неподдѣльнымъ восторгомъ.

Сейчасъ мы всѣ сидимъ на лекціи «Бытовой»

Пока я, Саня и Ольга ведемъ запись, Борисъ повторяетъ роль изъ той пьески, которую мы будемъ репетировать передъ «маэстро» нынче въ школьномъ театрѣ. Мы уже давно репетируемъ такія одноактныя пьесы и драматическіе этюды и отрывки. Съ будущаго года, на третьемъ курсѣ, пойдутъ другія серьезныя, крупныя и трудныя-трудныя для насъ, такихъ еще молодыхъ и неопытныхъ.

Лекція Бытовой Исторіи приходитъ къ концу. Въ перерывѣ между нею и Исторіей Драмы къ намъ заходитъ инспекторъ Пятницкій.

— Господа,—говоритъ онъ,—я долженъ вамъ передать желаніе директора, а именно: вамъ необходимо являться каждый день въ нашъ образцовый театръ и изображать толпу, то-есть, иными словами, играть безсловесныя роли статистовъ. До сихъ поръ выступали наемные статисты въ театрѣ; теперь директоръ желаетъ передать это дѣло въ руки «курсовыхъ». Надѣюсь, милостивыя государыни и милостивые государи, что вы будете на высотѣ своего призванія и не уроните достоинства нашей школы. Вѣдь тамъ, на этихъ подмосткахъ, съ вами будутъ такія великія имена, какъ вашъ уважаемый «маэстро» Давыдовъ, Савина, Комиссаржевская, Стрѣльская, Варламовъ, Писаревъ... Всѣ они— величайшіе столпы русскаго театра. Не правда ли, вы постараетесь отличиться, господа?

Мы нѣсколько секундъ молчимъ, не зная, что от-

вѣтить. И острая радость и неожиданность лишаютъ насъ слова. Наконецъ, Коршуновъ, опомнившись, первый выступаетъ впередъ.

— Собственно говоря,—начинаетъ онъ со своимъ обычнымъ видомъ разсѣяннаго мечтателя,—эта новая обязанность возьметъ массу времени, но лицедѣйствовать, хотя бы въ видѣ молчаливыхъ статистовъ, съ большими именами—пріятно.

— Я думаю,—немного иронически соглашается инспекторъ, недолюбливающій Бориса за его слишкомъ независимый тонъ и видъ.

* * *

Этотъ день то и дѣло несетъ съ собой новости и сюрпризы. Въ дамской гостиной, во время чаепитія, ко мнѣ подходитъ Наташа Перевозова и съ таинственнымъ видомъ отводитъ меня въ сторону:

— Лида Чермилова, на два слова.

Въ дальнемъ углу гостиной она быстрымъ шопотомъ говоритъ мнѣ, наклонясь къ моему уху:

— Лидочка, у меня порученіе къ вамъ отъ одной антрепренерши, Дашковской, Евгеніи Людвиговны... Она ставитъ спектакли на Пороховыхъ Заводахъ каждую субботу и просила меня пригласить молодую артистку на драматическія роли, такъ какъ ея постоянная драматическая актриса уѣхала въ провинцію. И я выбрала васъ. Надѣюсь, что вы оправдаете мою рекомендацію и спра-

витесь съ драматической ролью. Это одноактная драматическая вещь: «Нежданный гость», переводъ съ французскаго... Но роль—прелесть. Вы не откажетесь, конечно, Лидочка?

Я смотрю, не шевелясь, на Наташу, разглядываю ее, точно вижу въ первый разъ эти веселые сѣрые глаза, пушистые свѣтлые волосы, все ея хорошенькое личико избалованной дѣвочки, и цѣлый вихрь мыслей кружится въ это время въ моей головѣ.

«Маэстро» не разрѣшаетъ играть. Не разрѣшаетъ, потому что, по его мнѣнію, участіе въ побочныхъ спектакляхъ портитъ дарованіе молодого учащагося артиста. Правда, можно устроить такъ, чтобы онъ не зналъ ничего. Но мнѣ, матери семейства, стыдно, какъ дѣвочкѣ, поступать втихомолку. Съ другой стороны, однако, какъ соблазнительно и пріятно выступить передъ настоящей публикой въ настоящемъ театрѣ. Слушать аплодисменты, относящіеся къ тебѣ, къ твоей игрѣ. Но почему же непремѣнно аплодисменты? Вѣдь можетъ статься, что я «провалю» роль?

Что-то темной волной поднимается со дна души и туманитъ на секунду мой разумъ.

Сыграть!.. Сыграть драматическую роль, о которой я такъ давно, такъ пламенно мечтала! Да развѣ это не безумное счастье, Боже мой! Я, кажется, даже поблѣднѣла отъ волненія, когда отвѣчала Наташѣ нетвердымъ голосомъ мое «да»...

Она, улыбаясь, жметъ мою руку.

— Я знала, что вы не откажетесь, душка. Вотъ спасибо.

И веселая, какъ птичка, исчезаетъ мгновенно, чмокнувъ меня налету.

Я же спѣшу къ Ольгѣ.

Она выслушиваетъ меня очень внимательно, потомъ тихо шепчетъ:

— Счастливица! Драматическая роль! Сколько новыхъ откровеній можно передать въ ней публикѣ!... Какъ жаль, что я не могу играть! — И она тихонько вздыхаетъ.

Интересно, что скажетъ Вася Рудольфъ, когда я сообщу ему, врагу подобнаго участія въ «чужихъ театрахъ», что я согласилась играть.

Бѣгу къ «курилкѣ» вызвать его и, проносясь мимо музыкальной комнаты, слышу неописуемый шумъ и крики за ея дверью. Голосъ Султаны, повышенный, взбудораженный, злой, кричитъ что-то, а тихій, убѣждающій, но тоже взволнованный, мужской голосъ отвѣчаетъ съ горячностью. И еще голосъ протеста, увѣщанія, то и дѣло прерывающійся смѣхомъ.

Быстро распахиваю дверь. Что это?

II.

Въ комнатѣ собрались всѣ наши второкурсники и второкурсницы, кромѣ Ольги. У нѣкоторыхъ на лицахъ

недоумѣніе, у другихъ любопытство, у третьихъ улыбки. Посреди «музыкальной» стоятъ Вася Рудольфъ и болгарка, при чемъ онъ держится за одинъ конецъ какой-то корзины, Султана же за другой, противоположный, и каждый тянетъ корзину къ себѣ. Корзина наполнена пирожными. Бумага съ нея сорвана, и вкусныя ромовыя бабы, пышки, мокко и картофелинки съ ромовой начинкой соблазнительными рядами темнѣютъ оттуда.

Лицо Султаны багрово отъ злости, брови сдвинуты, ноздри раздуты. Глаза такъ и прыгаютъ, какъ у волчицы.

Но и нашего «тихоню», всегда корректнаго Васю Рудольфа, не узнать сейчасъ. И у него по лбу, щекамъ и подбородку пошли красныя пятна. И глаза у него негодующіе, сердитые, эти обыкновенно ясные, немного застѣнчивые дѣтскіе глаза.

И при этомъ и онъ и она говорятъ въ одно и то же время, ужасно волнуясь, убѣждая и сердясь. А наши второкурсники наблюдаютъ молча эту сцену.

— Бызыбразіе!—вопитъ болгарка.—Бызыбразіе чыстые! Я ей ковырыла: носи три картошки, одна Рудольфу, двэ мнэ. А если она двухъ прынысла, такая глупая, двѣ мои, а тебѣ другая пырожки можно.

— Не хочу я другого пирожка! Принципіально не хочу, потому что это несправедливо,—возмущенно протестуетъ Рудольфъ.—А я всегда стою за справедливость и за принципъ. Поймите вы это, дикая вы, некультурная дѣвица.

— Нэ правда!—ударяя себя одной рукой въ грудь, а другою притягивая къ себѣ злополучную корзину,—взвизгнула не своимъ голосомъ Султана,—пойми, глупый человѣкъ, когда не три, а двэ принесла—мои это...

— Нѣтъ, половина моя. Принципіально моя!—не соглашается Рудольфъ.

— Что такое? Что у нихъ?—тихонько спрашиваю я Шепталову, у которой на лицѣ выражена высокая степень раздраженія.

— Богъ знаетъ что! Они готовы подраться изъ-за пирожныхъ, изъ-за ромовыхъ картофелинъ, которыхъ Мотя принесла по ошибкѣ двѣ вмѣсто трехъ, а просили ихъ Вася и Султана.

— Это дѣлается, въ сущности, забавнымъ,—цѣдитъ сквозь зубы Костя Береговой и, изображая какого-то фата, достаетъ пенснэ и съ комическимъ видомъ надѣваетъ его на носъ.

— Н-да, недурно,—баситъ Бобъ.—Интеллигентные артисты и взрослые люди ссорятся изъ-за ромовой картошки!

— Случай неслыханный!—поясничаетъ Ѳедя.

— Шутки здѣсь неумѣстны. Я не понимаю, какъ можно смѣяться надъ этимъ,—звучатъ по комнатѣ низкія ноты голоса Сани.

— Возмутительное безобразіе! Несносно и противно смотрѣть на это!—раздраженно говоритъ Боря Коршуновъ.—Маруся!—зоветъ онъ Алсуфьеву,—мнѣ надо

тебѣ что-то сказать,—и онъ приглашаетъ ее въ корридоръ.

— Султана,—бросаетъ на ходу Маруся,—не дѣлай глупостей, а ты, Вася Рудольфъ, уступи ей.

— Ни за что! Принципъ долженъ быть выше всего.

— Ахъ ты, Господи,—вмѣшиваюсь я, теряя терпѣніе.—Не срамитесь, друзья мои. Я иду отыскивать Мотю, и она принесетъ вамъ еще пол-дюжины картошекъ, если хотите...

— Съ ромомъ,—прибавляетъ плачущимъ голосомъ Бобъ.

— Не хочу пол-дюжины! Хочу свои, который здѣся въ корзинѣ!—заявляетъ упрямо болгарка и, приблизивъ къ самому лицу Рудольфа свое раскраснѣвшееся до неузнаваемости лицо, визжитъ фальцетомъ:

— Не отдашь?

— Нѣтъ!—рѣшительно отвѣчаетъ Вася.

— Не отдашь? Еще тоби говору!

— Нѣтъ.

— Нѣтъ?

— Ни за что на свѣтѣ.

— Такъ вотъ же тыбѣ!

Неожиданно смуглая рука поддаетъ снизу корзинку, и взлетаютъ къ потолку всѣ ромовыя бабы, картошки и мокка, а затѣмъ мягко шлепаются объ полъ.

— Ай!—вскрикиваемъ мы, не ожидавшіе такого «финала».

— Вотъ тоби! Тэпырь кушай на здоровья!—торжествуя, прибавляетъ съ самымъ воинственнымъ видомъ Султана, указывая пальцемъ на жалкіе остатки содержимаго корзины.

— Это возмутительно!—сердито говоритъ Саня.— Дикая ты женщина, Султана, что ты надѣлала! Но и ты тоже хорошъ, нечего сказать, Вася. Какое непростительное упрямство!

— Не упрямство, а принципъ,—все еще красный и возбужденный, говоритъ Рудольфъ.

— Господа, Владимиръ Николаевичъ пришелъ. Ступайте внизъ на сцену,—просовывая голову въ музыкальную, произноситъ Викторія Владимировна Ювенъ.

Хорошіе господа! Точно маленькіе школьники, дѣти!

Случаются же подобные инциденты въ средѣ взрослыхъ, уже окончившихъ среднюю школу людей!

Лишь бы «маэстро» не узналъ этого.

* * *

На образцовой сценѣ идетъ классическая трагедія «Борисъ Годуновъ». Мы должны изображать часть толпы: бояръ и боярынь, крестьянъ и крестьянокъ.

Передъ началомъ спектакля намъ выдали костюмы, указали, гдѣ одѣваться, гдѣ и какъ размѣститься на сценѣ.

Не знаю, какъ другіе, но я чувствовала невольный

трепетъ, входя на эти подмостки, гдѣ гремятъ имена большихъ свѣтилъ.

Игравшій Годунова Дальскій, съ его нервнымъ лицомъ и зоркими соколиными глазами, поражалъ зрителей каждымъ своимъ словомъ. Во время тѣхъ картинъ, въ которыхъ мы не были заняты на сценѣ, мы съ Ольгой съ замираніемъ сердца слѣдили за его игрой, примостившись у послѣдней кулисы. Какая мощь, сила! Какой огонь!

Мимо насъ близко-близко прошла дама въ нарядномъ собольемъ манто.

— Это Марія Гавриловна Савина,—шепнула Ольга.—Она не занята сегодня. Вѣрно, пріѣхала смотрѣть.

Я никогда еще въ жизни такъ близко не видѣла великой артистки и впилась въ ея лицо.

Какіе глаза! Въ нихъ живетъ цѣлый міръ поминутно смѣняющихся впечатлѣній. Когда смотришь въ нихъ, кажется, что эта, по годамъ уже немолодая, женщина еще очень молода. И вѣришь, понимаешь, что эти глаза въ состояніи подчинять себѣ толпу одною слезинкой или одной искоркой смѣха...

Мы низко присѣли передъ нею, воздавая дань ея необыкновенному таланту.

— А! васъ тоже потревожили, mesdames,—кивнувъ намъ головою, произнесла своимъ особеннымъ, отличающимъ ее отъ другихъ тономъ знаменитая артистка.

Мы не успѣли отвѣтить, потому что какъ разъ въ

это время прозвенѣлъ колокольчикъ, и помощникъ режиссера потребовалъ насъ на сцену.

* * *

Какая огромная толпа! Сколько статистовъ и статистокъ! Кромѣ статистовъ, участвуетъ цѣлая рота солдатъ, переодѣтыхъ въ боярскіе и другіе костюмы. Сколько народу! Курсовые совсѣмъ замѣшались, потерялись въ этой толпѣ.

Мы съ Ольгой, одѣтыя въ крестьянскія платья, со спущенными косами и съ загримированными лицами, держимся крѣпко за руки, чтобы насъ не разъединили. Мимо пробѣгаетъ какой-то оборванецъ съ багровымъ лицомъ и звѣрскимъ выраженіемъ глазъ.

— Вотъ вы гдѣ, голубушки!—шипитъ онъ зловѣщимъ шопотомъ.—Добрался я до васъ!

Узнаю его сразу. Это—Бобъ!

— Бобъ, это—ты?

— Онь самый!—соглашается покорно мой товарищъ.

Взивается занавѣсъ. Мы всѣ на колѣняхъ передъ тономъ, мы—голодная толпа, пришедшая на дворъ къ царю Борису Годунову. Толпа гудитъ... И въ этомъ молящемъ гулѣ есть что-то жуткое...

Мнѣ передается напряженіе царя Бориса и другихъ артистовъ, и, забывъ все, я перевоплощаюсь, ухожу въ

далекое прошлое Россіи... Чувствую по глазамъ Ольги, что и съ ней то же. Мы обѣ горимъ.

А толпа гудитъ и молитъ... Хорошо и жутко...

* * *

Изъ театра меня провожаютъ домой Вася Рудольфъ и Ольга. По дорогѣ разсказываю Васѣ о предложеніи Дашковской и Наташи и о данномъ мною согласіи.

Онъ смотритъ неодобрительно и укоризненно качаетъ головой.

— Это нечестно,—говоритъ онъ.—Нечестно обманывать «маэстро»... Вѣдь онъ намъ вѣритъ.. Нехорошо... Мнѣ бы тоже хотѣлось осуществить свою мечту: теперь же пріобрѣсти свой театръ, собрать труппу и играть. На это у меня есть даже деньги. Но я этого не сдѣлаю, вѣдь я...

— Ты извѣстный тихоня и примѣрный пай-мальчикъ!—прерываю я его насмѣшливо.—Куда ужъ намъ до тебя!

— Не надо смѣятся,—говоритъ онъ серьезно.

— Увы! Это правда!—возражаю я.

— Дѣти мои! Не ссорьтесь. Смотрите, сколько звѣздъ въ вышинѣ. Звѣзды—цвѣты январскаго неба; сколько радостной ласки въ ихъ мерцающихъ очахъ,—вмѣшивается въ разговоръ Ольга, сама точно сказка въ своей бѣлой кроликовой шапочкѣ на черныхъ волосахъ.

Вдругъ она вспоминаетъ.

— Вася, ты уважаешь Саню Орлову? Вѣдь она самая серьезная и принципіальная изъ насъ.

— Ужасно уважаю,—сразу соглашается Вася.—Да, уважаю,—подтверждаетъ онъ еще разъ какъ бы про себя.

— А она играетъ давно за Невской заставой,—съ торжествомъ преподноситъ Елочка.

— А... Я этого не зналъ,—послѣ долгаго молчанія говоритъ Рудольфъ.

— Ага!

— Ну, я и ея не одобряю. И это нечестно и нехорошо. Разъ «маэстро» требовалъ, чтобы мы до поры до времени не выступали самостоятельно, и вѣритъ намъ, то... то...—говоритъ онъ снова, но уже тихо, почти чуть слышно.

— Спокойной ночи, умный, послушный мальчикъ,—произношу я, останавливаясь у воротъ и пожимая имъ руки.—До завтра, Ольга.

Потомъ, осторожно открывъ дверь своимъ ключомъ, пробираюсь къ себѣ на цыпочкахъ, чтобы не разбудить своихъ.

На столѣ ждетъ меня холодная котлета и стаканъ молока. Изъ кухни доносится храпъ Анюты. Въ дѣтской шевелится «сіятельная» нянька и дышитъ мой «принцъ». Иду туда и застываю на мигъ надъ кудрявой головкой. Раскраснѣвшееся прелестное личико сладко улыбается во снѣ, обнаживъ бисеръ мелкихъ бѣлыхъ зубокъ.

Наклонясь, затаивъ дыханіе, крещу и цѣлую его... И опять смотрю, смотрю ненасытно...

— Спи, обожаемое дитя мое, спи! Пусть золотые дѣтскіе сны витаютъ вокругъ твоей свѣтлокудрой головки!

III.

Тихій зимній вечеръ. Тихій, и холодный, и сумрачный. Хотя еще только пять часовъ, но на улицахъ ночная тьма, и фонари на каждомъ шагу борются съ нею.

Сидимъ въ узкихъ длинныхъ саняхъ, въ «Ноевомъ ковчегѣ», какъ называетъ нашу повозку вся труппа Дашковской, Богъ вѣдаетъ какимъ способомъ попавшемъ сюда, въ центръ просвѣщенія, въ столицу. Чухонецъ съ невозмутимо спокойнымъ лицомъ и трубкой-носогрѣйкой, крѣпко зажатой во рту, везетъ насъ, т. е. всю труппу или, по крайней мѣрѣ, большую половину труппы,—въ театръ на Пороховые заводы.

Въ сани, предназначенныя на восемь человѣкъ, насъ набилось двѣнадцать: Евгенія Львовна Дашковская, тридцатилѣтняя блондинка съ симпатичнымъ свѣжимъ лицомъ и прекрасными синими глазами; комическая старуха—панна Ванда Занчковская, пожилая дама, когда-то славившаяся своей красотой; Наташа Перевозова, шаловливо выглядывающая изъ мѣхового воротника своей шубы; молоденькая дѣвочка Маня Кондырева, играю-

Сидимъ въ узкихъ длинныхъ саняхъ...

щая роли юныхъ дѣвушекъ; сестра Дашковской, серьезная и тихая Людмила Львовна, любительница, исполняющая крошечныя роли; суфлеръ—самое важное лицо въ труппѣ, худой, желчный, вѣчно чѣмъ-то недовольный господинъ; «герой» Кремневъ, высокій, черноглазый молодой человѣкъ; комикъ Чаховъ, врачъ по профессіи, любитель, но превосходящій своимъ талантомъ настоящаго большого артиста; Боръ-Ростовскій, по происхожденію кавказецъ, помощникъ Дашковской по постановкѣ и тоже актеръ; Бековъ, спокойный, серьезный молодой человѣкъ, полупрофессіоналъ-артистъ, полулюбитель, и Толинъ, жизнерадостный, подвижной юноша, играющій съ Маней Кондыревой веселые водевили.

Несмотря на самый непріятный и неудобный способъ передвиженія въ неуклюжихъ открытыхъ саняхъ при двадцатиградусномъ морозѣ, мы всю дорогу хохочемъ. На репетиціяхъ въ квартирѣ Евгеніи Львовны мы всѣ успѣли перезнакомиться и подружиться и теперь чувствуемъ себя прекрасно, какъ давнишніе знакомые.

Боръ-Ростовскій, не говоря ни слова, улегся посреди насъ прямо на дно саней, увѣряя, что такъ ему и удобнѣй, и теплѣй. Крошечный по росту, неистощимо веселый докторъ Чаховъ смѣшитъ насъ своими анекдотами.

Въ томъ мѣстѣ, гдѣ теперь Охтенскій мостъ, намъ предстоитъ переправа по льду черезъ рѣку, чтобы попасть на противоположную сторону, на Охту, гдѣ помѣщается Пороховой театръ.

Толинъ пресерьезно увѣряетъ всѣхъ, что когда они ѣхали обратно въ прошлую субботу, ледъ на Невѣ подъ ихъ возкомъ трещалъ самымъ зловѣщимъ образомъ.

— А сегодня онъ уже провалится непремѣнно,— заявляетъ онъ, вздыхая.

— То есть, какъ же это?—охаетъ перепуганная панна Ванда.

— Очень просто. Возьметъ и провалится... И нашъ Ноевъ ковчегъ провалится тоже...

— Вмѣстѣ съ нами?—ужасается младшая Дашковская.

— Разумѣется,—говоритъ серьезно Чаховъ.—А почему бы ему провалиться безъ насъ?

— Обязательно,—поддакиваетъ Толинъ.

Панна Ванда волнуется ужасно. Мы смѣемся. Наконецъ, она начинаетъ соображать, что все это шутка, и обрушивается гнѣвомъ на Толина:

— Пойди сюди, скверный мальчишка, я тебѣ уши надеру, чтобы ты не смѣлъ смѣяться надъ старшими.

— Извольте,— какъ бы плачущимъ голосомъ говоритъ Толинъ.

Панна Ванда Занчковская, очевидно, добросовѣстно воспользовалась правами «старухи».

— Ай-ай-ай!—слышится въ темнотѣ.—Да пустите же! Да что вы, въ самомъ дѣлѣ! Что это за глупыя шутки!

Боже! Какой сюрпризъ! Вмѣсто уха веселаго юноши

Толина, подъ энергичными пальцами панны Ванды очутилось ухо случайно наклонившагося суфлера, желчнаго, всѣмъ и всѣми недовольнаго господина. Онъ возмущенъ. Панна Ванда сконфужена. Витя Толинъ подпрыгиваетъ, обуреваемый неудержимымъ хохотомъ. Мы едва въ состояніи удержаться отъ смѣха.

— Ну ужъ ты меня прости, батюшка, старуху: ужъ такъ вышло случайно, по близорукости. А бѣсенку этому я все-таки, какъ пріѣдемъ, уши нарву,—совсѣмъ сконфуженная, лепечетъ старуха.

На «страшномъ» мѣстѣ она все-таки вылѣзаетъ изъ возка и идетъ, опираясь на руку маленькаго Чахова, по льду до самаго берега.

Ровно въ семь мы подъѣзжаемъ къ «театру» на Пороховыхъ и направляемся прямо на сцену. Я, Наташа, Толинъ и Маня Кондырева начинаемъ тотчасъ же прыгать по сценѣ, взявшись за руки, чтобы размять и согрѣть затекшія и окоченѣвшія ноги. Въ началѣ восьмого у насъ назначена репетиція.

До сихъ поръ я говорила на всѣхъ предыдущихъ репетиціяхъ вполголоса, смущаясь каждаго взгляда, краснѣя отъ каждаго слова, произнесеннаго присутствовавшими въ сторонѣ, относя это все на собственный счетъ. Но сейчасъ я хотѣла попробовать себя «во всю полноту роли», какъ это принято называть на театральномъ языкѣ, и начала говорить громко, во весь голосъ и съ настроеніемъ.

— Не совѣтую надсаживаться, а то выдохнетесь къ спектаклю,—предупредилъ меня Кремлевъ, опытный и хорошій артистъ.

Къ девяти часамъ театръ сталъ наполняться. Приставивъ глаза къ дырочкѣ, продѣланной въ занавѣсѣ, я принялась разсматривать зрительный залъ. Боръ-Ростовскій уставлялъ позади меня сцену для первой пьесы и, по обыкновенію, неистово горячился. Гдѣ-то близко шумѣли плотники и «освѣтители», гдѣ-то рядомъ ставили тяжелыя, пестро расписанныя кулисы. Я ничего не слышала, ничего не понимала. Я видѣла только густую темную толпу, которая вливалась сквозь главныя, широко раскрытыя двери театра. Здѣсь была и интеллигентная администрація Пороховыхъ заводовъ, и мелкіе служащіе, и учителя рабочей школы, и сами рабочіе. Послѣдніе преобладали своимъ числомъ. Ихъ легко было узнать по усталымъ, угрюмымъ и чѣмъ-то глубоко озабоченнымъ лицамъ, по скромной одеждѣ мужчинъ и женщинъ. Они шли сюда въ театръ отдохнуть отъ тяжелаго дневного труда, съ робкой надеждой развлечься немного, забыть хоть на одинъ вечеръ постоянную борьбу за существованіе, лишенія, болѣзни, наконецъ, тяжелый крестъ нужды, который многіе изъ нихъ несли...

Я вспомнила слова нашего «маэстро»—«Театръ долженъ оздоравливать толпу, ихъ тѣло и душу, наглядно, на примѣрахъ показывать ей лучшія стороны жизни и

порицать пороки... Давать бѣднымъ, усталымъ и измученнымъ людямъ часы радости, покоя и сладостнаго отдыха отъ труда». И при видѣ этой темной толпы бѣдно одѣтыхъ людей, въ моей душѣ поднималось и вырастало желаніе играть для нихъ и для нихъ только.

— Пора одѣваться,—прервалъ мои мысли Боръ-Ростовскій, бѣгая по сценѣ со стаканомъ остывшаго чая, котораго онъ не могъ никакъ допить въ суетѣ и работѣ.—Пьеса, въ которой вы играете, идетъ второй. Мы начинаемъ черезъ пять минутъ.

Я покорно иду въ скромную уборную, настоящую уборную маленькаго провинціальнаго театра. Тамъ уже почти готовыя сидятъ Наташа, Маня, панна Ванда и Людмила Дашковская въ костюмѣ горничной. Въ уборной холодно, пахнетъ копотью и духами. Щелкая зубами и размахивая закоченѣвшими руками, какъ это дѣлаютъ извозчики на морозѣ, Маня Кондырева прыгаетъ на одной ногѣ, приговаривая:

— Адски холодно, адски! И что за глупая манера не топить печей!

— А пожары лучше по-вашему?—усмѣхается панна Ванда.

— Теплѣе!—хохочетъ Наташа.

— Господа, кто занятъ въ первой сценѣ, пожалуйте на сцену!—кричитъ Боръ-Ростовскій, и его колокольчикъ оглушительно заливается на весь театръ.

Всѣ выходятъ изъ уборной, наскоро заглянувъ въ

зеркало, стоявшее въ углу, и оправивъ свои костюмы. Я же начинаю гримироваться. Времени у меня достаточно. Первая пьеса въ трехъ актахъ. Потомъ идетъ одноактная драма «Нежданный гость», въ которой участвую я.

Еще недавно я участвовала въ любительскихъ спектакляхъ въ миломъ Царскомъ съ моимъ рыцаремъ Трумвилемъ, полковыми его товарищами и знакомыми барышнями и дамами*). Но веселый, безплатный любительскій спектакль, гдѣ судьями и цѣнителями являются свои же родственники и знакомые, ничто въ сравненіи съ этимъ «настоящимъ» театромъ, съ настоящей публикой, толпой усталаго рабочаго и служащаго народа, которую необходимо захватить своею игрою, подчинить себѣ, заставить повѣрить въ искренность переживаній артиста. Я чувствую, какъ при одной мысли объ этомъ душа у меня уходитъ въ пятки, а сердце то дѣлаетъ по нѣсколько лишнихъ толчковъ противъ обыкновенія, то затихаетъ совсѣмъ, такъ что я его едва слышу...

Закончивъ гримировку и одѣванье при помощи «пороховской» горничной, какъ манекенъ, съ похолодѣвшими конечностями, подхожу къ зеркалу и смотрю на свое преобразившееся отъ грима лицо, съ удлиненными глазами, блѣдными щеками и заалѣвшимся ртомъ. Вздрагиваютъ черныя насурмленныя черточки бровей, вздрагиваютъ губы.

— Если такое состояніе продлится,—вихремъ про-

*) Смотри повѣсть: «На всю жизнь».

носится у меня въ мозгу,—я ни слова не смогу произнести на сценѣ.

Мой взглядъ падаетъ на образокъ Николая Чудотворца, который я всюду беру съ собою и который въ крошечномъ складнѣ стоитъ прислоненный къ моему гримировальному ящику.

— Господи!—шепчу я,—Отче Николае Чудотворче, умоли за меня, грѣшницу, Творца нашего, да поможетъ Онъ мнѣ! Не для радостей, не для удовольствія пришла я на сцену, а чтобы мальчика, ребенка моего, поднять на ноги, работать наравнѣ съ мужемъ и на свой трудъ воспитывать сына и, если еще возможно, создать себѣ хотя маленькое имя на поприщѣ искусства, которое я обожаю... Ты видишь все. Сдѣлай же, чтобы люди поняли и оцѣнили меня...

Я крещусь нѣсколько разъ и цѣлую иконку. Потомъ сажусь успокоенная и ободренная и жду своей очереди.

* * *

Какъ оглушительно играетъ оркестръ! Какъ гулко трубятъ трубы!

Толпа за занавѣсомъ шумитъ, какъ море. Черезъ пять минутъ этотъ занавѣсъ опять взовьется, и я начну пьесу.

Въ ней, въ этой пьесѣ, переведенной съ французскаго, говорится о томъ, какъ одинъ человѣкъ совершилъ случайно, не по своей волѣ, крупное преступле-

ніе и былъ сосланъ за это на галеры. У него осталась совсѣмъ юная жена. Она долго горевала и плакала, не осушая глазъ, по своемъ мужѣ. Она очень нуждалась, ей нечѣмъ было жить. И вотъ приходитъ извѣстіе, что ея дорогой ссыльный умеръ. Погоревавъ о немъ, она выходитъ замужъ за другого, дѣлается богатой, всѣми уважаемой женщиной и матерью двухъ прелестныхъ дѣтей. И вдругъ, въ разгаръ полнаго покоя и благополучія, является нежданный гость, мнимоумершій первый мужъ, вѣсть о смерти котораго оказалась ошибочной. Онъ прощенъ, возвращенъ изъ ссылки и зоветъ жену къ себѣ. Тутъ-то и начинается страшная, потрясающая драма молодой женщины. Съ одной стороны, долгъ, чувство благодарности и уваженія ко второму мужу и безумная любовь къ дѣтямъ, а съ другой—мучительная жалость и глубокая привязанность къ возвращенному изъ ссылки. Терзанія ея велики. Она не выдерживаетъ, и умираетъ. Чуткое сердце разрывается, какъ струна, отъ непосильной борьбы и горя...

Я бѣгло повторяю роль въ головѣ... Знакомый приступъ ужаснаго, все подавляющаго, все убивающаго страха переворачиваетъ все мое существо.

Опять этотъ страхъ, опять... Хочется убѣжать со сцены, малодушно спрятаться въ темномъ уголкѣ театра, упросить оставить меня въ покоѣ.

Я уже приподнимаюсь съ кресла съ явнымъ намѣреніемъ исполнить задуманную мною дикую выходку,

но точно путы прирастаютъ къ моимъ ногамъ, и свинцовыя гири повисаютъ на тѣлѣ. Кто-то внутри меня грознымъ повелительнымъ голосомъ командуетъ:

— Ни съ мѣста!

И, какъ скованная по рукамъ и ногамъ, я замираю. Съ тихимъ шорохомъ ползетъ занавѣсъ вверхъ... Оркестръ давно умолкъ... Пьеса начинается...

IV.

Пьеса начинается...

Но—увы!—у меня, главнаго дѣйствующаго лица ея, всѣ слова и фразы въ мигъ вылетѣли изъ памяти, и въ головѣ моей пусто, а въ душѣ такой безпросвѣтный, такой ни съ чѣмъ несравнимый ужасъ, что вотъ-вотъ, кажется, сердце должно дрогнуть и разорваться на тысячу клочковъ.

Я сижу на сценѣ, но... не въ состояніи выговорить ни одного слова.

Желчный суфлеръ, сейчасъ красный, какъ піонъ, высовывается изъ будки и шипитъ, нервно теребя бороду и глядя мнѣ въ лицо дико вытаращенными глазами:

— Что же вы? Говорите! Да начинайте же вашу роль!

Увидя, наконецъ, это полное ужаса лицо и чуть ли не выкатившіеся глаза, я прихожу въ себя и залпомъ, скороговоркой произношу первую фразу.

— Какой фальшивый, дикій, невѣрный тонъ!—говоритъ внутри меня чей-то, точно не мой, голосъ.—Ты провалишь, обязательно провалишь роль...

Мгновенно взоръ мой устремляется черезъ рампу. Въ полутемной залѣ—цѣлое море головъ, усталыхъ, измученныхъ повседневнымъ трудомъ, заботами и лишеніями, головъ трудового рабочаго люда. Сюда сошлись послушать, посмотрѣть пріѣхавшую изъ «города» (какъ они называютъ главную часть Петербурга по ту сторону рѣки) труппу, а я, вмѣсто радости и утѣшенія, хочу поднести имъ отвратительную, ни уму, ни сердцу ничего не говорящую игру.

— Невозможно это! Опомнись, Лида!

Вспыхиваю подъ гримомъ и вся заливаюсь жгучимъ стыдомъ.

Какъ разъ въ эту минуту на сцену выбѣгаютъ дѣти, мои дѣти по ходу пьесы. Какой-то буйный, все сокрушающій на своемъ пути валъ подхватываетъ меня, побѣждаетъ страхъ, жуть, малодушіе и трепетъ и поднимаетъ меня на своемъ ликующемъ гребнѣ.

Дѣти всегда были дороги мнѣ и будили во мнѣ чувство умиленія и нѣжности, а тутъ эти двое малютокъ, взятыхъ Дашковской изъ какой-то рабочей семьи, эти милыя дѣтишки, особенно мальчикъ, отдаленно напоминаютъ мнѣ маленькаго принца. Эти дѣти дороги мнѣ, какъ свои собственныя. Да, свои, потому что теперь, на сценѣ, я не Лида Чермилова, не тоненькая

Брандегильда изъ замка Трумвиль, а героиня пьесы— Алиса Гранье, француженка.

Быстро поднимаюсь съ кресла, раскрываю объятія и обнимаю дѣтей. Болтаю съ ними весело и непринужденно. Входитъ мужъ, актеръ Бековъ... Говорю съ нимъ о хозяйствѣ и коммерческихъ дѣлахъ, которыя онъ ведетъ. И опять смѣюсь и играю съ дѣтьми вплоть до ихъ ухода на прогулку.

Теперь мой голосъ звенитъ иначе. И въ сердцѣ ни тѣни страха. Алисѣ Гранье нечего бояться, а маленькая трусиха Лида Чермилова исчезла. Ея нѣтъ, нѣтъ сейчасъ.

Тамъ, за рампой, притаивъ дыханіе, замерла темная толпа. Каждое мое слово ловится налету благодарной и нетребовательной публикой. И я ясно чувствую, какъ тонкія, невидимыя нити перебрасываются отъ меня черезъ рампу и соединяются съ тѣми, которыя тянутся ко мнѣ оттуда, изъ этой темной залы, притихшей сейчасъ, какъ будто не дышащей.

Ходъ дѣйствія достигаетъ высшей точки своего развитія. Появляется ободранный, страшный, весь въ заплатахъ и отрепьяхъ, заросшій волосами, полуживой отъ пережитыхъ страданій, Жакъ Гранье, и начинается трагедія души Алисы.

Съ момента перваго крика отъ неожиданности, испуга и радости свиданія съ первымъ, мнимоумершимъ мужемъ я уже не живу, а горю, киплю въ какомъ-то

ужасномъ клокочущемъ котлѣ. Вся дрожа, страдая и терзаясь, я стою между двумя людьми: около одного изъ нихъ мои дѣти, около другого его страданія, притягивающія меня къ нему...

Я чувствую, какъ холодѣютъ мои руки, а горячая кипучая пѣна заливаетъ душу восторгомъ истиннаго переживанія, какъ жгуче трепещетъ и бьется мое сердце... Судороги свели мои захолодѣвшіе пальцы... Мутится, туманится голова, и звонъ въ ушахъ оглушаетъ меня...

Я хватаюсь за спинку стула, потомъ, протянувъ впередъ руки, дѣлаю шагъ къ тому, кто жалче, несчастнѣе, кто болѣе одинокъ и убитъ сейчасъ. Губы мои безпомощно раскрываются и испускаютъ вопль, дикій, отчаянный вопль безпросвѣтнаго, неутѣшнаго страданія.

И, согласно указаніямъ автора пьесы, я, какъ подкошенная, валюсь на коверъ...

* * *

Кто это? Кто шумитъ тамъ за спущеннымъ занавѣсомъ?

Что это плещетъ тамъ, точно море своимъ прибоемъ?

Ахъ, да это публика. Снисходительная, добрая публика. Милая публика! Какъ она аплодируетъ! О, спасибо вамъ, спасибо, хорошіе, славные люди!

Чья-то рука съ силой поднимаетъ меня съ пола, и злое взбудораженное лицо Кремлева, игравшаго ссыльнаго, наклоняется ко мнѣ.

— Безобразіе,—шипитъ онъ,—это не исполненіе, это Богъ вѣсть что такое! Какъ можно такъ не управлять своими нервами. Да вы мнѣ всю сцену испортили! Ни одной реплики не подали, какъ слѣдуетъ. Актриса тоже... и къ чему, спрашивается, лѣзетъ на сцену эта молодежь?

— Я провалила роль?—спрашиваю я съ округлившимися отъ ужаса глазами.—Да?

— А вы какъ думали?—отвѣчаетъ онъ со злымъ взглядомъ.

— А зачѣмъ же они тамъ такъ волнуются и аплодируютъ?—робко освѣдомляюсь я.

— Потому что ничего не понимаютъ,—отрѣзываетъ мой мучитель.

Должно быть, они, дѣйствительно, ничего не понимаютъ, потому что аплодисменты переходятъ въ какой-то трескъ, крики одобренія въ отчаянный рокотъ, въ ревъ какой-то. Только непосредственные люди умѣютъ такъ восторгаться и одобрять.

— Идите же, Лида. Васъ вызываютъ.

— Чермилова! Кремлевъ! Кремлевъ! Чермилова!—гудитъ за рампой.

Занавѣсъ взвивается, и мы выходимъ.

Еще оглушительнѣе аплодисменты и крики...

Занавѣсъ опускается и снова поднимается.

Еще и еще.

Послѣ едва ли не десятаго моего выхода къ пуб-

ликѣ, кто-то хватаетъ меня по дорогѣ отъ уборной къ сценѣ, обнимаетъ и цѣлуетъ.

— Дѣтка моя! Прекрасно! Какой подъемъ!—кричитъ панна Ванда, и опять градъ поцѣлуевъ сыплется на меня.

Дашковская улыбается мнѣ и киваетъ:

— Недурно, молодая дебютантка. Только надо умѣть владѣть своими нервами, дыханьемъ и голосомъ. Но вы понравились публикѣ, это много значитъ, да и сыграли съ темпераментомъ и подъемомъ.

— Понравилась публикѣ? Сыграла хорошо?—спрашиваю я и прежде, чѣмъ она успѣваетъ предупредить мое намѣреніе, висну у нея на шеѣ и мажу ей своимъ гримомъ лицо и платье.

— Боже мой, да это одержимая какая-то! Возьмите ее отъ меня!—отмахивается она съ испугомъ.

— А въ театрѣ былъ кое-кто изъ прессы, значитъ, будетъ отчетъ въ газетѣ о нашемъ сегодняшнемъ исполненіи,—говоритъ Наташа Перевозова и, наклонивъ ко мнѣ свое лицо, добавляетъ лукаво:

— Нѣтъ! Какъ Кремлевъ злился-то! Я стояла у кулисъ. Но и вы хороши тоже, Лидочка, ни одной фразы, какъ слѣдуетъ, не сказали по пьесѣ, все отъ себя, все отъ себя!

— Провалила, значитъ?—срывается у меня упавшимъ шопотомъ.

— Да нѣтъ же, нѣтъ! Только надо умѣть владѣть

собою, не мѣшать игрѣ партнеровъ. Въ этомъ-то и есть истиный, неподдѣльный талантъ.

* * *

Ѣдемъ обратно тѣмъ же путемъ, въ томъ же допотопномъ ковчегѣ. Но уже не слышно обычныхъ шутокъ. Всѣ переутомлены спектаклемъ, всѣмъ хочется спать. Я одна, кажется, не могу забыться ни на мгновенье. Пережитое только что впечатлѣніе отъ перваго выступленія на сценѣ бурно клокочетъ въ моей груди. Все въ розовомъ сіяніи чудится будущее! Какъ опьяняюще дѣйствуетъ на юное существо первый успѣхъ.

«Конечно, я неважно играла,—разсуждаю я,—потому что мѣшала моимъ партнерамъ ничего и не сказала изъ того, что написано въ пьесѣ, но если я могу захватить зрителей, значитъ, я не бездарность. Надо только учиться, много учиться, и это главное. А тамъ...»

Подъ легкое поскрипываніе возка мечты мои разлетаются, какъ большія радужныя птицы... Будущее сіяетъ, какъ солнце. Маленькій принцъ, твоя мама сумѣетъ стать, такъ или иначе, человѣкомъ!

И я незамѣтно среди своихъ радужныхъ грезъ погружаюсь въ другія—сонныя грезы...

* * *

Боже мой! Что за толчокъ!

Я открываю глаза, потому что чей-то воротникъ

попадаетъ мнѣ въ ротъ своимъ мѣхомъ... Чья-то голова безпомощно мотается у моихъ ногъ. И что-то оглушительно больно ударяетъ меня по головѣ.

— Боже мой! Мы тонемъ! Ледъ трещитъ!—кричитъ панна Ванда и мечется въ темнотѣ возка.

Всѣ просыпаются сразу и волнуются не меньше панны Ванды. Что-то, дѣйствительно, трещитъ подъ нами.

— Чухонецъ! Эй, какъ тебя, Іоганъ, Адамъ, Петръ! Эй, скажи, что тамъ такое!—отчаянно барабаня въ спину возницы, вопитъ дрожащимъ голосомъ Боръ-Ростовскій.

Намъ видно при слабомъ свѣтѣ фонарей, гирляндой оцѣпившихъ дорогу, какъ нашъ возница поворачиваетъ голову къ намъ.

— Выходите!—говоритъ онъ кратко и флегматично.

— То есть, какъ это выходите,—возмущаемся мы,—среди ночи и на полдорогѣ?

— Выходите, а то провалимся!

— Провалимся?

— Провалимся!—звучитъ тотъ же флегматичный отвѣтъ.

Съ панной Вандой дурно. Дашковская въ истерикѣ. Кондырева жалобно плачетъ, по-дѣтски кулачками вытирая себѣ глаза. Я переживаю неменьшій ужасъ, сознавая, что мнѣ нельзя умирать, пока такъ малъ и не поставленъ еще на ноги маленькій принцъ.

Чаховъ, Бековъ, Ростовскій и Кремлевъ успокаиваютъ дамъ. Витя Толинъ бросается къ паннѣ Вандѣ и съ заботливостью сына выводитъ ее изъ нашего злополучнаго «Ноева ковчега».

Выходятъ и всѣ остальные. Ледъ продолжаетъ отчаянно трещать. Оказывается, нашъ возница спросонокъ свернулъ въ сторону и попалъ на участокъ, гдѣ берутъ ледъ по слоямъ и гдѣ онъ значительно тоньше, нежели на проѣзжей дорогѣ.

— Благодарите Бога,—говоритъ докторъ Чаховъ,—что во-время остановились еще. Впереди такая прорубь, что...

Онъ не договариваетъ, потому что женщины истерично вскрикиваютъ и заливаются плачемъ.

— Да плакать-то ужъ не стоитъ, опасность прошла, — комически прибавляетъ докторъ.

Пока чухонецъ пробирается на проѣзжую дорогу посреди рѣки, мы чинно шествуемъ въ тишинѣ, подавленные мыслью о томъ, что были на волоскѣ отъ гибели. Потомъ снова занимаемъ свои мѣста и ѣдемъ. Но уже склонности ко сну ни у кого изъ насъ нѣтъ. Чаховъ съ Толинымъ снова развлекаютъ компанію со свойственнымъ имъ юморомъ.

Когда, завезя по дорогѣ ближайшихъ попутчиковъ, Евгенія Людвиговна Дашковская съ ея сестрою подъѣзжаютъ къ дому въ Кузнечномъ, гдѣ я живу, я неожиданно получаю приглашеніе отъ антрепренерши

участвовать у нея на Пороховыхъ еженедѣльно, а лѣтомъ поѣхать съ нею и ея труппой играть въ ея театрѣ, въ дачной мѣстности на станціи Сиверской.

Я, разумѣется, безумно радуюсь такому приглашенію и даю свое согласіе, не раздумывая ни минуты.

«Какой славный заработокъ впереди и сколько практики въ одно и то же время!—размышляю я.—Милая Брундегильда, вы родились положительно подъ счастливой звѣздой!»

V.

У насъ на курсахъ событіе.

Бобъ Денисовъ оказался настоящимъ прорицателемъ: Маруся Алсуфьева и Борисъ Коршуновъ—невѣста и женихъ.

Ихъ дружба укрѣпилась за послѣднее время и перешла въ тихую и прочную привязанность. Они преслѣдовали одну и ту же цѣль, горѣли одной и той же любовью къ искусству. Милая, веселая, какъ птичка, и всѣмъ всегда довольная Маруся, обладающая такимъ легкимъ характеромъ, сумѣла успокоить всегда угрюмаго, за послѣднее время ставшаго раздражительнымъ, общаго баловня Борю. Его талантъ и умъ такъ захватили душу молодой дѣвушки, что тяжелый, крутой характеръ вспыльчивость и раздражительность юноши не пугали ея.

Сказали «маэстро» объ этой свадьбѣ.

Тотъ скептически покачалъ головою.

— Учились бы лучше, курсы кончили, а то свадьбы затѣваете. Вотъ по окончаніи школы поженились бы— это другое дѣло. Впрочемъ,—прибавилъ онъ,—давай вамъ Богъ счастья. Только разрѣшитъ ли начальство!

Ходили къ управляющему школой—тотъ разрѣшилъ.

Свадьбу назначили въ самомъ непродолжительномъ времени, чтобы не задерживать подготовки къ экзаменамъ. Это была очень оригинальная свадьба. У жениха и невѣсты, кромѣ курсовыхъ стипендій, ничего нѣтъ. Придется жить на пятьдесятъ рублей въ двухъ маленькихъ, точно игрушечныхъ, комнаткахъ на одной изъ самыхъ отдаленныхъ улицъ Васильевскаго Острова. Но эти игрушечныя комнатки мать Маруси и родители Бориса убрали, какъ бонбоньерки.

Наканунѣ свадьбы Бобъ Денисовъ и Костя Береговой метались, какъ безумные, ища фраковъ, такъ какъ были приглашены держать вѣнцы въ качествѣ шаферовъ надъ головами жениха и невѣсты.

Султана, воспользовавшаяся танцовальными туфлями Лили, приставала къ Ольгѣ, чтобы та принесла ей свое бѣлое платье.

— Нэ бойся ты, ради Бога: отдамъ, какъ толки Маруса женыться на Борысѣ, такъ и отдамъ,—убѣждала она, то и дѣло ударяя себя въ грудь рукою.

Въ день свадьбы, утромъ, послѣ лекцій, Костя и Бобъ торжественно облачились въ раздобытые на прокатъ фраки, при чемъ Костя утонулъ въ своемъ новомъ

одѣяніи съ головой, а Бобу его костюмъ доходилъ чуть ли не до колѣнъ. Они долго щеголяли въ такомъ видѣ по «музыкальной», пока счастливый женихъ, осмотрѣвшій ихъ критическимъ окомъ, не завзъерошилъ свою красивую густую шевелюру и не произнесъ трагическимъ голосомъ:

— Богъ знаетъ, какъ мерзко. Вы не шафера, а оборванцы какіе-то!—И, неожиданно хлопнувъ себя ладонью по лбу, прибавилъ:

— Придумалъ! Придумалъ! Обмѣняйтесь вашими фраками.

— То есть какъ это обмѣняться?—недоумѣваетъ Береговой.

— Ахъ, Боже мой, что за безтолковщина, право... Ну, фраками обмѣняйтесь, — раздражается внезапно Боря.

Обмѣнъ совершается въ курильнѣ къ общему удовольствію. Теперь фраки пригнаны отлично, и никто не скажетъ, что они съ чужого плеча.

Послѣ занятій съ «маэстро», ѣдемъ одѣваться и одѣвать невѣсту. Ровно въ шесть назначено вѣнчаніе.

Я, Ольга, Саня и Лили съ Ксеніей сразу наполнили своимъ говоромъ уютную небольшую квартиру Марусиной матери.

Маруся совсѣмъ не похожа на взрослую барышню-невѣсту. Тотъ же милый ребенокъ выглядываетъ изъ-подъ бѣлой фаты и флеръ д'оранжеваго вѣнца.

Въ церкви Бобу непремѣнно хочется надѣть ей вѣнецъ на голову.

— Это къ счастью. Примѣта такая,—шепчетъ онъ, когда юная невѣста, въ знакъ своего протеста отчаянно, мотаетъ головой.

Маленькому Береговому ужасно трудно держать вѣнецъ надъ высокимъ Борисомъ. И рукавъ у фрака зловѣще трещитъ, когда онъ силится выше поднять руку.

Но кто себя чувствуетъ убійственно—такъ это Султана. Въ бѣломъ платьѣ Ольги, которое ей неимовѣрно узко, очень красная и разстроенная, потому что туфли съ крошечныхъ ножекъ Лили страшно жмутъ ей ноги, она то и дѣло дергаетъ меня за платье.

— Скоры кончатъ будутъ? Скоры? А то сапогы лопнутъ, что хорошаго!—шепчетъ она такъ громко, что кругомъ немногіе приглашенные оглядываются и улыбаются намъ.

А вѣнчанье идетъ торжественно, несмотря на скромную толпу гостей и на полупустую церковь. Всѣ свѣчи горятъ у иконъ. Всѣ свѣтильники зажжены. Небольшая церковь сіяетъ огнями и блескомъ своихъ образовъ и паникадилъ.

И какъ хороша эта юная брачущаяся пара, съ такой надеждой и радостью, такъ безстрашно глядящая въ свое будущее!—Онъ—талантливый, своеобразный, умный и благородный, съ печатью одухотворенности и безспорно недюжиннаго, крупнаго дарованія на лицѣ,

бодрый, впечатлительный и чуткій ко всему возвышенному, доброму и прекрасному; она—такая юная, свѣтлая, горячо вѣрующая въ свои силы и духовную силу своего избранника,—какъ они счастливы оба!

Смотрю на нихъ, внимательно прислушиваясь къ обряду, и вспоминаю свое собственное вѣнчаніе...

* * *

Въ двухъ комнатахъ-бонбоньеркахъ настоящій пиръ. «Молодые» точно играютъ въ хозяевъ. У нихъ и самое хозяйство точно игрушечное: крошечная посуда, миніатюрныя кукольныя чашечки и мебель точно для ребятъ. Но у «молодого» смѣлые, крупные размахи въ жизни. У него «орлиныя крылья», какъ выразился Бобъ. Это видно изъ его рѣчи, которую онъ произнесъ среди нашей маленькой толпы, вскочивъ на высокій табуретъ.

Онъ поведетъ свою избранницу Марусю въ чудесный храмъ искусства, гдѣ горятъ неугасимые огни и стелется къ небу голубой фиміамъ славы, гдѣ цвѣты и радость, гдѣ вѣчное пѣніе избранному божеству искусства, гдѣ нѣтъ ни горестей, ни печали.

О, онъ красиво говорилъ въ тотъ вечеръ, этотъ талантливый Борисъ!

Султана сильнѣе, чѣмъ когда-либо, ударяла себя въ грудь и вскрикивала отъ восторга:

— Эты хорошо! Эты хорошо! Очень хорошо эты!—

И въ результатѣ, отъ прилива восторга, разбила крошечную и хрупкую тарелочку для фруктовъ.

Мы поздно разошлись въ тотъ вечеръ.

Уходя и толкаясь въ маленькой прихожей, мы всѣ обратили вниманіе на болѣе чѣмъ легкій костюмъ Султаны: тоненькая осенняя драповая кофточка въ такую стужу!

— Вѣдь этакъ немудрено воспаленіе схватить!— возмущается Вася Рудольфъ шопотомъ, указывая глазами мнѣ, Санѣ и Ольгѣ на болгарку.—Подписку намъ что-ли сдѣлать на покупку для нея теплаго пальто.

— Подписку! А развѣ она деньги возьметъ?—шепчетъ «молодая», пользуясь случаемъ, когда болгарка скрылась за дверью.

— А сапоги чужіе вѣдь она носитъ и ѣстъ чужіе обѣды безъ спросу,—замѣчаетъ Береговой.

— И картошки тоже,—добавляетъ Крымовъ лукаво.

Вася Рудольфъ мгновенно краснѣетъ.

— Нѣтъ, подписку сдѣлать необходимо. Собрать денегъ и, чтобы она не знала отъ кого, послать ей,— говоритъ онъ тономъ, не допускающимъ возраженій.

— Ладно. У меня два цѣлкача на восемь дней. Все равно не дожить до отцовской присылки. Жертвую одинъ,—м шетъ своею длинною рукою Бобъ.

— За мной рупь-цѣлковый считайте,—вставляетъ Ѳедя.

— Собственно говоря... собст енно говоря, я не

прочь... но...—и, послѣ усиленнаго копошенія на днѣ своего кармана, Костя вытаскиваетъ какую-то мелочь и, отсчитавъ на ладони, передаетъ ее Рудольфу.

Мы всѣ даемъ, сколько можемъ. Рудольфъ, краснѣя, лѣзетъ въ кошелекъ. Чувствуемъ всѣ, что онъ дастъ много, гораздо больше, чѣмъ всѣ мы.

Молодые сговариваются между собою и исчезаютъ куда-то, а черезъ минуту Маруся приноситъ бѣлый конвертикъ и вручаетъ Васѣ.

— Отъ насъ,—говоритъ она просто и улыбается.

Выходимъ на улицу по обыкновенію гурьбою. Впереди, далеко передъ нами, при свѣтѣ фонарей, маячитъ высокая фигура въ бѣломъ Ольгиномъ платьѣ и драповой кофточкѣ, должно-быть, посинѣвшая отъ стужи.

— Вася,—говорю я, обращаясь къ Рудольфу,—если она когда-нибудь узнаетъ, что ты участвовалъ въ складчинѣ, да еще, кромѣ того, явился главнымъ зачинщикомъ этого дѣла, ея самолюбіе будетъ страдать. Тебѣ необходимо помириться съ нею.

— Необходимо,—подтверждаютъ всѣ.

— Да?

Глаза у Рудольфа растерянные и смущенные. Онъ никакъ не ожидалъ подобнаго оборота дѣла. Корректный и благовоспитанный нѣмчикъ до сихъ поръ не можетъ простить Султанѣ ея скандала съ ромовымъ пирожнымъ.

— Иди, иди, братъ, и мирись, какъ знаешь,—подталкиваетъ его Володя Карѣевъ.

— Въ самомъ дѣлѣ, Вася Рудольфъ, что тебѣ стоитъ, а это будетъ красиво и благородно,—вступается Лили Тобергъ.

— Конечно,—вторитъ ей Шепталова.

— Правда? А ты, Саня, что скажешь?—обращается онъ къ Орловой, авторитетъ которой признаетъ весь нашъ курсъ, всѣ мы.

Она серьезно смотритъ на него.

— Конечно, догони ее и протяни ей руку.

— Аминь! Да будетъ такъ!—баситъ Бобъ и вдругъ съ патетическимъ ужасомъ прибавляетъ:

— Лорды и джентльмены, а что, если она вцѣпится въ него?

Мы хохочемъ. Вася мчится галопомъ по тротуару и кричитъ во все горло:

— Султана! Подожди! Мнѣ надо тебѣ что-то сказать!

Маячившая вдали фигура неожиданно останавливается посреди тротуара.

— Ну, кончено теперь. Погибъ во цвѣтѣ лѣтъ нашъ Василій,—остритъ Ѳедя.

— Нда-а. Покажетъ она ему картошку,—соглашается Бобъ.

Но всѣ опасенія напрасны. Они возвращаются оба къ намъ, мирно разговаривая, какъ ни въ чемъ не бывало. И всѣ вмѣстѣ мы продолжаемъ путь.

VI.

Каждую субботу «Ноевъ ковчегъ» останавливается на Кузнечномъ передъ воротами дома, гдѣ я живу, и увозитъ меня въ Пороховой театръ. Приходится играть разныя роли, начиная съ четырнадцатилѣтнихъ дѣвочекъ и кончая семидесятилѣтними старухами, отъ сильно драматическихъ до самыхъ комическихъ. Вспоминаются слова маэстро о томъ, что артистъ долженъ умѣть играть все.

Иныя роли выходятъ у меня удачно, другія нѣтъ, но Дашковская и публика довольны мною, и я уже не порчу дѣла моимъ товарищамъ-артистамъ. И заработокъ мой увеличился немного. Теперь переводы отошли на второй планъ, и вся я отдаюсь любимому мною искусству,—съ постоянной мыслью о маленькомъ принцѣ.

Маленькій принцъ!

Онъ подросъ и окрѣпъ за эти два года. Прекрасно управляетъ своими ножонками и умѣетъ презабавно лепетать. «Сіятельная» нянька обращается съ нимъ великолѣпно, зато мнѣ самой дѣлаетъ жизнь невыносимой въ полномъ смыслѣ этого слова. Она не въ мѣру требовательна ко мнѣ, не считаётся съ моими скудными средствами и желаетъ, во что бы то ни стало, забрать меня въ руки. Особенно же не взлюбила она Анюту и каждую секунду бѣгаетъ жаловаться на нее мнѣ.

— Я жила у ея сіятельства, княгини М., у графини К., и у баронессы Н., и у генеральши Р., и у адмиральши С. и должна терпѣть дерзости отъ какой-то дѣвчонки!—шипитъ она мнѣ въ ухо, пока я, вся красная и вспотѣвшая отъ усталости, заканчиваю страницу перевода или штудирую роль.

— Ахъ, оставьте, няня. Вѣдь она нечаянно,—успокаиваю я,—ну, право же нечаянно. Анюта!—усталымъ голосомъ зову я,—чѣмъ вы опять обидѣли няню?

Анюта смотритъ на меня съ минуту такимъ взглядомъ, точно она бенгальскій тигръ изъ Британской Индіи, потомъ молча грозитъ въ ту сторону, гдѣ предполагается сейчасъ мѣстонахожденіе «сіятельной» няньки, а затѣмъ, выпустивъ изъ рукъ кастрюлю, заливается плачемъ.

— Царь Небесный! Мать Святая Богородица! Владычица, Заступница наша! Вотъ ужъ зелье-то къ намъ въ домъ попало! Жизнь мою изглодала она, баронесса эта. Кажинный день вспоминаешь Сашу. Анделъ Господень была. Родная ты наша! Веселится, чай, теперь твоя свѣтлая душенька на небесахъ!...

И она плачетъ горько, неутѣшно.

Саша! Свѣтлая милая Саша Всѣ уголки моей скромной квартирки еще полны твоимъ присутствіемъ. О, если бы мертвые могли воскресать и возвращаться въ прежнюю жизнь!

И приступъ тоски заливаетъ мое сердце.

Сажусь къ окну и смотрю на улицу, на маленькій палисадникъ, запушенный снѣгомъ и инеемъ, и передъ глазами рисуется легкій, воздушный обликъ... Я вижу синіе глаза Саши, ея румяное лицо, ея веснушки.

— Зачѣмъ ты ушла отъ насъ?—твержу я чуть слышно.—Зачѣмъ? Зачѣмъ?

Чье-то легкое прикосновеніе къ моей ладони заставляетъ сразу очнуться, придти въ себя.

Передо мной крошечная фигурка въ платьѣ дѣвочки, кудрявая свѣтлая головка, пытливые сѣрые глазенки и пухлый ротишко, уже сложенный въ плаксивую гримаску. Словомъ, онъ—маленькій принцъ.

— Мамочка плачетъ? Не плачь, мамочка, а то Юрикъ заплачетъ тоже...—говоритъ онъ своимъ необъяснимо чарующимъ для меня лепетомъ и безцеремонно карабкается ко мнѣ на колѣни.

О-о! радость моя! Подхватываю его на руки, такъ что пухлыя ножонки дрыгаютъ въ воздухѣ. Онъ съ упоеніемъ визжитъ на всю квартиру. Потомъ тѣсно-тѣсно прижимаю его къ себѣ такъ, что онъ морщитъ свой крошечный носишко.

— Хочешь играть съ мамой?—цѣлуя его щечки, лобъ, носишко и глазенки, спрашиваю я.

Его глазенки разгораются, какъ двѣ звѣздочки, и сіяютъ восторгомъ.

— Играть! Играть съ мамочкой!—лепечетъ онъ.

— Въ корабль?

— Въ корабль!—и первый бѣжитъ къ широкой турецкой тахтѣ.

Эта игра—наша любимая. И фантазія моя въ ней нестощима. Все окружающее сразу перестаетъ существовать для меня—«сіятельная» нянька, плачущая Анюта, маленькая квартирка, злободневныя заботы, трудъ, ученье, «Пороховые»—все, словомъ, кромѣ насъ обоихъ.

Брандегильда и маленькій принцъ, сынъ рыцаря Трумвиля, плывутъ на большомъ кораблѣ среди безбрежнаго океана, плывутъ въ счастливую страну. Въ счастливой странѣ земля изъ шоколада, и мармеладныя деревья, и конфетные домики. А рѣчки и озера изъ сиропа. Брандегильда говоритъ объ этомъ сыну. И маленькій принцъ съ широко раскрытыми глазами ловитъ каждое слово ея сказки... А корабль плыветъ. Ревутъ морскія волны, и счастливая страна уже близко... Очень близко... Чудесная, сладкая счастливая страна.

* * *

Кто бы могъ думать, что этотъ день, начавшійся такъ прекрасно, такъ тяжело и грустно закончится для бѣдныхъ второкурсниковъ. Утромъ, были лекціи какъ всегда. До экзаменовъ осталось какихъ-нибудь два мѣсяца, и то неполныхъ.

Снова мартъ на дворѣ. Снова пахнетъ весною. Снова улыбается намъ издали предстоящее свободное лѣто, которое рѣшено нами «практиковать». О предо-

стереженіяхъ маэстро и его запретахъ словно всѣ вовсе и позабыли. Уже разъ отвѣдавъ сладкаго плода, нельзя остановиться, чтобы не лакомиться имъ постоянно.

Мы всѣ, кромѣ Васи Рудольфа, теперь играемъ. Даже Оля, промѣнявшая свои вечернія занятія на участіе въ спектакляхъ въ народномъ театрѣ за Невской заставой, даже Ксенія и Лили. Одинъ Вася держится стойко, вѣрный своему слову. Да еще въ силу невозможности, благодаря своему ужасному выговору, не играетъ болгарка. Кстати сказать, послѣдняя, получивъ отъ «неизвѣстныхъ» русскихъ друзей небольшую сумму денегъ еще два мѣсяца тому назадъ, немного оправилась. Кромѣ того, неутомимый Рудольфъ нашелъ ей урокъ болгарскаго языка въ семьѣ какого-то секретаря, ѣдущаго съ семьею на тихія воды Марицы.

Итакъ, сегодняшній день начался удачно, несмотря на то, что Бобъ во время фехтованія нечаянно наставилъ Оедѣ шишку на лбу рапирой, а въ танцовальномъ классѣ Листова Рудольфъ съ обычной своей медвѣжьей неуклюжестью наступилъ мнѣ на платье и оборвалъ добрую половину волана.

Но все было еще сносно до прихода «маэстро», пока насъ не позвали внизъ на сцену школьнаго театра. Уже по тому, какъ «маэстро» отвѣтилъ на наши поклоны, и какъ брезгливо оттопырилась его нижняя губа, мы поняли, что онъ не въ духѣ.

— Ставьте сцену для пьесы «Прохожій»,—отрывисто произнесъ онъ «мальчикамъ», глядя не въ нашу сторону, а куда-то въ окно.

Опять этотъ «Прохожій». Собственно говоря, этотъ драматическій отрывокъ очарователенъ по замыслу, но какъ онъ надоѣлъ мнѣ и Ольгѣ, играющимъ въ немъ.

Содержаніе этой вещицы такое: въ садъ дворца венеціанки Сильвіи, богатой красавицы-аристократки, заходитъ мальчикъ, прохожій музыкантъ Занетто, нищій пѣвецъ. Онъ засыпаетъ на скамьѣ въ этомъ роскошномъ саду, усталый и голодный, и, пробуждаясь, видитъ Сильвію, чудесно-сказочно-прекрасное существо. Онъ разсказываетъ ей про свою убогую нищую жизнь, жизнь впроголодь, которую, однако, онъ не промѣняетъ ни на какіе пиры и княжескія палаты. И эта его свободная, радостная, полная лишеній жизнь захватываетъ богатую знатную венеціанку. Ея собственное существованіе среди роскоши своего дворца, среди толпы льстивыхъ знакомыхъ и подругъ, среди мнимыхъ друзей, воздающихъ дань лишь ея богатству, начинаетъ ей казаться безсмысленнымъ, горькимъ и печальнымъ. Занетто уходитъ и уноситъ розу, подаренную ему Сильвіей. Его пѣсенка затихаетъ въ отдаленіи, а сердце красавицы Сильвіи разрывается отъ тоски, и она рыдаетъ.

Вотъ и весь сюжетъ драмы французскаго классика. Ее когда-то играла знаменитая французская артистка

Сара Бернаръ. Играла такъ, что театръ дрожалъ отъ восторга. Понятно, что не намъ, пигмеямъ пробовать свои силы въ этой граціозной вещицѣ.

Ольга играетъ Сильвію, я—Занетто. Произносимъ свои добросовѣстно выученные монологи, но безъ малѣйшаго признака «души». Вступаемъ въ діалогъ—еще того хуже. Я замѣчаю у Ольги одну забавную вещь, и весьма некстати: когда она говоритъ быстро и горячо, у нея поднимается правая бровь.

Меня живо заинтересовываетъ это. Лѣзетъ въ голову нелѣпая мысль:

— Какъ это мило, и почему я раньше не замѣчала этого.

И, сбитая съ толку, я забываю то, что должна говорить.

«Маэстро» сидитъ въ креслѣ тамъ, за рампой, окруженный нашими коллегами. По лицу его видно, что онъ сердится и негодуетъ.

— Даже роли не могли выучить, какъ слѣдуетъ. Ужъ не говорю о тонѣ. Тона никокого ни у той, ни у другой,—произноситъ онъ сердито, и краска заливаетъ его выразительное, подвижное лицо.—Точно дождикъ капаетъ по крышѣ, такъ вы монотонны обѣ—капъ, капъ, капъ.

Должно быть, у меня черезчуръ пылкое воображеніе, потому что я живо представляю себѣ, какъ мы съ Ольгой въ видѣ капелекъ дождя шлепаемся о крышу.

И, забывъ всякую сдержанность, я начинаю хохотать во весь голосъ.

Вася Рудольфъ, сидящій за суфлера въ будкѣ, высовывается оттуда наполовину и, округливъ глаза отъ ужаса, шепчетъ:

— Что ты, что ты, Лида? Смѣяться!

И надо же ему было вымазать себѣ гдѣ-то лицо сажей. Но увы! Это фактъ: одна щека у него черная, другая бѣлая. И часть вѣка тоже задѣта сажей.

Удержать охватившаго меня истерическаго смѣха я больше не въ силахъ. Хохочу такъ, что вотъ-вотъ слезы готовы брызнуть изъ глазъ. Глядя на меня, Ольга тоже начинаетъ давиться отъ смѣха, уткнулась лицомъ въ кулису, и плечи ея дрожатъ.

На «маэстро» смотрѣть страшно, такъ онъ негодуетъ. Но мы узнали объ этомъ уже впослѣдствіи отъ нашихъ коллегъ. Въ эти же злосчастныя минуты мы ничего не помнимъ. Безуміе смѣха поглотило насъ съ головой. И вотъ, мгновенно раздавшійся грозный окрикъ приводитъ насъ обѣихъ въ себя.

— Богъ знаетъ что!—кричитъ «маэстро» и, поднявшись съ кресла, начинаетъ бѣгать по проходу партера, отчаянно жестикулируя и сверкая глазами.—Что же мы, шутки пришли шутить сюда? Насколько въ прошломъ году вы радовали меня своими успѣхами, настолько въ этомъ году убѣдили, что я имѣю дѣло не со взрослыми людьми, а съ какими-то ребятами, школь-

никами, недостойными еще носить имя учениковъ артистической школы. Нѣтъ желанія работать, ни малѣйшаго желанія. Одни заняты своими личными дѣлами, другіе дѣлаютъ изъ моего класса какой-то циркъ. И ни единой священной искры не замѣчаю теперь въ васъ, той искры, которая такъ радовала меня въ предыдущемъ году. Стыдно!

Намъ, дѣйствительно, стыдно. Стыдно до боли передъ этимъ великимъ артистомъ. Но чѣмъ же виновата я, напримѣръ, что, когда, уничтоженная карающей рѣчью учителя, стала спускаться съ узенькой лѣстницы, переброшенной со сцены въ зрительный залъ, то запуталась въ платьѣ и, просчитавъ всѣ пять ступенекъ, растянулась у ногъ Шепталовой и Тобергъ, взвизгнувшихъ отъ неожиданности.

— Все шалости,—сердито бросилъ «маэстро», наградивъ меня уничтожающимъ взглядомъ.

Ахъ, я не могла даже протестовать въ ту минуту. Я чувствовала, какъ надулись жилы на моемъ лицѣ, и вся я побагровѣла отъ ужаснаго усилія сдержать во что бы то ни стало свой убійственный хохотъ. Какія ужъ тутъ могутъ быть оправданія!

— Приготовьте сцену для «Севильскаго цырюльника»,—минутой позже приказалъ онъ.

Въ «Севильскомъ цирюльникѣ» участвуютъ всѣ, кромѣ меня и Ольги.

Роль Фигаро, главная роль въ «Цырюльникѣ», по-

ручена Борису Коршунову, и въ ней онъ великолѣпенъ. Хороша Саня Орлова—графиня, хороша Сюзанна—Маруся и прелестенъ маленькій пажъ Керувиме—Шепталова. Превосходны въ комическомъ этюдѣ Бобъ Денисовъ и Береговой.

Но сегодня точно что-то роковое повисло надъ всѣми нами. День ли такой выдался неудачный, или просто моя неумѣстная смѣшливость заразила ихъ всѣхъ, но что-то непонятное происходитъ на сценѣ. Одинъ Борисъ остался вѣренъ себѣ, да еще, пожалуй, Саня. А остальные не ведутъ, а «волочатъ по землѣ» свои роли, по тонкому выраженію «маэстро».

Да, именно волочатъ.

Надо всѣмъ этимъ носится темная, едва уловимая мысль:

«Сейчасъ, сейчасъ лопнетъ и порвется послѣдняя струна. Вотъ-вотъ вспыхнетъ гнѣвомъ «маэстро», броситъ занятія и уйдетъ.

Но онъ еще здѣсь, хотя повернулся спиною къ сценѣ и смотритъ въ окно на улицу. И молчитъ.

Ахъ, зачѣмъ онъ молчитъ, не дѣлаетъ замѣчаній, не бранитъ насъ больше? На сценѣ точно продолжаютъ везти какой-то тяжелый скрипучій возъ. Даже Борисъ спустилъ свой «тонъ», чувствуя свое полное безсиліе вывезти на своихъ плечахъ репетицію. Одинъ только Вася Рудольфъ добросовѣстно читаетъ свои монологи. Суфлеръ Володя Карѣевъ, смѣнившій его, даже не

суфлируетъ: все равно тамъ на сценѣ путаница и неразбериха. Вотъ сбились, спутались и замолчали совсѣмъ.

— Ну?—бросаетъ черезъ плечо «маэстро».

Молчаніе.

— Ну же?

Новое молчаніе, тяжелое, какъ кошмаръ.

— Ну, хорошо,—говоритъ «маэстро»,—я подожду пока вы придете въ себя, и почитаю газету. Десять минутъ передышки.

Онъ спокойно усаживается въ креслѣ, вынимаетъ изъ бокового кармана газету и начинаетъ читать, повернувшись къ окну.

И полнѣйшая тишина воцаряется въ маленькомъ театрѣ...

VII.

Владимиръ Николаевичъ читаетъ. Мы, затаивъ дыханіе, слѣдимъ за его лицомъ, каждая черточка котораго живетъ. Вотъ онъ успокаивается какъ будто. Печатныя вѣсти точно радуютъ его. Улыбка показывается на его умномъ выразительномъ лицѣ. Вотъ взоръ его опускается ниже, къ отдѣлу театра. Тутъ все оживленіе покидаетъ эти подвижныя черты. Улыбка безслѣдно исчезаетъ, и все лицо принимаетъ мертвенно-блѣдный оттѣнокъ.

— Что это такое?—быстро вскакивая съ своего мѣста и потрясая газетой, обращается онъ къ намъ.

— Что это значитъ?—уже грозно несется его голосъ по всему школьному театру.

Мы переглядываемся съ недоумѣніемъ между собой и ничего не понимаемъ.

Тогда онъ, съ несвойственной ему юношеской легкостью, бѣжитъ къ намъ на сцену, потрясая газетой.

— Денисовъ, прочтите,—кратко приказываетъ онъ Бобу, первому попавшемуся ему на глаза.

И, указывая пальцемъ на поразившее его въ газетѣ мѣсто, суетъ листъ въ руку юношѣ.

Смутная и страшная догадка проползаетъ въ моемъ мозгу. А у моей сосѣдки Ольги глаза расширены отъ жуткаго ожиданія.

— Да читайте же, наконецъ!—потерявъ терпѣніе и топнувъ ногой, кричитъ «маэстро».

Бобъ выходитъ впередъ и дрогнувшимъ голосомъ начинаетъ:

«Вчерашній спектакль въ Невскомъ театрѣ доказалъ намъ наглядно, что между учениками Образцовой драматической школы есть уже почти вполнѣ законченные артисты, обладающіе болѣе или менѣе крупными талантами. Изъ таковыхъ первое мѣсто отведемъ юному дарованію ученика-артиста Коршунова, который мастерски справился съ порученной ему главной ролью пьесы. Затѣмъ слѣдуетъ отмѣтить Денисова, Берегового и Крымова. Дамы не уступали своимъ коллегамъ. Го-

спожа Орлова дала полный трагической силы образъ героини. Госпожа Елецкая—чуткая и нѣжная артистка. Госпожа Алсуфьева полна настоящаго дѣтскаго задора, такого рѣдкостнаго во взрослой актрисѣ. Госпожа Тобергъ»...

— Довольно!—загремѣлъ голосъ «маэстро» надъ нашими склоненными головами, и скомканная газета полетѣла на полъ,—съ меня достаточно. Какая гадость! Какая возмутительная гадость! Я вамъ доказывалъ, какъ вредно и губительно для несложившагося еще артиста выступать публично на сценѣ, играть безъ надлежащаго руководства, и вы обѣщали мнѣ, что не будете играть до тѣхъ поръ, пока я самъ не скажу вамъ и не дамъ необходимыхъ наставленій... А между тѣмъ, оказывается, вы обманывали меня! Обманывали вашего учителя, пренебрегая его запретомъ! Вы поставили на своемъ... Такъ вотъ почему вы плохо, спустя рукава, занимались со мною! Вотъ почему такъ неохотно штудиров ли ваши роли у меня въ классѣ. Еще бы! Гдѣ ужъ вамъ! Доморощенные артисты, о которыхъ шумитъ пресса! Скороспѣлые таланты, увѣренные въ своемъ успѣхѣ! До занятій ли вамъ теперь?.. Какая ложь, какая гнусная ложь во всемъ этомъ!

Онъ оглядѣлъ насъ всѣхъ глазами, сверкающими гнѣвомъ и негодованіемъ, оглядѣлъ насъ блѣдный, возбужденный, и, остановивъ свой взглядъ на мнѣ, произнесъ отрывисто:

— Но вы не играли, Чермилова? Вашего имени нѣтъ въ газетѣ.

Ужасная была минута, когда этотъ взглядъ, прожигающій, казалось, насквозь всю душу, впивался съ надеждой въ мое лицо. Невольно опустились мои глаза подъ этимъ взглядомъ, и губы чуть слышно произнесли:

— Нѣтъ. Я играла. Играла въ другомъ мѣстѣ. Въ театрѣ Пороховыхъ.

— Прекрасно. Такъ значитъ, весь курсъ поголовно. Значитъ, не на комъ успокоить душу.

И онъ стиснулъ руки такъ, что хрустнули пальцы.

Какъ будто нарочно забыли всѣ о Васѣ Рудольфѣ въ эту минуту. И самъ онъ, вѣроятнѣе всего, изъ обычной скромности не напомнилъ о себѣ.

Неудержимый шквалъ гнѣва, негодованія и бѣшенства охватилъ «маэстро». Онъ съ силой ударилъ кулакомъ по креслу и закричалъ:

— Я не знаю васъ больше, не хочу знать! Люди, обманывавшіе меня такъ долго, не существуютъ для меня. Я не хочу больше заниматься съ обманщиками. Я иду къ директору и отказываюсь вести вашъ курсъ. Сейчасъ же иду заявить объ этомъ.

И онъ стремительно направился къ двери.

На порогѣ онъ замедлилъ, остановился. И, повернувъ къ намъ все еще блѣдное, негодующее и гнѣвное лицо, произнесъ, отчеканивая каждое слов :

— Я могу только въ томъ случаѣ примириться съ

печальнымъ фактомъ, простить васъ и продолжать заниматься съ вами, если по прошествіи получаса придете сказать мнѣ, что никогда никто изъ васъ, вплоть до выпуска, до будущей весны, не выступитъ ни на одной сценѣ, кромѣ здѣшней, школьной. Итакъ, жду въ продолженіе получаса тамъ, наверху.

И вышелъ, сильно хлопнувъ дверью.

* * *

Неописуемый шумъ поднялся на сценѣ съ его уходомъ. Мы всѣ заговорили разомъ, въ одинъ голосъ, такъ, что ничего нельзя было разобрать.

— Тише, господа!—покрывая всѣ остальные голоса, крикнулъ Бобъ своимъ басомъ.—Дайте хоть одно дѣльное слово произнести умному человѣку.

Но мы ничего не слышимъ, шумимъ, кричимъ.

— Лорды и джентльмены!—напрягая свой и безъ того зычный голосъ, произноситъ Бобъ,—я предлагаю тотчасъ же бѣжать слѣдомъ за «маэстро», упросить его вернуться, простить и не оставлять насъ. Сейчасъ же, не теряя ни единой минуты, господа.

— Да, да!—присоединяется къ Бобу Вася Рудольфъ, выбѣгая на сцену, откуда зазвучалъ много слышнѣе его мягкій баритонъ.—Это намъ необходимо сдѣлать тотчасъ же, сейчасъ! Мы должны, это—нашъ долгъ, господа, самая существенная необходимость!...

Оля Елецкая пылающими глазами обводитъ насъ всѣхъ.

— Лишиться Владимира Николаевича, лишиться нашего любимаго «маэстро»—значитъ не существовать, не видѣть солнца, цвѣтовъ жизни и не дышать ароматомъ радости.

— Идемъ же, идемъ, пока не поздно,—говоритъ Саня, и на ея лицѣ написано твердое и горячее рѣшеніе.

Остальные не ждутъ новаго призыва, и мы всѣ несемся къ двери.

— Куда вы? Стойте! Куда вы мчитесь, какъ глупыя дѣти. Что за новую кабалу готовите вы себѣ!—звучитъ слѣдомъ за нами голосъ Бори Коршунова.

Онъ нахмурилъ брови, кусаетъ губы. Обычно блѣдное лицо его теперь горитъ пятнами румянца. Онъ сидитъ на подоконникѣ, скрестивъ руки на груди, и старается всячески заглушить свое волненіе.

— Въ кабалу? Въ какую кабалу?—срывается кой у кого изъ насъ.

Тогда стройная фигура Бориса Коршунова отходитъ отъ окна. Онъ произноситъ рѣчь. Настоящую зажигательную рѣчь, дѣйствующую на насъ самымъ неожиданнымъ образомъ.

— Мы не дѣти,—говоритъ Борисъ,—и не можемъ позволить такъ обходиться съ нами. Между нами есть

совершенно самостоятельные люди, есть мать семейства, есть, наконецъ, семейная пара. И, помимо всего остального, у насъ долженъ уже возникнуть вопросъ, какъ намъ жить, на какія средства существовать. Курсовой стипендіи мало, особенно семейнымъ. Значитъ, надо увеличить заработокъ игрою. Намъ нельзя не прирабатывать, не играть.

— Это—неправда!—срывается съ губъ неожиданно подошедшаго къ молодому оратору Рудольфа,—это—чистѣйшая ложь. Васъ всѣхъ не столько заработокъ плѣняетъ, сколько артистическая жадность, ненасытное желаніе лицедѣйствовать во что бы то ни стало, какою бы то ни было цѣной, даже путемъ обмана, за спиною лучшаго изъ учителей.

Мы не узнаемъ нашего обычно тихаго и кроткаго нѣмчика. Онъ весь дрожитъ, и кроткіе, ясные глаза его сейчасъ горятъ самымъ откровеннымъ возмущеніемъ и злобой, злобой на насъ, конечно.

Борисъ неожиданно свирѣпѣетъ. Онъ крѣпко сжимаетъ руки и, глядя не менѣе зло на Васю, говоритъ:

— Ну да, если бы и такъ? Да, мы хотимъ играть и баста. Кто разъ попробовалъ настоящей, нешкольной сцены, тотъ уже не сможетъ удержать себя, чтобы не играть. Сужу по себѣ. И думаю, что и мои коллеги того же мнѣнія. Кто чувствуетъ въ себѣ священное пламя, тотъ не можетъ разсуждать иначе.

— Совершенно вѣрно,—говоритъ Маруся, съ восторгомъ и слѣпымъ довѣріемъ глядя на мужа.

Мы молчимъ. Въ душѣ каждаго изъ насъ борьба. Съ одной стороны Боря Коршуновъ правъ: трудно, невозможно отстать отъ настоящей сцены, трудно бросить дѣло, захватившее насъ такъ мощно и сильно. А съ другой стороны—потерять «маэстро»—развѣ это не ударъ? Потерять въ нашемъ руководителѣ и учителѣ ту силу, передъ которой склонялись лучшіе артисты Россіи, тотъ авторитетъ, который проникъ чуть ли не во всѣ уголки нашего отечества. И лишиться его отеческой къ намъ привязанности, его довѣрія... Какъ же послѣ этого продолжать работать, заниматься, надѣяться на будущее? Неотвязно стоитъ при этомъ у каждаго изъ насъ въ головѣ мысль: тамъ наверху, въ коридорѣ, нашего рѣшенія ждетъ человѣкъ, артистъ огромнаго таланта и свѣтлой, души передъ которымъ вся наша группа—ничтожество. И мы еще осмѣливаемся заставлять его ждать, мучиться нашей нечуткостью, неблагодарностью...

Эта мысль становится мнѣ до того невыносимой, что я хватаюсь за голову и кричу:

— Да рѣшайте же! Рѣшайте, наконецъ, что дѣлать! Вѣдь это—пытка. Вѣдь если такъ продолжится,—можно съ ума сойти, наконецъ. Идемъ къ нему или извиняться, или откровенно сказать, что мы не можемъ подчиниться его условіямъ, что власть сцены сильнѣе

насъ, что мы уже отравлены тѣмъ ядомъ, съ которымъ онъ сравнилъ наше участіе на внѣшкольныхъ подмосткахъ.

Я говорю все это со свойственной мнѣ горячностью, не слыша и не чувствуя въ эти мгновенія себя самой.

Мнѣ возражаютъ. Больше всѣхъ и убѣжденнѣе всѣхъ—Борисъ Коршуновъ. О, это цѣлая блестящая рѣчь въ защиту нашего поступка. Онъ убѣждаетъ насъ перестать быть дѣтьми, повѣрить въ свой талантъ, въ свои силы. Вѣдь мы взяли отъ «маэстро» всю его начальную теорію, азбуку и склады искусства. Теперь уже дѣло практики. Неужели же намъ идти всю жизнь на помочахъ, неужели мы не сумѣемъ добраться сами до нашего маяка среди бурнаго моря? Или мы боимся бурь? Гдѣ же, въ такомъ случаѣ, наши силы?

Онъ хорошо говоритъ, этотъ юноша. И голосъ его звучитъ такъ убѣжденно; заразительно и вѣско каждое его слово. Видно, что самъ онъ вполнѣ твэрдо убѣжденъ въ томъ, что говоритъ.

И лишь только онъ заканчиваетъ, какъ снова разстроенный и негодующій Рудольфъ, съ пылающими щеками, кричитъ, что это—безуміе, нелѣпость и гадость, мѣнять великаго «маэстро», нашего руководителя, на какіе-то глупые спектакли.

И опять шумъ, споръ и невообразимый содомъ поднимаются въ школьномъ театрѣ.

Богъ вѣсть, какая темная туча спустилась надъ нами, какимъ туманомъ затемнило нашъ разсудокъ, но мы

сдались... Сдались этой темной тучѣ, этой силѣ тщеславія, которая пробудилась въ насъ подъ вліяніемъ словъ Бориса. Даже серьезная Саня съ судорожно сжатыми бровями на трагическомъ лицѣ тихо высказала свое мнѣніе.

— Да, что дѣлать, придется лишиться «маэстро». Практика намъ необходима.

А мы, всѣ остальные, сдались уже давно. И одинъ Рудольфъ стоялъ въ сторонѣ отъ насъ попрежнему негодующій и красный отъ волненія, и твердилъ одно и то же, одно и то же разъ тридцать подъ рядъ.

— Какъ глупо все это, глупо! Раскаетесь всѣ когда-нибудь.

А время между тѣмъ шло, срокъ, данный намъ на размышленіе, истекалъ; оставались какія-нибудь минуты.

Вдругъ Рудольфъ соскочилъ прямо съ высокихъ подмостковъ сцены на полъ и кинулся къ дверямъ.

— Время прошло... Онъ ждетъ... Это подло съ вашей стороны, подло... Я скажу ему одинъ за васъ всѣхъ, что вы невмѣняемы сейчасъ, но что завтра рѣшите иначе. А я... я... если даже вы и пойдете всѣ противъ него,—я уйду отъ васъ, одинъ перейду на первый курсъ, который ведетъ «маэстро»... Но я никогда никогда не промѣняю его ни на васъ, ни на участіе въ тѣхъ дурацкихъ театрахъ...

И задыхающійся, багрово-красный, онъ метнулся стрѣлою мимо насъ и выскочилъ на лѣстницу.

Опять потянулись минуты остраго и напряженнаго

ожиданія. Этотъ безумный Рудольфъ—какъ онъ посмѣлъ рѣшать что-либо за насъ? Что мы дѣти, что-ли!

Пять, десять, двадцать минутъ прошло съ его исчезновенія—можетъ быть, меньше, можетъ быть, гораздо больше. Мы окончательно потеряли счетъ времени съ переживаемымъ нами волненіемъ, пока не зазвучали шаги на лѣстницѣ и не распахнулась дверь.

На порогѣ показался инспекторъ.

Виталій Прокофьевичъ вошелъ къ намъ съ самымъ офиціальнымъ видомъ и произнесъ безъ тѣни улыбки на его обычно привѣтливомъ лицѣ:

— Господа! Не буду распространяться по поводу вашего необдуманнаго поступка. Предоставляю рѣшить его цѣлесообразность вамъ самимъ. Сейчасъ всѣми нами уважаемый Владиміръ Николаевичъ отказался преподавать на вашемъ курсѣ по извѣстнымъ вамъ причинамъ, и управляющій, вслѣдствіе этого, приказалъ мнѣ тотчасъ же исключить васъ всѣхъ изъ списка учащихся въ нашей Образцовой школѣ и закрыть курсъ. Но вашъ благородный и почтенный профессоръ заступился за васъ и рѣшилъ ходатайствовать у директора, чтобы васъ оставили и дали вамъ другого преподаватели сценическаго искусства вмѣсто него. Такъ-то, господа. Очень скоро вы поймете вашу ошибку, а пока могу сказать, что только одинъ изъ васъ—Рудольфъ—понялъ весь ужасъ потерять такого руководителя, какъ Владиміръ Николаевичъ. Онъ уходитъ отъ васъ на другой курсъ.

Пятницкій давно замолкъ, а мы все еще стояли, какъ громомъ пораженные, раздавленные въ конецъ великодушіемъ человѣка, который такъ благородно отплатилъ намъ за нашъ неблаговидный поступокъ. Насъ хотѣли исключить всѣхъ, а онъ ходатайствовалъ за насъ.

Не знаю, какъ у другихъ, но въ моей душѣ поднялось такое волненіе, такая буря чувствъ, что я съ трудомъ сдерживала себя сейчасъ.

Я взглянула на Ольгу, на Саню, на Ксенію. На нихъ лица не было ни на комъ.

Вдругъ у барьера раздался истерическій вопль. Лили Тобергъ, эта всегда спокойная, «холодная», какъ мы ее называли, дѣвушка, упала головою на барьеръ, отдѣляющій первый рядъ отъ оркестра, и зарыдала навзрыдъ:

— И я поступлю, какъ Рудольфъ! И перейду на первый курсъ!... Я хочу кончить школу у «маэстро»...—разслышали мы сквозь всхлипыванія ея взволнованный лепетъ.

А минутой позднѣе уже болѣе энергичный голосъ Лили, съ непонятнымъ всѣмъ намъ возбужденіемъ, повторялъ:

— Ну да, конечно, пойду къ нему, умолю его простить меня и принять къ себѣ на первый курсъ. Обѣщаю ему, дамъ клятву не выступать нигдѣ ни подъ какимъ видомъ. Ни за что! Ни за что!

И снова громкія рыданія огласили театръ.

Боря Коршуновъ потерялъ терпѣніе.

— Да перестань же плакать! Дѣлай, какъ хочешь, никто не удерживаетъ тебя. Только безъ слезъ, безъ слезъ, ради Бога. Тошно и безъ того.

Ага, значитъ—и ему нелегко.

Молчаливые и подавленные разошлись мы въ этотъ день позднѣе обыкновеннаго. И, расходясь, уносили въ глубинѣ души такую тяжесть, какой не испытывалъ, должно быть, никто изъ учащихся въ этихъ школьныхъ стѣнахъ.

VIII.

Всего только полтора мѣсяца прошло со дня тяжелаго случая, закончившагося уходомъ любимаго «маэстро», а кажется, что больше года уже пролетѣло съ того злополучнаго часа. Онъ, дѣйствительно, потерянъ для насъ и безвозвратно. Ушелъ «маэстро» и какъ будто унесъ съ собою нашу безпечную юность, наше веселое ребячество.

Мы ходимъ съ угрюмыми лицами и при встрѣчахъ съ нимъ раскланиваемся, низко-низко опуская глаза. Онъ отвѣчаетъ намъ кивкомъ головы, не глядя на насъ. Какая это мука! Не для насъ теперь звучитъ его бархатный, отъ слова до слова западающій въ душу голосъ. И свѣтлая улыбка его тоже не для насъ.

Вася Рудольфъ и Лили Тобергъ присоединились къ первокурсникамъ. Султану перевели туда, чтобы съ самой азбуки обучать русскому произношенію.

Первый курсъ, точно на зло намъ, оказался самымъ

усерднымъ и прилежнымъ, и каждое слово «маэстро» для нихъ законъ.

— Совсѣмъ пай-дитюши,—пробуетъ острить Бобъ Денисовъ, но шутка не удается.

Рудольфъ и Лили совсѣмъ отдѣлились отъ насъ, какъ будто мы никогда и не были друзьями. Съ Борей Коршуновымъ они не кланяются, съ нами едва перекидываются словами.

Нашъ курсъ, потерявъ троихъ, сплотился теперь еще тѣснѣе. Новый преподаватель, еще молодой человѣкъ, актеръ Образцовой сцены, веселый, остроумный, удивительно симпатичный и очень талантливый господинъ. Его обращеніе съ нами чисто товарищеское. Съ нимъ пріятно заниматься. Онъ даетъ возможность самому пробовать свои силы, дѣлаетъ замѣчанія рѣже, чѣмъ бывало «маэстро», не запрещаетъ участвовать на другихъ, внѣшкольныхъ сценахъ. Мы къ нему привязываемся очень быстро. Не боимся его, какъ бывало боялись «маэстро», говоримъ, какъ съ равнымъ, даже вступаемъ нерѣдко въ споръ. Съ нимъ легко и свободно дышится и, если бы не сознаніе своей вины и тоски отъ потери незамѣнимаго руководителя—все было бы прекрасно.

Юрій Эрастовичъ Озаровскій—нашъ новый преподаватель—бывшій ученикъ «маэстро», и это уже много облегчаетъ дѣло. Онъ еще мало знакомъ съ нашими дарованіями и, пока что, заставляетъ насъ репетировать уже начатыя съ «маэстро» пьесы.

Скоро экзаменъ. Опять «Прохожій» и «Севильскій цырюльникъ» выступаютъ на сцену. Мы будемъ разыгрывать то и другое въ костюмахъ и гримѣ передъ публикой въ школьномъ театрѣ, въ концѣ апрѣля. Но до этого еще предстоятъ экзамены по научнымъ и другимъ предметамъ. Послѣдніе экзамены, потому что въ будущемъ году ихъ уже больше не будетъ. Будутъ только практическія занятія и постановка пьесъ: на третьемъ ставятъ безъ конца спектакли.

* * *

Весна.

Позеленѣлъ нашъ садикъ. Зацвѣтаетъ сирень. Солнце такъ и сіяетъ среди голубого океана небесной лазури.

Начало мая. Я сижу у открытаго окна и усердно долблю «постепенное развитіе средневѣковыхъ мистерій», т. е. исторію религіозныхъ драмъ на сюжеты Священной Исторіи въ средніе вѣка. Въ палисадникѣ длинный Бобъ занимаетъ маленькаго принца. Длинный Бобъ—лошадь, мой сынишка—кучеръ. И они носятся по единственной дорожкѣ палисадника съ необыкновеннымъ шумомъ и суетой. Ольга поѣхала въ контору для найма прислугъ. Сейчасъ она приведетъ сюда цѣлую массу нянь для моего сынишки. Вчера «сіятельная нянька» рѣшила, наконецъ, осчастливить насъ своимъ уходомъ и наговорила цѣлую кучу любезностей: у меня-де могутъ жить только деревенскія «недотепки», а настоящей

ученой нянѣ здѣсь дѣлать нечего,—и исчезла немедленно къ великому восторгу Анюты.

Ольга и Бобъ давно прошли «Драму» къ завтрашнему экзамену, а мнѣ еще придется посидѣть ночь. Дѣло въ томъ, что Юрикъ не отходитъ отъ меня ни на шагъ, а заниматься при такихъ условіяхъ не очень-то удобно. Славу Богу, Бобъ и Ольга пришли и дали мнѣ возможность почитать.

— Ай! ай! ай!—слышу я заливчатый плачъ въ садикѣ.

— Что случилось?

Вскакиваю и прямо черезъ окно попадаю въ зеленый мірокъ.

Лошадь стоитъ передъ кучеромъ съ растерянным видомъ. Кучеръ лежитъ на землѣ, дрыгаетъ ножонками и заливается плачемъ, а на лбу у него большое красное пятно—слѣдъ ушиба.

— Очень хорошо! Прекрасно!—накидываюсь я на Боба.—Такъ можно и убить ребенка!

И, совершенно забывая, кто передо мною, кричу уже безъ всякой послѣдовательности:

— Какая же ты нянька послѣ этого? И кто тебя просилъ нянчить и занимать?

— Какая же я нянька,—покорно соглашается Бобъ.—Я только, увы!—будущій артистъ. И еще лошадь.

Тутъ онъ начинаетъ брыкаться, фыркать и такъ неподражаемо ржать, что горькій плачъ моего сынишки постепенно переходитъ въ хохотъ.

— Дядя Бобъ! Дядя Бобъ! Есе! Есе!—лепечетъ онъ, забывая ушибъ и снова смѣется.

— А вотъ и мы!—слышу я позади голосъ Елочки.

Она не одна. Съ ней бѣлокурая женщина съ ясными глазами и добрымъ лицомъ. Отдаленно напоминаетъ Сашу. Милое, подкупающее своей искренностью лицо. Я смотрю въ него и улыбаюсь... Елочка наклоняется ко мнѣ и шепчетъ.

— Тамъ было ихъ много, но я выбрала эту. Я знала, что она тебѣ понравится. Ее зовутъ Матреша.

— Спасибо, Елочка. Спасибо, родная.

Черезъ пять минутъ Матреша и маленькій принцъ уже друзья на всю жизнь. Оля и Бобъ уходятъ успокоенные, а мнѣ предстоитъ еще проучиться цѣлую ночь.

* * *

Уфъ! Наконецъ-то!

Нѣтъ ничего хуже ожиданія. Но когда стоишь передъ экзаменаторскимъ столомъ съ билетомъ въ рукѣ, то невольно приходитъ мысль, что ожиданіе все же лучше сознанія того, что ничего не знаешь. Я шла до сихъ поръ все время на 12 по курсовымъ предметамъ, и осрамиться мнѣ не очень-то пріятно.

Вынимаю билетъ.

Бррр! Билетъ не изъ легкихъ, а за плечами безсонная ночь съ кошмарнымъ страхомъ срѣзаться.

Дрожащимъ голосомъ начинаю. Управляющій курсовъ,

инспекторъ Пятницкій, его помощникъ и Розовъ,—всѣ они устремили на меня глаза. По умному лицу Розова пробѣгаетъ одобряющая улыбка. Она точно говоритъ: «Вы выдержите, вы не осрамитесь и не посрамите меня».

— Вотъ за это спасибо, дорогой Петръ Осиповичъ!

Бодрѣе звучитъ голосъ. Я не только бойко отвѣчаю по лекціямъ, но припоминаю о прочитанномъ, дѣлаю вставки, шире раздвигаю рамки билета.

— Садитесь. Хорошо. Довольно.

Уфъ!

Еще экзаменъ—французскій.

Я декламирую того же Запетто въ «Прохожемъ», но на французскомъ языкѣ. Ольга—Сильвію. Французъ улыбается, онъ доволенъ. Двѣнадцать обезпечены у обѣихъ.

А потомъ. Умру—не забуду, что было потомъ... И никто не забудетъ изъ насъ, конечно.

Какой злой геній посовѣтовалъ Бобу, Костѣ и Ѳедѣ разыграть французскую классическую сцену изъ «Сида»? Ахъ, что это было! На какомъ языкѣ они ее разыграли—неизвѣстно. Только на французскій онъ былъ очень мало похожъ. Управляющему школой, очень важному и образованному барину, полжизни своей прожившему въ Парижѣ, чуть не сдѣлалось дурно. Онъ долженъ былъ невыносимо страдать отъ такого убійственнаго произношенія. Лицо француза отъ вол-

нения покрылось пятнами. Мы боялись, что съ нимъ сдѣлается ударъ.

А тѣ трое, нимало не смущаясь, безъ остановки трещали какую-то ерунду на неизвѣстномъ нарѣчіи.

— Довольно. Довольно. Ради Бога, отпустите ихъ!— услышали мы, наконецъ, страдальческій голосъ начальства.

Французъ махнулъ рукою съ безнадежнымъ видомъ, и вся троица съ облегченнымъ вздохомъ и раскраснѣвшимися лицами преспокойно, какъ ни въ чемъ не бывало, заняла свои мѣста.

— Развѣ ужъ такъ было плохо?—недоумѣвающе отозвался Костя на мой беззвучный хохотъ, встрѣтившій ихъ.

— Отвратительно, друзья мои,—сознаюсь я искренно.

— Но ужъ по семерицѣ-то онъ поставитъ,—убѣжденно изрекаетъ Бобъ.

Дѣйствительно, они получили «по семерицѣ». Снисходительнымъ экзаменаторамъ не хотѣлось испортить имъ аттестата. И мы съ новымъ рвеніемъ схватились за лекціи по слѣдующему предмету.

IX.

Научные экзамены закончились. Закончились и неизбѣжныя испытанія по танцамъ, фехтованію, гриму.

Но впереди оставалось самое страшное: спеціальный экзаменъ—«Прохожій» и «Севильскій Цирюльникъ».

Что-то будетъ?

Юрій Эрастовичъ добросовѣстно отдаетъ намъ все свое время. Съ утра до вечера мы репетируемъ на школьной сценѣ. А въ свободные часы томимся. Объ пьесы надоѣли намъ смертельно. Интонаціи такъ прочно запали въ голову, что при самомъ даже горячемъ желаніи измѣнить ихъ съ нашей стороны, ихъ не выбьешь ничѣмъ изъ памяти.

Наконецъ, пьесы срепетированы, и день спектакля назначенъ.

Въ чудесный вечеръ начала мая мы придемъ въ школу, сойдемъ внизъ, загримированные и одѣтые въ костюмы. Придетъ начальство и своя «театральная» публика, поднимется съ легкимъ шуршаніемъ занавѣсъ, и насъ будутъ судить уже какъ артистовъ.

* * *

Вотъ оно, началось...

Съ загримированнымъ «подъ неаполитанскаго мальчика» лицомъ, въ короткихъ трусикахъ и плащѣ бродячаго пѣвца, я стою у правой кулисы и прислушиваюсь къ монологу Ольги-Сильвіи, которая тамъ на сценѣ, въ богатомъ бѣломъ платьѣ знатной венеціанки, своимъ низкимъ голосомъ красиво декламируетъ свою роль.

Бутафорская луна льетъ свой свѣтъ на прекрасную блѣдную Сильвію и на феерическую обстановку сада.

Сейчасъ Ольга кончитъ, и я должна буду пропѣть итальянскую пѣсенку прежде, чѣмъ появлюсь на сценѣ. Сейчасъ... сію минуту...

И забывъ весь міръ и себя самое отъ страха, робко подвигаюсь между кулисами.

Вотъ закончилась пѣсенка, и въ чудесномъ освѣщенномъ саду Сильвіи я начинаю свой монологъ. Мнѣ кажется, что я говорю очень скверно, отвратительно, невозможно. И голосъ у меня дрожитъ и срывается поминутно. И руками я размахиваю черезчуръ много, изображая уличнаго пѣвца, мальчишку...

Однако, худо ли, хорошо ли, но, слава Создателю, оконченъ монологъ. Растягиваюсь, согласно пьесѣ, на скамьѣ съ непринужденнымъ видомъ и собираюсь заснуть.

Лежу и думаю:

«Глупая, скверная, бездарная Лидка. Нѣтъ у тебя ни на волосъ таланта. Гусей тебѣ пасти, а не на сцену идти. Совсѣмъ испортила монологъ».

И я готова разревѣться на всю сцену.

— Проснитесь!—слышу я нѣжный голосъ надъ собой.

Открываю глаза.

Елочка или не Елочка? Неужели это она—моя Оля, эта красавица въ роскошныхъ одеждахъ, съ легкимъ

венеціанскимъ кружевомъ, накинутымъ поверхъ ея, распущенныхъ волосъ, длинныхъ, пышныхъ и блестящихъ. Какъ горятъ въ полумракѣ ея глаза! Какое блѣдное и прекрасное лицо у нея, какъ оно исполнено печали и достоинства въ эти минуты.

— Бѣлый Лотосъ! Бѣлый Лотосъ!—шепчу я, хотя сознаю отлично, что должна по пьесѣ говорить не эти слова.

Она спрашиваетъ, я отвѣчаю... Я уже не думаю о провалѣ, хотя чувствую, что взяла слишкомъ высокій тонъ. Ахъ, все равно. Эта ночь, какъ настоящая, тиха и прекрасна; этотъ мѣсяцъ напоминаетъ чудный настоящій мѣсяцъ, и бумажныя розы на куртинахъ вотъ-вотъ распространятъ свой нѣжный, одуряющій ароматъ...

Я ухожу съ сердцемъ, полнымъ переживаемой Запетто сладкой печалью...

А позади меня слышатся рыданія Сильвіи-Ольги. Слава Богу, пьеса заканчивается... Все страшное осталось позади.

* * *

Въ тотъ же вечеръ, уложивъ сундуки и чемоданы и взявъ маленькаго принца съ Матрешей, скачу на Варшавскій вокзалъ, по родственному распростившись до начала сентября со своими коллегами по курсу.

Поздно, почти ночью, поѣздъ мчитъ насъ на Си-

верскую, гдѣ меня ждутъ Дашковская со своей труппой, лѣтній «настоящій» театръ и новая, далеко незнакомая, но заманчивая жизнь...

КОНЕЦЪ II-й ЧАСТИ.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ.

I.

Я живу въ большомъ розовомъ домѣ, гдѣ помѣстилась вся труппа. Внизу устроилась въ трехъ комнатахъ сама антрепренерша съ Маней Кондыревой и своей компаньонкой Вѣрой Виссаріоновной.

Наверху наше царство: рядъ маленькихъ комнатокъ съ балкончиками, или, вѣрнѣе, крытой галлереей вокругъ всего второго этажа, разгороженной барьеромъ на клѣтки по числу комнатъ.

Моя ближайшая сосѣдка—комическая старуха Ольга Ѳедоровна Александровская, замѣняющая отказавшуюся здѣсь служить лѣтомъ панну Ванду.

Дальше живетъ Громовъ, замѣстившій Кремлева, который уѣхалъ играть въ провинцію. Громовъ— не только актеръ, но и режиссеръ нашей труппы. Это красивый, видный сорокасемилѣтній господинъ, похожій больше на англій-

скаго лорда, нежели на актера. Онъ далъ слово взять всю труппу «въ ежовыя рукавицы», и мы его боимся какъ огня.

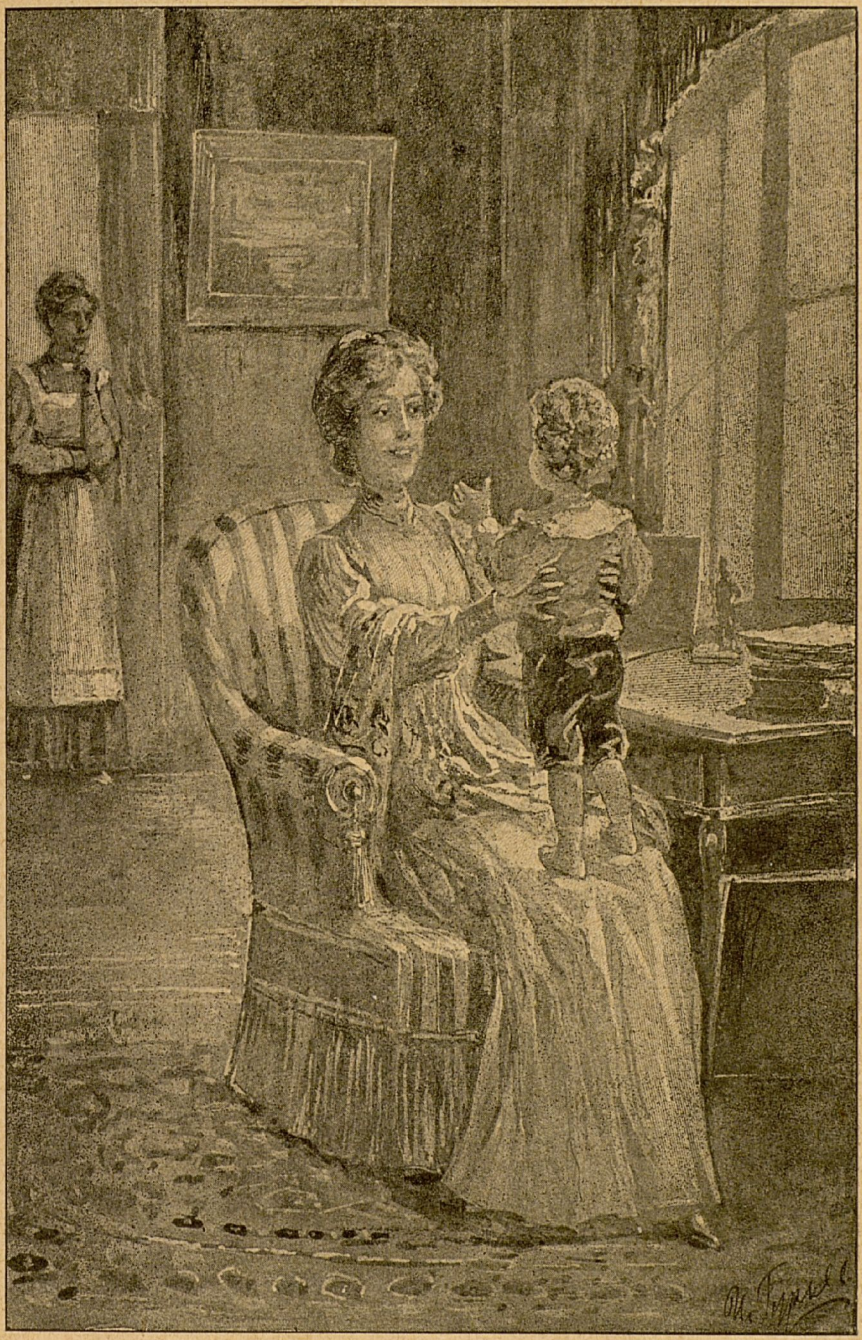
Людмила Дашковская устроилась не съ сестрою внизу а, съ нами «въ сумасшедшемъ этажѣ», какъ антрепренерша назвала верхъ дачи, гдѣ находятся наши комнаты.

Напротивъ насъ, по ту сторону коридора, живутъ: Чаховъ съ Толинымъ, Боръ-Ростовскій, Бековъ и суфлеръ Семеновъ со своимъ помощникомъ Чарышевымъ, совсѣмъ еще молоденькимъ безусымъ мальчикомъ.

Моя комната больше другихъ. Въ ней мы помѣщаемся всѣ трое: я, маленькій принцъ и Матреша. Окно выходитъ въ садъ. Рядомъ съ окномъ—огромныя, густо разросшіяся деревья черемухи, одуряюще пахнущія теперь въ весеннюю пору; они протягиваютъ къ намъ на галлерейку свои пушистыя вѣтви.

И домъ и самый театръ находятся въ саду, въ театральномъ саду съ клумбами, дорожками и большою площадкой для публики, посѣщающей театръ. Посреди главной клумбы стоитъ статуя греческаго божка съ отбитымъ носомъ; какіе-то шутники вставили папироску на мѣсто погибшаго органа обонянія злосчастнаго божка, и видъ у послѣдняго вслѣдствіе этого довольно печальный.

Обѣды мы получаемъ отъ хозяйки дачи. Очень простые, но вкусные и здоровые обѣды. Ужины же маленькому принцу и мнѣ Матреша готовитъ на керосинкѣ.



Маленькій принцъ доволенъ, смѣется...

По утрамъ, которыя я посвящаю всецѣло маленькому принцу, я не спускаю его съ колѣнъ и выслушиваю его милую болтовню.

Цѣлыми же днями, по а я учу роли (спектакли у насъ два раза въ недѣлю, репетиціи по два раза въ день) мой маленькій сынишка, ставшій общимъ любимцемъ и баловнемъ труппы, возится въ саду на пескѣ или Матреша уводитъ его въ поле, въ лѣсъ, куда-нибудь подальше, гдѣ онъ можетъ рѣзвиться на свободѣ.

По желанію Евгеніи Людвиговны Дашковской, я съ перваго же выступленія въ ея театрѣ перемѣнила свою фамилію. Она же дала мнѣ и новое театральное имя, какъ это принято по большей части у артистовъ.

Принесетъ ли мнѣ счастье мое новое имя? Увидимъ...

* * *

Первый спектакль въ день открытія театра сошелъ прекрасно. Публики собралось больше, чѣмъ мы этого ожидали. И приняла насъ эта милая, снисходительная дачная публика болѣе, нежели тепло.

Но самый театръ! Неожиданно наступили жестокіе холода, и мы дрогли въ нашихъ досчатыхъ уборныхъ такъ, что зубъ на зубъ не попадалъ, какъ говорится.

Бррр, какъ было холодно!

Я играла въ этотъ вечеръ въ пьесѣ Островскаго «Лѣсъ» бѣдную сиротку Аксюшу, которую всячески притѣсняетъ богатая родственница — помѣщица Гур-

мыжская. На репетиціяхъ Громовъ выходилъ изъ себя, находя, что я произношу слова моей роли то слишкомъ быстро, то слишкомъ тихо, и утверждая, что у меня манеры салонной барышни, а не бѣдной воспитанницы. Къ вечеру спектакля я издергалась до того, что хотѣла уже отказаться играть...

Но вотъ поползъ со знакомымъ мнѣ уже шуршаньемъ занавѣсъ, я вышла на сцену, и прежніе страхи и сомнѣнія исчезли безъ слѣда. Сирота Аксюша, помѣщичья воспитанница, заслонила на время за своей спиной образъ мечтательницы Брундегильды изъ замка Трумвиль.

Когда, по окончаніи спектакля, я пробѣжала мимо широкой волны публики, залившей нашъ театральный садъ, на свой «сумасшедшій верхъ», до меня долетали лестные отзывы, произнесенные вполголоса:

— Вотъ это та молоденькая актриса, которая играла Аксюшу... Она очень мило играла сегодня, очень мило.

— Браво! Браво!—вспыхнули въ другомъ мѣстѣ аплодисменты.

У самаго дома я столкнулась съ Громовымъ.

— Ну, какъ я играла, Николай Сергѣевичъ?—робко освѣдомилась я.

— Гм, гм,—промямлилъ онъ, вынимая изо рта сигару.—Не думаете ли вы, что эта публика,—онъ презрительно мотнулъ головою въ сторону толпы,—вполнѣ искренна? Просто слишкомъ добрые и снисходительные люди и хотятъ васъ подбодрить. Священный

огонь у васъ есть, но что за нелѣпость такъ распускать вожжи на сценѣ? Надо умѣть владѣть собою, а то выйдетъ чепуха. И зачѣмъ вы горбитесь, когда играете? Вѣдь въ жизни у васъ прямая фигура, а тутъ выходитъ на подмостки точно старуха столѣтняя.

И онъ, брезгливо морщась, снова принялся за свою сигару. А я, убитая, съ поникшей головой, прошла къ себѣ.

— Не вѣрьте ему. Онъ это нарочно такъ, чтобы не заважничали,—нагоняя меня, шепнулъ мнѣ Толинъ.—Играли вы хорошо, вѣрьте моему слову артиста.

И ко мнѣ протянулась маленькая изящная рука юноши, которую я пожала съ искренней благодарностью отъ всего сердца.

* * *

Дѣйствительно, права Дашковская, называя нашъ верхъ «сумасшедшимъ». Какое счастье, что мой маленькій принцъ имѣетъ счастливую дѣтскую способность засыпать при какомъ угодно шумѣ, гвалтѣ и крикѣ. У Толина—гитара, у Чахова и Бекова—балалайки. Кромѣ того, въ старомъ театральномъ хламѣ нашелся турецкій барабанъ, и Боръ-Ростовскій съ такимъ увлеченіемъ отбиваетъ на немъ маршъ Буланже, венгерку и Маргариту, что страшно становится и за цѣлость барабана, а главнымъ образомъ, нашихъ ушей.

Тихій іюньскій вечеръ.

Черезъ часъ мы всѣ отправимся въ театръ. Бековъ, самый тихій изъ труппы, очень напоминающій мнѣ Васю Рудольфа, утромъ побывалъ на рѣкѣ и принесъ цѣлую дюжину прекрасныхъ крупныхъ окуней, говоря, что наловилъ ихъ самъ для меня и маленькаго принца. Окуней передали въ распоряженіе Матреши, которой поручено зажарить ихъ на всю братію въ сметанѣ и сухаряхъ. Я угощаю весь верхъ сегодня.

До ужина, который необходимо сдѣлать прежде, чѣмъ отправляться въ театръ, мы предоставлены самимъ себѣ. «Сумасшедшій верхъ» вполнѣ оправдываетъ свое названіе сумасшедшаго. Боръ-Ростовскій, посадивъ къ себѣ на плечи моего сынишку, носится галопомъ по коридору, къ полному восторгу маленькаго принца. Толинъ уже настраиваетъ гитару, Чаховъ и Бековъ—балалайки. Ольга Ѳедоровна Александровская, вся бѣлая отъ сѣдины, какъ старинная маркиза, стоитъ въ дверяхъ, приготовляясь слушать. Барышни, Маня Кондырева и Людмила Дашковская, обнявшись—онѣ очень дружны—тутъ же около и тоже ждутъ.

— Господа, мы плясовую, а Юренька намъ спляшетъ,—подмигивая въ мою сторону, говоритъ Владиміръ Васильевичъ Чаховъ.

Онъ и другіе отлично знаютъ, что я терпѣть не могу, когда моего маленькаго принца заставляютъ такъ или иначе показывать какіе-нибудь фокусы.

Я протестую.

— Вы мнѣ избалуете мальчика.

— Надо же его пріучить!—смѣется Чаховъ.

— Къ чему это пріучить?—хорохорюсь я.—Позвольте спросить? Къ чему?

— А къ тому, чтобы быть актеромъ,—присоединяется къ нему Толинъ, и мальчишеское лицо его принимаетъ лукаво-задорное выраженіе.

— Мой сынъ никогда не будетъ актеромъ,—говорю я гордо и оглядываю кругъ моихъ мучителей уничтожающимъ взглядомъ; по крайней мѣрѣ, мнѣ самой кажется, что онъ уничтожающій.

— Не совсѣмъ любезно, по адресу насъ всѣхъ, Лидочка Алексѣевна,—смѣется Боръ-Ростовскій.

Они всѣ меня здѣсь такъ называютъ.

Но ласковое слово сейчасъ на меня не дѣйствуетъ. Напротивъ, оно только раздражаетъ меня.

— Не будетъ онъ никогда актеромъ!—выхожу я изъ себя,—потому что у актера каторжная жизнь. Потому что актеры нуждаются, сплошь и рядомъ, и зависятъ отъ случая, и постоянно держатъ экзаменъ, какъ маленькія дѣти, передъ режиссеромъ, передъ публикой, передъ газетными критиками. А интриги? А зависть къ тому, кто играетъ лучшую роль? Ахъ ты, Господи, да мало ли причинъ найдется!

— Очень неуважительныхъ кстати,—прищуривая одинъ глазъ, говоритъ Толинъ.

— Неправда!—выхожу я изъ себя,—уважительныхъ

вполнѣ. Мой сынъ долженъ быть инженеромъ, или юристомъ, или...

— Актеромъ, — прищуриваетъ второй глазъ Толинъ.

Противный Витька!

— А вотъ мы спросимъ самого Юрочку,—рѣшаетъ Чаховъ и, поймавъ и перехвативъ его съ плечъ Боръ-Ростовскаго, пересаживаетъ на свое.

— Ты актеромъ будешь, крошечка? Правда?

— Актеломъ,—съ трудомъ произноситъ маленькій человѣкъ.

Всѣ смѣются. Смѣюсь и я поневолѣ. Но на душѣ у меня скребутъ кошки. Нѣтъ, никогда ты имъ не будешь, сокровище мое...

* * *

— Начинается концертъ. Ольга Федоровна беретъ на руки моего сынишку и садится на почетное мѣсто—широкое кресло, изъ котораго самымъ откровеннымъ образомъ выглядываетъ вся внутренность: мочала. Маня и Людмила становятся, какъ два сторожа, по сторонамъ его. Я устраиваюсь у ногъ Александровской, или вѣрнѣе, у ножонокъ маленькаго принца. Боръ-Ростовскій беретъ свой барабанъ и устанавливаетъ его у себя на колѣняхъ. Бековъ и Чаховъ принимаются за балалайки, Толинъ за гитару. Я хватаю гребенку, накладываю на

нее тонкую бумажку и приготовляюсь извлечь изъ нея трель... Начинаемъ всѣ сразу по командѣ Чарышева, появившагося въ дверяхъ «клуба», какъ мы называемъ большую комнату Чахова и Вити. У него дирижерская палочка въ рукахъ, т. е. попросту линейка, и шляпа ухарски сбита на лѣвое ухо.

— Ну, братцы, начинай!..

Начинаемъ съ марша Буланже.

— Тра-ля-ля, тра-ля-ля-ля...

Балалайки бренчатъ, гитара вторитъ имъ низкимъ аккордомъ, моя гребенка визжитъ невѣроятнымъ фальцетомъ. Но барабанъ! Боже милосердный, что дѣлаетъ барабанъ!

Мой сынишка въ дикомъ восторгѣ. Онъ бьетъ ножками, хлопаетъ въ ладоши и визжитъ. Эта музыка ему совсѣмъ по душѣ.

Людмила и Маня начинаютъ подпѣвать на мотивъ марша пѣсенку, сложенную Боръ-Ростовскимъ совмѣстно съ Чаховымъ и Витей, пѣсенку странствующихъ артистовъ. И вотъ въ ту минуту, когда веселье достигло высшей точки своего напряженія, въ дверяхъ показывается высокая и плечистая фигура Громова. Лицо его— гнѣвное, негодующее.

— Господа, какъ можно такъ шумѣть! Публика собралась со всей Сиверской и осаждаетъ заборъ, желая узнать, какое тутъ идетъ представленіе. И потомъ, что за ребячество, въ самомъ дѣлѣ: и часокъ не дадутъ

отдохнуть человѣку передъ спектаклемъ... Точно дѣти. Пожалуйте въ театръ. Уже время, господа.

И, совсѣмъ разсерженный, онъ уходитъ

II.

Всѣ занятые въ главной пьесѣ ушли. Остались только я и Витя Толинъ, играющій сегодня въ водевилѣ. Говоримъ о томъ, какія у насъ были лица, когда появился Громовъ. Это все вышло такъ неожиданно, что бѣдные музыканты и пѣвцы совсѣмъ позабыли про ужинъ. Смотримъ другъ на друга и безвучно хохочемъ. Глядя на насъ, смѣется и маленькій принцъ. Появляется Матреша и съ испуганнымъ лицомъ шепчетъ:

— А какъ же быть-то? Окуни сгорятъ.

— Мы ихъ зальемъ. Не бойтесь пожара, Матреша,— успокаиваетъ Витя и вдругъ внезапно вспоминаетъ:

— Лидочка Алексѣевна! А какъ же сегодня-то? Играемъ безъ суфлера?

— Безъ суфлера, конечно.

— А роль-то я твердо не знаю,—сознается онъ со сконфуженнымъ видомъ.

— Разумѣется, не знаете, какъ и всегда.

— Ну, ужъ это вы напрасно.

— Ступайте сейчасъ учиться, — строгимъ тономъ приказываю я Витѣ.

— Бѣгу, плыву, мчусь, улетаю.

Онъ дѣйствительно «слетаетъ» съ лѣстницы такъ

что несшая въ эту минуту только что заготовленные къ ужину бутерброды Вѣра Виссаріоновна дико вскрикиваетъ и роняетъ на полъ тарелку.

— Опять этотъ сумасшедшій верхъ,—шепчетъ она въ отчаяніи, склоняясь надъ погибшими тартинками.

Я остаюсь съ маленькимъ принцемъ и Матрешей и думаю о томъ, что сегодня пойдетъ для меня и Вити водевиль «Подъ душистой вѣткой сирени», гдѣ мы будемъ изображать гимназиста и гимназистку. Будемъ играть безъ суфлерской будки, или съ «похороненной суфлерской будкой», какъ это принято говорить на театральномъ языкѣ.

У меня въ комнатѣ хорошо и прохладно. Прохожу туда съ маленькимъ принцемъ на рукахъ, сажусь и начинаю разсказывать сказки моему сынишкѣ. На маленькомъ будильникѣ часы показываютъ восемь. Надо укладывать Юрика, а сна у него ни въ одномъ глазу. Прежде всего онъ хочетъ знать, какъ поетъ пѣтухъ, хочетъ, чтобы это показала ему «мамоцка», непремѣнно «мамоцка», а не няня, и мамочка такъ добросовѣстно кричитъ пѣтухомъ, что внизу, со двора, начинаютъ откликаться куры. Потомъ ему надо вспомнить, какъ лаетъ собака. Лаю и собакой. Затѣмъ идетъ мяуканье кошки. Послѣдній номеръ опять-таки выходитъ такъ удачно, что дворовая сторожевая собака начинаетъ страшно волноваться и гремѣть своей

цѣпью у будки. Маленькій принцъ, доволенъ, смѣется и хлопаетъ въ ладоши.

— А тепель гуся... Гуся... Га-га-га-га! — безцеремонно командуетъ онъ.

Но мнѣ уже не до гуся... Я проняньчилась съ нимъ незамѣтно цѣлые два часа. Теперь скоро десять. Надо бѣжать въ театръ, чтобы успѣть одѣться и нагримироваться къ водевилю. А ему необходимо уснуть. Передаю его Матрешѣ.

— Уложите его непремѣнно поскорѣе,—прошу я молодую няню.

Маленькій принцъ слышитъ это, складываетъ губы трубочкой и собирается пустить такого ревуна, отъ котораго можно оглохнуть непривычному уху. Но сейчасъ я неумолима. Сама чуть не плача, отцѣпляю обвившіяся вокругъ моей шеи рученки и стремглавъ лечу въ театръ.

— Роль выучилъ на зубокъ,—съ торжествомъ заявляетъ мнѣ Толинъ, сталкиваясь со мною у входа на сцену.

Большую пьесу, идущую сначала, еще и не думаютъ кончать. Слава Богу, я успѣю одѣться и преобразить себя въ подростка-гимназисточку.

Въ общей уборной, добросовѣстно натирая лицо гольдъ-кремомъ прежде, чѣмъ накладывать гримъ, представляю въ лицахъ всѣхъ нашихъ въ минуту появленія Громова. Забѣжавшая сюда въ антрактѣ Маня и Людмила хохочутъ.

— Не люблю этого господина: напыщенный и важный,—говоритъ Маня,—точно учитель обращается со школьниками.

Тихая Людмилочка протестуетъ по врожденной ей деликатности.

— Нѣтъ, онъ славный, только раздражительный немного.

— Хорошъ—славный. Ходячая брюзжалка,—отрѣзываетъ Маня и мгновенно замираетъ съ широко раскрытымъ ртомъ: въ уборную, послѣ предварительнаго «можно?», просовывается голова Громова.

— Медамъ, пожалуйте на сцену, сейчасъ начинаемъ послѣдній актъ.

И смотритъ уничтожающе на Маню.

Бѣдняжка Кондырева красна, какъ помидоръ.

— Все пропало,—шепчетъ она,—влопалась. То есть такъ влопалась, миленькіе мои, что лучше и не надо.

* * *

Кончили пьесу, сейчасъ приготовляютъ сцену къ нашему водевилю. Кромѣ плотника и его помощниковъ, здѣсь суетится Томилинъ, по профессіи почтальонъ. Всю недѣлю онъ очень усердно разноситъ письма по дачной мѣстности, а въ вечера спектаклей онъ принялъ на себя добровольную обязанность поднимать и опускать занавѣсъ на сценѣ. Любовь Томилина къ театру какая-то исключительная. Онъ цѣлыми часами

оговъ простаивать въ кулисахъ и смотрѣть на нашу игру.

Но интереснѣе всего то, какъ онъ поднимаетъ занавѣсъ. Робкій и нерѣшительный отъ природы, онъ очень боится приступать несвоевременно къ этой обязанности.

— Томилинъ, давай, (то есть «поднимай занавѣсъ» на актерскомъ языкѣ)—кричитъ Чарышевъ, помощникъ режиссера.

— Даю,—отзывается Томилинъ, не двигаясь, однако, съ мѣста.

— Давай-же!

— Даю.

— Ну!

— Ну,—отзывается Томилинъ и только послѣ самаго энергичнаго окрика трогаетъ ручки подъемнаго колеса.

Сейчасъ онъ на высотѣ своего призванія. Кромѣ интересующей его обязанности поднимать занавѣсъ, является еще новая—«хоронить будку».

Пока я и Витя Толинъ дожидаемся поднятія занавѣса и стоимъ уже готовые къ выходу, Томилинъ, въ своемъ форменномъ костюмѣ почтальона, торжественно выходитъ на сцену и, убравъ въ люкъ суфлерскую будку на глазахъ всей публики, закрываетъ люкъ и трижды стучитъ по крышкѣ молоткомъ.

— Водевиль пойдетъ безъ суфлера, — объявляетъ

онъ съ видомъ именинника и сіяющій исчезаетъ въ кулисахъ.

— Браво, Томилинъ, браво!—кричатъ изъ публики, и многіе аплодируютъ и смѣются.

Томилина знаетъ вся Сиверская.

* * *

Минута,—и веселая, радостная, увѣренная въ своей роли, я вбѣгаю на сцену.

Какъ странно чувствовать себя подросткомъ-дѣвочкой, снова прежней Лидой Воронской, въ коричневомъ только, а не въ зеленомъ институтскомъ платьицѣ, съ чернымъ передникомъ, съ бретелями на плечахъ. Волосы распущены à l'anglaise и связаны на маковкѣ чернымъ бантомъ. Платье далеко не доходитъ до пола.

Начинаю первыя слова. Отвѣчаю Витѣ. Замолкаю на минуту, дѣлая паузу, необходимую по ходу пьесы.

И вотъ въ это самое мгновенье, когда весь театръ напряженно прислушивается къ тому, что говоритъ дѣвочка-гимназистка своему товарищу дѣтства, откуда-то сверху раздается звонкій дѣтскій голосокъ.

— А это моя мамочка. И дядя Витя. Имъ всѣмъ отъ дяди Гломова попало за музыку и балабанъ.

Всѣ головы моментально поворачиваются туда, откуда несется этотъ милый серебристо-звонкій голосишка. Всѣ лица и глаза поднимаются кверху.

И мое лицо и мои глаза тоже. Я мгновенно забываю

слова роли и вижу только одно: тамъ на хорахъ, на первой скамейкѣ, сидитъ красная, какъ вареный ракъ, няня Матреша, а на колѣняхъ у нея мой маленькій принцъ. Онъ, со свойственной его возрасту безцеремонностью, поднялъ крошечный пальчикъ и указываетъ имъ на сцену прямо на меня и лепечетъ своимъ милымъ лепетомъ:

— Это моя мамоцка, моя мамоцка, моя.

Веселый взрывъ неудержимаго хохота покрываетъ безумно-дорогой мнѣ голосокъ. Этотъ хохотъ приводитъ меня въ себя и даетъ возможность вспомнить роль и закончить пьесу.

Когда мы выходимъ послѣ спуска занавѣса объ руку съ Витей раскланиваться на аплодисменты публики, тамъ, наверху уже не видно милаго безцѣннаго личика и краснаго сконфуженнаго лица Матреши.

Ночью молоденькая няня со слезами на глазахъ встрѣтила меня:

— Барыня, голубонька, не сердитесь на меня, Христа ради: плакалъ и блажилъ онъ все время, обязательно просился къ мамѣ, да къ мамѣ. Ну и согрѣшила я, значитъ, взяла его, чтобъ успокоить хоть малость. Ахъ, ты Господи, кто же зналъ, что онъ, сердечненькій, признаетъ васъ и закричитъ на весь кіянтеръ?

III.

На дворѣ стоитъ іюль нестерпимо жаркій. Даже рѣка, протекающая поблизости нашей дачи, не даетъ

прохлады. Мы готовимъ къ постановкѣ какой-то удивительно смѣшной и сложный фарсъ и ходимъ всѣ злые, красные и недовольные, потому что учить роли въ такую жару очень трудно. Боръ-Ростовскій сдѣлалъ себѣ какой-то странный костюмъ изъ полотна, въ которомъ, какъ онъ увѣряетъ, «почти холодно» и который «стоитъ три копейки». На шеѣ у Ростовскаго красный яркій галстухъ, такой красный и яркій, что, по увѣренію доктора Чахова, Ростовскому необходимо избѣгать быковъ и гусей.

Сегодня репетируемъ съ одиннадцати до четырехъ. Дверь театра открыта настежь, и я вижу въ театральномъ саду, въ кучѣ накаленнаго зноемъ песка моего принценьку. Матреша отпросилась у меня пойти полоскать бѣлье на рѣчкѣ, и принца сторожатъ по очереди тѣ, кто въ данную минуту не участвуетъ на сценѣ. Сейчасъ Витина очередь. Вижу, какъ онъ размалевываетъ на цвѣточной клумбѣ красками для грима безносаго амура, заставляя поминутно моего мальчика запрокидывать головенку и покатываться со смѣху.

— Пожалуйте на сцену,—слышится неумолимый голосъ Громова, и я, со вздохомъ оторвавшись отъ милаго зрѣлища, спѣшу вбѣжать на подмостки.

Получасомъ позднѣе туда же влетаетъ весь встрепаный Витя Толинъ, и кричитъ:

— Куда вы утащили Юрика? Гдѣ вы спрятали его? Что за глупыя шутки! Перепугали до смерти! Отдавайте мнѣ его сейчасъ.

— Что?!..

Смотрю на Витю, и никакъ не могу взять въ толкъ, что онъ говоритъ.

— Что за безуміе!—кричу я въ свою очередь,— что вы выдумываете? Гдѣ маленькій принцъ?

— Я прибѣжалъ сюда, чтобы васъ спросить о томъ же.

Глаза у Толина смотрятъ испугано-напряженно, и лицо блѣднѣетъ.

Только тутъ я начинаю понимать, въ чемъ дѣло, и чувствую, какъ подкашиваются мои ноги, а по спинѣ пробѣгаетъ холодная дрожь ужаса.

— Гдѣ мой Юрикъ? Гдѣ Юрикъ?—кричу я дикимъ воплемъ.—Гдѣ онъ? Куда вы дѣли его?..

Кажется, я хватаю за плечи Витю и безсознательно трясу его изо всѣхъ силъ. Все лицо и тѣло у меня мгновенно обливаются холоднымъ потомъ.

— Успокойтесь, Лидочка,— оворитъ Маня Кондырева, обнимая меня за талію,—кто возьметъ ваше сокровище? Просто, онъ ушелъ къ Матрешѣ на рѣку.

— На рѣку? Но вѣдь тамъ онъ можетъ утонуть.

И внѣ себя отъ ужаса и отчаянія, я бросаюсь стрѣлою со сцены, однимъ духомъ пробѣгаю садъ, вылетаю въ поле и мчусь къ рѣкѣ. Тамъ Матреша, весело переговариваясь съ другими женщинами, полощетъ на мосткахъ дѣтскія рубашечки моего сына.

— Гдѣ Юрочка?—огорашиваю я ее вопросомъ.

Глаза молодой няни округляются отъ испуга, и она лепечетъ:

— Онъ былъ съ Толинымъ въ саду... Здѣсь его не было... Сюда не прибѣгалъ.

Послѣднюю фразу я скорѣе угадываю, нежели слышу. Несусь обратно въ домъ, въ театръ, на «сумасшедшій верхъ»...

Нигдѣ его нѣтъ, нигдѣ.

Заглядываю въ сараи, въ прачешную, на ледникъ, на сѣновалъ, наконецъ. Маленькаго принца нѣтъ и тамъ. Вдругъ въ головѣ мелькаетъ страшная догадка: въ двухъ верстахъ отсюда остановились цыгане. Можетъ быть, они его взяли?

— Боръ-Ростовскій! Витя! Докторъ Чаховъ! Манечка!—кричу я...—Ради Бога, за мною! Ради Бога, ко мнѣ! Цыгане, понимаете ли, цыгане... Тамъ въ полѣ... за Сиверской...

— Да, успокойте ее, господа... Гдѣ это видано, чтобы среди бѣла дня крали дѣтей подъ носомъ у взрослыхъ? Въ какомъ вѣкѣ мы живемъ?—говоритъ, волнуясь, Ольга Федоровна и качаетъ бѣлой, какъ снѣгъ, головою.

— Нѣтъ, нѣтъ, все можетъ быть. Ѣдемъ въ таборъ, ѣдемъ!—лепечу я, чувствуя, что вотъ-вотъ лишусь сознанія.

Они видятъ отлично, что въ моемъ состояніи меня не переубѣдить. Дашковская посылаетъ за лошадью.

Толинъ, Чаховъ, Боръ-Ростовскій, Маня и я—всѣ мы умудряемся сѣсть въ таратайку. Витя правитъ. Онъ чуть не плачетъ, увѣряя, что виноватъ онъ, одинъ онъ, въ томъ, что, взявшись няньчить общаго любимца, не уберегъ его.

Ахъ! легче ли мнѣ отъ этихъ самобичеваній?!

Подъѣзжаемъ къ табору. Оборванная, жалкая, смуглая группа цыганъ въ отрепьяхъ высыпаетъ къ намъ навстрѣчу.

— Барышни, красавицы, брилліантовыя, дай погадаемъ,—предлагаетъ безобразная, черная старуха.

— Господа добрые,—тянетъ черноокая красавица въ рубищахъ,—дай денежку, счастье вамъ предскажу.

— Гдѣ мой ребенокъ?—кричу я не своимъ голосомъ.—Гдѣ онъ, подайте мнѣ его!—И, спрыгнувъ съ таратайки, лѣзу заглянуть подъ навѣсъ телѣги.

Тамъ спятъ чумазые младенцы, и, разумѣется, моего принца тамъ нѣтъ.

Съ опустошенною ужасомъ душой и дрожащими губами я возвращаюсь къ своимъ.

— Его нѣтъ... — роняю я беззвучно бѣлыми губами.

— Ѣдемъ въ поле, онъ, можетъ быть, тамъ,—говоритъ Боръ-Ростовскій.—Викторъ, правь въ поле. Бери по межѣ.

— А по-моему,—вступается докторъ Чаховъ,—слѣдуетъ поискать по дачамъ.

— Нѣтъ, нѣтъ, въ полѣ!—командую я съ внезапно воскресшей энергіей.

Но Витя не можетъ править: у него отъ волненія дрожатъ руки; Боръ-Ростовскій садится на козлы и съ такимъ азартомъ хлещетъ бѣдную, ни въ чемъ не повинную лошадь, что та несется вскачь.

Нѣсколько ударовъ приходятся и по шляпѣ доктора.

— Но-но, вы тамъ потише. Ребенка мы найдемъ,—говоритъ спокойно Чаховъ,—но для чего, спрашивается, мою шляпу портить? Моя шляпа тоже денегъ стоитъ. Н-да-съ.

Его обычный юморъ, его увѣренныя, какъ бы вскользь оброненныя слова о томъ, что мы найдемъ ребенка, вселяютъ новую надежду въ мое сердце.

— Докторъ,—судорожно сжимая его руку, говорю я—мы его найдемъ? Найдемъ, неправда ли?

— Найдемъ, конечно, найдемъ. Развѣ можетъ быть иначе?

— Но что, если онъ ушелъ въ лѣсъ, и... и... волки?..

— Волки его съѣли въ іюлѣ мѣсяцѣ? Какъ же!—бурчитъ себѣ подъ носъ Чаховъ.

Но вотъ выѣхали въ поле.

— Гдѣ будемъ его искать здѣсь?—безпомощно разводитъ руками Витя.

— Надо позвать его,—предлагаетъ Маня.

И тотчасъ же раздается на разные голоса:

— Юрикъ! Юрочка! Юрокъ! Юренокъ! Гдѣ ты, крошечка? Отзовись.

— «Вись!»—вторитъ въ лѣсу прот ное эхо.

А его нѣтъ, все нѣтъ моего сокровища, моей радости, жизни...

Я мчусь, по поясъ во ржи, безжалостно топча золотые колосья.

— Дитя мое! Мой мальчикъ! Сокровище мое!—звенитъ отчаяньемъ и безнадежностью мой голосъ.

А его нѣтъ, все еще нѣтъ.

Я продолжаю метаться, путаясь въ хлѣбахъ.

— Да усадите вы ее въ таратайку,—замѣчаетъ, теряя свое обычное спокойствіе, Чаховъ.—Вѣдь она солнечный ударъ схватитъ.

Витя бѣжитъ ко мнѣ растерянный и, несмотря на жару, мертвенно-блѣдный.

— Мнѣ семнадцать лѣтъ,—говоритъ онъ,—но, если онъ не отыщется сейчасъ же, я, кажется, посѣдѣю въ этотъ часъ.

Вскакиваемъ въ таратайку и ѣдемъ дальше.

У меня на мѣстѣ сердца сплошная рана въ груди. Во всю свою коротенькую двадцатипятилѣтнюю жизнь я не знала такого горя. Теперь чувствую ясно: въ немъ, въ маленькомъ принцѣ, вся моя жизнь, и безъ него мое собственное существованіе немыслимо, невозможно...

Чуть живая, мчусь я дальше въ обществѣ притих-

шихъ товарищей. Въѣзжаемъ въ широкую улицу съ двумя рядами дачъ, оцѣпленныхъ зеленой цѣпью палисадниковъ. У одной изъ нихъ играетъ шарманка. Дѣвочка съ птичками раздаетъ «счастье» желающимъ, при посредствѣ чернаго дрозда, который выклевываетъ билетики длиннымъ носомъ изъ ящика клѣтки. Вокругъ толпятся дѣти. Двѣ дѣвочки, лѣтъ восьми и десяти, держатъ за руку третью, кудрявую, какъ кукла, въ розовомъ платьѣ.

— Стойте!—кричу я на всю дачную мѣстность.— Стойте! Вотъ онъ, маленькій принцъ!

IV

Позднѣе, вечеромъ, Чаховъ увѣрялъ меня, что онъ испугался за мой разсудокъ, когда я на ходу выпрыгнула изъ таратайки и метнулась въ толпу. Шарманщикъ пересталъ вертѣть ручку шарманки, птичка клевать билеты. Дѣвочка, открывъ ротъ, уставилась на меня испуганными глазами.

А я уже схватила на руки мое сокровище и прижимала къ груди съ сильно бьющимся сердцемъ, покрывая его личико, шею и рученки градомъ крѣпкихъ жгучихъ поцѣлуевъ, вся дрожа отъ острой радости встрѣчи.

Онъ же, какъ ни въ чемъ не бывало, обвившись ручонками вокругъ моей шеи, щедро вознаграждая меня

своимъ лепетомъ за пережитыя мученія, повторялъ безконечное число разъ:

— Мамоцка, тамъ птичка... Хоцу такую.

— Ну, бутузъ, не птичку, а березовой каши тебѣ надо за то, что ты насъ такъ промаялъ,—вытирая обильно струившійся съ лица потъ, говорилъ Чаховъ.

Ахъ, все пережитое: волненіе, страхъ, отчаяніе, я готова простить за счастье держать въ своихъ объятьяхъ этого ребенка.

* * *

Не успѣла я еще какъ слѣдуетъ успокоиться отъ пережитого волненія, какъ уже новое горе свалилось на меня.

Вечеромъ испуганная Матреша прибѣжала на сцену и, плача въ голосъ, заявила, что Юренька очень боленъ, что онъ весь горитъ, какъ въ огнѣ, и даже бредитъ какъ-будто.

Я съ докторомъ Чаховымъ бросилась бѣгомъ домой, на «сумасшедшій верхъ», гдѣ находился мой мальчикъ. Онъ, дѣйствительно, горѣлъ, и багрово-синія пятнышки слегка выступили на его тѣлѣ и лицѣ.

— Что? Корь? Скарлатина? Да говорите же, докторъ.

Безсознательно я схватила руку Чахова, тщательно выстукавшаго и выслушавшаго маленькаго больного, и до боли стиснула его пальцы.

По его нахмуренному лицу я догадалась сразу, что

неожиданная болѣзнь озадачила и встревожила моего старшаго товарища по театру.

— Скажите же, что съ нимъ. Да не лгите, ради Бога. Докторъ! Милый, хорошій Владимиръ Васильевичъ! Скажите правду. Одну только голую правду прошу я васъ сказать, — лепечу я, безумно волнуясь.

Онъ смотритъ на меня нѣсколько минутъ, и глаза его грустны-грустны.

— Еще ничего неизвѣстно,—выговариваетъ онъ, какъ бы съ усиліемъ.—Но, Лидочка Алексѣевна, заранѣе не волнуйтесь, ради Бога. Къ утру все выяснится, увѣряю васъ.

Къ утру! Но къ утру можно съ ума сойти или умереть отъ ужаса ожиданія.

Нечего и говорить, что мы, я и Матреша, не сомкнули глазъ ни на минуту въ эту ночь. Маленькій принцъ горѣлъ, какъ въ огнѣ. Его била жестокая лихорадка, несмотря на то, что мы закутали его такъ, точно на дворѣ былъ двадцатиградусный морозъ. Его зубенки стучали, глаза горѣли горячечнымъ блескомъ, а крошечное личико было багровое отъ жару.

Съ первыми лучами солнца, сразу залившими нашу комнату, мы обѣ, я и Матреша, съ двухъ сторонъ склонились надъ маленькой кроваткой и заглянули въ его лицо. И я едва устояла на ногахъ, увидя при яркомъ дневномъ свѣтѣ это крошечное личико, сплошь

обезображенное до неузнаваемости какими-то зловѣщими багрово-синими пятнами.

Не помню, какъ я очутилась у комнаты доктора и Вити, какъ стучала въ ихъ дверь, умоляя Владимира Васильевича встать и придти взглянуть поскорѣе на маленькаго принца, какъ онъ, наскоро одѣвшись, прошелъ къ намъ и наклонился надъ моимъ ребенкомъ... Ничего не помню, кромѣ того страшнаго, жуткаго слова, которое потрясло все мое существо, едва не лишивъ меня разсудка въ первую минуту ужаса.

— Оспа,—произнесли губы Чахова.—Оспа, натуральная оспа... И гдѣ онъ могъ ее схватить?

V

Оспа!

Когда-то я была сама больна ею еще въ институтѣ *) и помню весь ужасъ этой болѣзни. И теперь эту чашу страданій придется выпить ему—маленькому драгоцѣнному для меня существу, на пути котораго, по моему мнѣнію, должны были цвѣсти однѣ только розы. Что-то словно надорвалось въ глубинѣ моего сердца.

— Докторъ,—произнесла я, стиснувъ себѣ пальцы такъ, что они захрустѣли по всѣмъ суставамъ,—милый докторъ, слушайте, онъ можетъ умереть?

---

*) См. повѣсть «За что?»

Добрый Чаховъ отводитъ отъ меня глаза, но весь его видъ подтверждаетъ мои опасенія.

— Или, если останется живъ, эта оспа обезобразитъ его навсегда?—продолжаю я голосомъ, точно выходящимъ изъ могилы.

— О, мы его спасемъ, и изуродованъ онъ не будетъ, съ Божіей помощью...—тихо-тихо отвѣчаетъ докторъ.—Но... но, видите ли, здѣсь такого серьезнаго больного держать нельзя. Его надо отвезти въ больницу. Вѣдь это заразительно, а театръ посѣщаетъ публика. И затѣмъ, здѣсь уходъ за оспеннымъ больнымъ очень затруднителенъ.

Я смотрю на него, ничего не понимая.

— Въ больницу? Его? Маленькаго принца? Никогда!

Это «никогда» срывается такъ громко, что разносится по всему дому. И не только «сумасшедшій верхъ», но и внизу у Дашковской происходитъ переполохъ. Весь домъ поднимается сразу. Приходятъ ко мнѣ, совѣтуютъ, уговариваютъ, просятъ.

Насъ необходимо разлучить, меня съ моимъ ребенкомъ, потому что оставить его здѣсь въ общественномъ мѣстѣ нельзя. Его надо помѣстить въ больницу.

Больница въ нѣсколькихъ верстахъ отсюда, и... тамъ лечатъ только чернорабочихъ. Я знаю это, знаю, что тамъ не мѣсто моему принцу, и знаю, что тамъ не разрѣшатъ мнѣ остаться и ухаживать за нимъ... А безъ меня онъ умретъ, погибнетъ.

— Нѣтъ!—кричу я, и тутъ проявляется вся моя природная необузданная вспыльчивость. Просыпается прежняя Лида Воронская, которая за послѣдніе годы сумѣла нѣсколько обуздать себя, утихомирить свой буйный нравъ,—просыпается и вся клокочетъ отъ гнѣва.

— Нѣтъ! Тысячу разъ нѣтъ! Я не отдамъ его, я не позволю увезти его отсюда. Я день и ночь буду съ нимъ. Мы примемъ всѣ мѣры предосторожности, никто не заразится и... и...—заканчиваю, уже рыдая навзрыдъ,—имѣйте же жалость ко мнѣ. Я—мать!

Всѣ молчатъ, сгруппировавшись у дверей моей комнаты, въ которой такъ тяжело дышитъ маленькій принцъ. И глаза всѣхъ избѣгаютъ смотрѣть на меня. И лица у всѣхъ сосредоточены и блѣдны.

— Бѣдняя Лидочка Алексѣевна!—слышу я тихій голосъ Вити.

— Бѣдняжка моя!

Это говоритъ сѣдая Ольга Ѳедоровна и, притянувъ къ себѣ, нѣжно цѣлуетъ.

Боже! какъ своевременъ этотъ поцѣлуй. Такъ именно необходима мнѣ была сейчасъ эта материнская ласка. На груди доброй, чуткой женщины я даю волю слезамъ. Я плакала до тѣхъ поръ, пока не почувствовала, что кто-то крѣпко взялъ мою руку.

— Успокойтесь прежде всего,—услышала я голосъ Громова,—перестаньте. Что за малодушіе трепать нервы и портить глаза. Ребенокъ вашъ останется съ вами. Я

беру это на себя. Но вы должны взять себя въ руки и играть и репетировать, какъ будто ничего особеннаго не случилось, разумѣется, самымъ энергичнымъ образомъ продѣлывая необходимую дезинфекцію передъ каждымъ выходомъ отсюда. Вы поняли меня? Я беру всякую отвѣтственность на себя, повторяю, такъ и знайте.

И прежде, нежели я успѣла отвѣтить, поблагодарить его, произнести хоть слово, онъ уже своей равномѣрной спокойной походкой настоящаго «лорда и джентльмена», какъ навѣрное бы выразился Бобъ, покинулъ «сумасшедшій верхъ».

— О,—закричала ему вслѣдъ Маня,—это же прелесть что такое! Теперь я вижу, что мы его не понимали. Въ немъ больше сердца, чѣмъ во всѣхъ насъ, вмѣстѣ взятыхъ.

Не знаю, сколько въ немъ сердца, въ этомъ высокомъ, всегда серьезномъ, суровомъ, холодномъ на видъ человѣкѣ, но я благословляла его въ ту минуту и съ благодарностью вспоминаю о немъ теперь.

* * *

Какіе дни! Какія ночи! Какой темный мучительный ужасъ!

Мой ребенокъ вотъ уже третью недѣлю борется между жизнью и смертью. Мой маленькій обожаемый принцъ! Я неотступно съ нимъ. Я и Матреша. Когда я иду репетировать или играть, меня смѣняетъ кто-

либо изъ свободныхъ членовъ труппы: Манечка, Людмила, Витя, Чаховъ, Ольга Ѳедоровна, сама Евгенія Людвиговна—всѣ они, всѣ они незамѣнимые друзья и сидѣлки.

А маленькій принцъ горитъ попрежнему. Нарываетъ сплошь все трепещущее въ жару тѣльце и измѣнившееся до неузнаваемости личико. На рукахъ у него надѣты маленькіе мѣшечки, чтобы онъ не могъ чесать себѣ тѣла и лица. И весь онъ натертъ какой-то ужасной, дурно пахнущей мазью.

Но я не слышу этого запаха. Я вижу только дорогое личико, осунувшееся, изуродованное пятнами нарывовъ, вижу сверкающіе горячечнымъ блескомъ глазенки, ссохшіяся и синія губки моего дорогого мальчика.

Несмотря на страданія моего крошки, несмотря на безумную усталость отъ безсонныхъ ночей и вѣчнаго страха и отчаянія, я должна играть. Я дала слово Громову. Я не смѣю подводить Дашковскую. Нельзя оставлять ее безъ актрисы. Это отразится на дѣлѣ, это повредитъ сборамъ, на которые существуетъ труппа.

И я играю полуживая, исхудавшая до неузнаваемости, едва сознающая то, что говорю.

Къ драматическимъ ролямъ еще подходитъ этотъ душевный надрывъ, эта сердечная рана, истекающая кровью. Но какъ я справлюсь съ веселыми ролями, гдѣ нужно непосредственное веселье и смѣхъ?

* * *

Выдался особенно тяжелый день. Маленькому принцу стало хуже... Температура, спавшая было, неожиданно повысилась снова. А вечеромъ мнѣ предстояло играть одинъ изъ самыхъ веселыхъ фарсовъ. Моя роль—роль безудержно-веселой барышни-хохотушки, съ пѣніемъ, танцами и безконечными шалостями—представлялась мнѣ чудовищной въ этотъ вечеръ. Какъ могу я играть ее, когда на душѣ моей былъ сплошной темный кошмаръ ужаса, отчаянія, тоски и горя? И теперь только впервые я поняла всю тяжесть, всю ужасную отвѣтственность доли артистки: смѣяться сквозь рыданія, шутить съ разрывающимся сердцемъ, плясать, прыгать и напѣвать веселыя пѣсенки, когда душа погрузилась въ самую глубину необъятнаго моря страданій! И вотъ мнѣ вспомнились тогда тѣ молоденькія любительницы театра, которыя представляютъ себѣ сцену сплошнымъ веселымъ праздникомъ искусства, наполненнымъ блескомъ, цвѣтами и свѣтомъ. Какъ ошибаются онѣ! Онѣ не знаютъ всей тяжести, всей оборотной стороны медали, когда надо выступать передъ толпою съ веселымъ лицомъ, въ то время когда душа сжимается отъ невыносимой муки...

Это я особенно остро почувствовала въ тотъ вечеръ, когда въ полукороткомъ платьѣ, съ двумя косами за спиной, выбѣжала на сцену, напѣвая веселую пѣсенку..

Какъ я играла, какъ я говорила—не помню. Помню только, что, крѣпко взявъ себя въ руки, я смѣялась звонкимъ смѣхомъ, болтала непринужденно и весело,

какъ ни въ чемъ не бывало, смѣшила и забавляла толпу... Помню, какъ опустился занавѣсъ, и, задохнувшаяся отъ нестерпимо мучительныхъ переживаній, я бросилась въ уборную.

Тамъ стоялъ Громовъ съ сигарою во рту.

— Крѣпитесь, дѣточка,—сказалъ онъ,—и играйте второй актъ такъ же хорошо, какъ первый... Сегодня я очень доволенъ вашею игрой...

Но его похвала меня не трогаетъ нынче. Я къ ней теперь равнодушна. Всѣ мои мысли сейчасъ дома, у кроватки моего больного сынишки.

Второй актъ. Я выбѣгаю на сцену, чтобы плясать андалузскій танецъ съ пощелкиваніемъ кастаньетовъ, огневую, полную бурнаго веселья и удали пляску гитанъ... Кончила танецъ, и веду съ прежней безпечностью мою роль, въ то время какъ сердце то замираетъ безъ біенія, то бьется такъ, что мнѣ становится душно и холодный потъ выступаетъ у меня на лбу.

Я предчувствіемъ угадываю что-то дурное. Такъ оно и есть. Выбѣгаю, закончивъ мою роль, въ уборную и сталкиваюсь съ Людмилой, замѣнявшей меня весь этотъ вечеръ у постели моего сокровища.

— Милечка, что?—спрашиваю я и поднимаю руки, точно заслоняясь отъ удара.

— Худо, Лидочка, худо... Боюсь, что онъ...—лепечетъ она такъ сбивчиво, что я скорѣе угадываю, нежели слышу ея слова.

Крѣпитесь, дѣточка...

— Умираетъ?

— Ахъ, я не знаю. Тамъ уже Чаховъ...—И она, прислонившись къ кулисѣ, начинаетъ рыдать.

Наскоро переодѣвшись, схвативъ и накинувъ на плечи чью-то накидку, бѣгу садомъ домой. Холодный августовскій вечеръ охватываетъ меня... Въ окнѣ моемъ огни... Видны движущіяся тѣни... Это—Чаховъ, Матреша, Дашковская...

Вбѣгаю по лѣстницѣ, хватаюсь за ручку двери... Вижу странную картину: Чаховъ склонился надъ маленькой кроваткой и что-то дѣлаетъ съ багровымъ тѣльцемъ... Что—не понимаю, потому что туманъ слѣпитъ мнѣ глаза. Подхожу безъ мысли, безъ дыханія, съ замершимъ сердцемъ и, впившись затуманенными глазами въ лицо доктора, говорю сдавленно:

— Что?

Онъ, не переставая работать надъ впрыскиваніемъ лекарства въ крохотную ручку, такъ же глухо и отрывисто отвѣчаетъ:

— Есть средство его спасти, но очень рискованное, и безъ васъ я его примѣнить не смѣю. Два исхода ускорятся послѣ него: одинъ спасеніе, другой—смерть. Но безъ него, безъ этого средства, второй исходъ вѣрнѣе. Его жизнь въ опасности. Соглашайтесь.

— Я согласна,—говорю я, едва ворочая языкомъ, и, опустившись на полъ около кровати, прижимаю губы

къ крохотной горячей какъ огонь ноженкѣ.—Я согласна, докторъ.

Ужасныя минуты наступаютъ вслѣдъ за этимъ,—минуты, которыхъ я не забуду всю мою жизнь. Ледяная вода, ледяныя простыни и отчаянные стоны моего дитяти, захваченнаго этой несгерпимой ледяной ванной.

И опять мука ожиданія... Я смотрю на трепещущее, извивающееся въ судорогахъ тѣльце и жду... Вся жизнь моя перешла въ глаза, изъ нихъ льется безграничная мука любви къ этому бѣдному обожаемому мальчику, котораго такъ мучаютъ сейчасъ, чтобы спасти.

Опять стонъ, жалобный, протяжный. Послѣдній, можетъ быть, предсмертный, ужасный стонъ. И тотчасъ же наступаетъ тишина, нарушаемая лишь складываньемъ мокрыхъ шуршащихъ простынь... Маленькое, сразу успокоившееся тѣльце, распростерто въ безжизненной позѣ на постели... Раскрывшіяся безъ дыханія губки и крѣпко сомкнутые глаза...

— Онъ умеръ?—спрашиваю я беззвучно, одними глазами, однимъ жестомъ.

— Господь съ вами! Онъ живъ. Наше страшное средство помогло, онъ спасенъ,—слышу я голосъ Чахова, отсчитывающаго пульсъ на маленькой ручкѣ.

— Спас...

Я не доканчиваю. Рука, поднявшаяся для крестнаго знаменія, опускается безсильно, и съ тихимъ стономъ я падаю въ кресло безъ чувствъ.

Я падаю въ кресло безъ чувствъ...

VI

Быстро и легко идетъ процессъ выздоровленія. Чаховъ, этотъ милый Чаховъ, неотступно слѣдитъ за каждымъ шагомъ постепенно удаляющейся болѣзни. Маленькій принцъ теперь уже не принцъ больше, это какой-то деспотическій полновластный король, а мы всѣ—его покорная свита. Его забавляютъ безустали. Витя Толинъ притащилъ ему изъ лѣса ежа, Боръ-Ростовскій приноситъ каждый день на его кроватку самые красивые камешки и чудесные, пахнущіе полемъ, пестрые цвѣты. Дашковская подарила паяца. Маня и Людмила налѣпили фигурокъ изъ глины. Чаховъ безъ сожалѣнія разрѣшилъ портить свою балалайку, и маленькіе, еще совсѣмъ слабые пальчики, ставшіе похожими теперь на лапки цыпленка, извлекаютъ такіе звуки изъ ея струнъ, какихъ, навѣрно уже, эти струны, никогда не издавали.

Ольга Ѳедоровна помогаетъ мнѣ ухаживать за малюткой. Она мало говоритъ, но каждое ея слово проникаетъ мнѣ глубоко-глубоко въ сердце. Узнаю случайно, что эта бѣдная провинціальная актриса, посвятившая всю свою жизнь сценѣ, весь свой жалкій заработокъ отдаетъ дѣтямъ своей еще болѣе бѣдной сестры, а сама живетъ впроголодь. Боже мой! Сколько хорошихъ свѣтлыхъ людей встрѣчаешь среди артистической семьи! Наша труппа съ милой Дашковской доказала мнѣ

это, переживъ со мною вмѣстѣ весь ужасъ болѣзни моего ребенка. А Чаховъ! Если бы я должна была отрубить свою руку, чтобы спасти его въ минуту опасности, я, не задумываясь, сдѣлала бы это за то, что онъ вернулъ мнѣ мое маленькое умирающее дитя...

* * *

Маленькій принцъ уже выходитъ съ садъ, худенькій, коротко остриженный и такой блѣдненькій послѣ болѣзни. И,—о счастье!—слѣдовъ оспы не осталось у него на лицѣ. Только на головѣ да кое-гдѣ на тѣлѣ остались глубокія рябинки.

На сценѣ идутъ приготовленія къ пьесѣ «Трильби», которая пойдетъ въ мой бенефисъ. Дни стоятъ солнечные, яркіе, совсѣмъ не августовскіе дни. Громовъ сказалъ, что судьба заплатитъ мнѣ хоть отчасти за пережитыя муки и что бенефисъ мой долженъ быть удачнымъ, какъ никогда. И мнѣ хочется этого, какъ хочется ребенку облюбованной имъ игрушки.

* * *

Наконецъ-то наступилъ онъ, этотъ знаменательный для меня вечеръ.

Оркестръ, выписанный изъ Луги, гремитъ съ шести часовъ въ театральномъ саду. Оркестръ—это большая роскошь въ нашемъ театрѣ. Его приглашаютъ только на бенефисы, обыкновенно же въ антрактахъ у насъ играетъ таперъ.

Въ кассѣ всѣ билеты проданы, о чемъ гласитъ аншлагъ, вывѣшенный Вѣрой Виссаріоновной, исполняющей роль кассирши.

Публика нарядная, «бенефисная», привлеченная музыкой, начала стекаться уже съ семи часовъ и занимать мѣста въ партерѣ и ложахъ, которыя Витя съ Боръ-Ростовскимъ, Бековымъ и Чарышевымъ обвили длинными змѣями хвойныхъ и лиственныхъ гирляндъ.

Кончилась музыка перешедшаго изъ сада въ театръ оркестра. Начался спектакль.

Этотъ спектакль былъ послѣднимъ въ лѣтнемъ сезонѣ, и немудрено, что публика встрѣчала и провожала насъ безконечными овaціями. На мою долю, какъ бенефиціантки, ихъ выпало немало.

Мнѣ подносятъ цвѣты: букеты, корзину и опять букеты. А отъ моего отца изъ Царскаго Села присланъ чудесный снопъ пахучихъ бѣлыхъ розъ.

Отъ аплодисментовъ и овацій сильно кружится голова... И эти розы пахнутъ такъ дивно... Но главное, живъ, здоровъ и радостенъ мой маленькій принцъ. Это ли не счастье? Настоящее, захватывающее, огромное.

По окончаніи спектакля меня вызываютъ безконечно много разъ.

— Довольны вы сегодня мною?—спрашиваю я наивно Громова послѣ того, какъ мы, раскланявшись чуть ли не въ двадцатый разъ съ публикой, идемъ за кулисы.

— И не воображайте,—хмурится Громовъ.—Рабо-

тать надо, а не важничать прежде всего. И если есть ованіи и подношенія, такъ это потому только, что вы— бенефиціантка. И дачная публика всегда снисходительна. Поняли?

— Поняла,—хохочу я послѣ долгаго перерыва заразительно и громко.—Поняла, милый, строгій учитель.

Онъ не выдерживаетъ и смѣется въ отвѣтъ своимъ сдержаннымъ смѣхомъ.

— Ну, сегодня, положимъ, было недурно. Только... только,—онъ дѣлаетъ опять «строгое, сердитое лицо»,— только прошу не складывать оружія и не почивать на лаврахъ, а работать и работать безъ конца. Будете? Руку!

Я протягиваю ему руку, ставъ мгновенно серьезной, и говорю какъ бы клятвенно, глядя ему въ лицо:

— Буду работать, буду, потому что безъ работы и борьбы, какъ говорилъ «маэстро», ничего нельзя достигнуть.

И я крѣпко, по-товарищески, жму его пальцы.

* * *

Черезъ два дня мы уѣзжаемъ, разлетаемся, какъ птицы, въ разныя стороны. Меня ждетъ школа и предстоящій весенній выпускной экзаменъ, а въ связи съ нимъ безумная работа къ моменту, рѣшающему мою судьбу. Другихъ членовъ труппы ждутъ ангажементы въ провинціи и Петербургѣ.

Евгенія Людвиговна трогательно прощается со мною,

зоветъ играть зимою въ ея театрѣ на Пороховыхъ, а лѣтомъ опять въ дачномъ театрѣ на Сиверской.

Съ какимъ наслажденіемъ я бы исполнила желаніе этой симпатичнѣйшей и милѣйшей изъ антрепренершъ—хозяекъ театра, но... зимой надо много работать на школьной сценѣ, готовясь къ выпуску, а весною истекаетъ срокъ отлучки рыцаря Трумвиля. Онъ пріѣдетъ, и я не знаю, гдѣ я проведу лѣто съ семьей.

Съ моими товарищами по лѣтнему сезону я прощаюсь, какъ сестра съ сестрами и братьями. Мы успѣли привязаться другъ къ другу за это лѣто. А пережитая болѣзнь «театральнаго дитё», какъ прозвалъ Чаховъ моего сынишку, еще больше сблизила насъ.

И потому, когда поѣздъ медленно поползъ отъ станціонной платформы Сиверской и я, высунувшись изъ окна, кричала послѣднія привѣтствія провожавшей меня маленькой труппѣ, мой голосъ дрожалъ невольно, и сердце сжималось грустью по пережитымъ съ ними днямъ...

VII

Дождливымъ ненастнымъ сентябрьскимъ днемъ бѣгу въ первый разъ послѣ лѣтняго сезона на курсы. Рѣдкіе пѣшеходы, шлепающія по лужамъ пролетки, открытые зонты—какая печальная картина!

Въ два часа на курсовой сценѣ назначена репетиція шекспировскаго «Сна въ лѣтнюю ночь». Теперь уже

на лекціи ходить не надо: мы—практиканты-третьекурсники. Какъ гордо это звучитъ!

Бѣгу во всю прыть, забывъ обо всемъ, до дождя включительно. Опаздывать нельзя. Уже безъ четверти два, а Юрій Эрастовичъ аккуратенъ до послѣднихъ предѣловъ возможнаго.

— Здравствуйте, барыня Чермилова.

Это Яковъ, школьный швейцаръ изъ нашей раздѣвальни, привѣтствуетъ меня.

Балетные ученики шумно сбѣгаютъ съ лѣстницы, торопясь на свои репетиціи въ Маріинскій театръ, и такъ же горячо привѣтствуютъ меня, точно мы не видѣлись, по крайней мѣрѣ, три года. А всего три мѣсяца только прошло со дня переходнаго испытанія на третій курсъ.

Сейчасъ, сейчасъ я увижу своихъ: мою Ольгу, печальную, серьезную Саню, веселую Марусю, нарядную Ксенію, длиннаго Боба, Борю Коршунова, Ѳедю, Володю, Костю. Жаль, что Васи Рудольфа нѣтъ съ нами, и Лили тоже.

Влетаю, какъ шальная, такъ сильно рванувъ дверью, что становится больно собственной рукѣ.

— Уррра! — оретъ длинный Бобъ и, взмахнувъ своими костлявыми руками, отвѣшиваетъ такой поклонъ, какому позавидовалъ бы любой цирковый клоунъ.

— Да здравствуетъ премьерша сиверскаго театра!— вторитъ ему пискливымъ дискантомъ Береговой.

Ѳедя становится на одно колѣно, поднимаетъ руки и съ жестомъ на манеръ жреца, приготовляющагося къ жертвоприношенію, говоритъ:

— Привѣтъ королевѣ.

Цѣлую по пути Марусю въ ея смѣющуюся ямочку на подбородкѣ, душу въ объятіяхъ Ольгу, крѣпко жму руки Санѣ и «мальчикамъ».

— А гдѣ же Ксенія? Гдѣ Боря Коршуновъ?— изумленно срывается у меня.

Узнаю потрясающія вещи. Ксенія «измѣнила» искусству, бросила мечту о сценѣ, вышла замужъ за одного молоденькаго офицера, друга дѣтства, и занялась исключительно хозяйствомъ. А Борисъ Коршуновъ, какъ-то застѣнчиво краснѣя и въ то же время гордо блестя глазами, сообщаетъ мнѣ Маруся, имѣлъ такой огромный успѣхъ за это лѣто во Псковѣ, что, возомнивъ себя вполнѣ законченнымъ прекраснымъ актеромъ, онъ рѣшилъ, что учиться ему нечему, да и не къ чему больше. Къ тому же его пригласили на главныя роли въ однинъ изъ лучшихъ театровъ столицы.

— Ему предложено чудное жалованье и всѣ лучшія роли,—не безъ гордости добавляетъ Маруся.

— А все-таки и это измѣна. Хорошъ, нечего сказать!—говорю я сердито, но, вспомнивъ неожиданно Бориса играющимъ на сценѣ, невольно сдаюсь:—Хотя, пожалуй, въ школѣ ему дѣлать нечего: это совершенно готовый талантъ.

— Аминь. Да будетъ такъ,—подтверждаетъ Бобъ, нимало не остепенившійся за лѣто, несмотря на важную роль перваго резонера, которую онъ игралъ всѣ эти три мѣсяца въ Народномъ театрѣ.

— Теперь мы заживемъ дружно, маленькой семьей, разовьемъ другъ передъ другомъ наши мечты и мысли... Откроемъ дерзновенія наши и широкими взмахами крыльевъ взлетимъ къ намѣченнымъ вершинамъ,— мечтательно говоритъ Ольга, такая же милая фантазерка, какою была и прежде.

— На вершину, н-да-съ, это хорошо на вершину, а ежели оттелева да турманомъ, вверхъ тормашками? А? Съ вершины-то? Каково?—паясничаетъ Ѳедя.

— Господа, тише! Юрій Эрастовичъ пришелъ.

Вошелъ нашъ молодой, всегда остроумный, веселый, талантливый руководитель, и постепенно сталъ развертывать при нашемъ участіи картину плѣнительной красивой шекспировской сказки..

* * *

— Господа, новость и самая животрепещущая: скоро пріѣзжаетъ изъ Италіи знаменитая актриса, удивительный талантъ, Тина-ди-Лоренца, и я предлагаю почтить ее въ первый же спектакль: отправить къ ней маленькую депутацію отъ третьекурсниковъ Образцовой школы.

Все это Костя Береговой произнесъ однимъ духомъ,

влетая въ партеръ школьнаго театра въ одинъ изъ ноябрьскихъ дней, когда мы репетировали уже другую пьесу, «сдавъ» передъ начальствомъ «Сонъ въ лѣтнюю ночь».

— Прекрасно, прекрасно. Но только, какъ мы будемъ съ нею объясняться. Вѣдь она итальянка?—и, покачивая съ сомнѣніемъ русой головкой, Маруся дѣлаетъ «большіе глаза».

— По-итальянски я не въ зубъ толкнуть. А—ни—ни,—съ ужасомъ изрекаетъ Бобъ.

— А я знаю: макарони, лазарони, пантолони, грація, синьоры и синьорини, осетрины, Зины, Дины, Лины.., апельсины,—скороговоркой лепечетъ Ѳедя.—Не очень плохо, не правда ли?

— Совсѣмъ даже хорошо, если при этомъ букетъ ей поднести въ три обхвата,—соглашается Володя.

— А на какіе «пенендзы», спрашивается?—живо заинтересовывается Костя.

— Ничего, наскребемъ какъ-нибудь,—говорю я.

Мы, дѣйствительно, наскребываемъ. Вмѣсто двухъ блюдъ за обѣдомъ въ продолженіе цѣлой недѣли рѣшаемъ ѣсть одно.

Вечеромъ, въ первый спектакль итальянской знаменитости, собираемся въ ближающую къ сценѣ ложу всѣмъ курсомъ въ восемь человѣкъ. У Ѳеди нарвало флюсомъ щеку изъ-за больного зуба такъ сильно, что физіономія у него получилась жалкая и комическая.

Ольга такъ надушилась орхидеей, что сосѣдній генералъ въ ложѣ сталъ чихать самымъ добросовѣстнымъ образомъ, по сорокъ разъ въ минуту, какъ серьезно увѣрялъ Бобъ.

— Господа, кто такъ неистово изображаетъ ландышъ?—сердито обнюхивая воздухъ, шипитъ Костя Береговой.

— Это не ландышъ, а орхидея, несчастный!—возмущаюсь я и декламирую вполголоса свое собственное, уже давно написанное, стихотвореніе:

Чрезъ лотосовъ лѣсъ, чрезъ садъ орхидей
Проведу тебя къ хижинѣ бѣдной моей.
Тамъ, гдѣ розы пахучія пышно цвѣтутъ,
Тамъ, гдѣ ландыши блѣдно гирлянды плетутъ,
Тамъ я пестрыя сказки тебѣ разскажу,
Тамъ...

— Апчхи!—дѣлаетъ генералъ въ сосѣдней ложѣ.

О, несчастныя орхидеи!

— Я говорилъ Оленькѣ, что она уморитъ его,—смѣется Бобъ.

За три минуты до поднятія занавѣса влетаетъ буреей въ нашу ложу болгарка.

— Господа, васъ толки восемъ лудей въ ложѣ. Давайтэ менэ мэсто,—командуетъ она и безцеремонно шлепается на Ѳединъ стулъ, съ котораго онъ имѣлъ несчастіе сойти на минуту.

— То-есть, какъ это? Позвольте, миледи, вы не

наша. Вы второкурсница, а здѣсь выпускные,—возмущается Бобъ.

— Нычего, я и тутъ посыжу.

— Да нельзя этого, нельзя. Тутъ и такъ насъ восемь. да еще и орхидеи вдобавокъ,—замѣчаетъ Бобъ.

— Нычего.

Она устраивается поудобнѣе и высовывается до половины изъ ложи, отгораживая насъ всѣхъ отъ сцены.

Саня тихо урезониваетъ ее.

— Послушайте, Султана, однако...

Никакого дѣйствія. Она водворилась вполнѣ прочно на чужомъ мѣстѣ.

— Тс... тише, начинается,—шипятъ на насъ изъ сосѣдней ложи. Слышится тутъ же не особенно лестное добавленіе по нашему адресу:

— Эти курсовые—какіе-то разбойники.

— Я оглохъ,—смѣется Бобъ тихонько и лукаво.

Вотъ она, знаменитая Тина, первая актриса-красавица Италіи! Я вижу безподобную, антично прекрасную фигуру, очаровательное лицо, жесты, полные экспрессіи.

И эта рѣчь, пѣвучая, какъ музыка, нѣжная и мягкая, съ быстрыми переходами, со звонкими колокольчиками и бархатомъ голоса.

Между четвертымъ и послѣднимъ дѣйствіемъ мы пробираемся на сцену съ букетомъ, который несетъ Ольга.

— Ты скажешь ей рѣчь на французскомъ языкѣ,— говоритъ мнѣ Саня такъ строго и серьезно, что ослушаться я не могу.

Сторожъ не хочетъ насъ пустить въ уборную дивы.

— Но мы—депутація старшекурсниковъ!—возмущается Бобъ.—И цвѣты, вотъ видишь, принесли, любезный. Не тебѣ же ихъ дарить. Лорды, джентльмены и миледи, идемъ!—и онъ проходитъ мимо сторожа съ самымъ энергичнымъ видомъ, какъ будто передъ нимъ не сторожъ, а пустое пространство. У уборной дивы насъ останавливаетъ горничная итальянка, смуглая, черноглазая, со сверкающими въ улыбкѣ зубами.

— Граціа! (то-есть, благодарю, по итальянски)—ни съ того ни съ сего говоритъ Бобъ единственное слово, которое онъ знаетъ по-итальянски.

Та дѣлаетъ большіе глаза, не понимая, за что благодаритъ ее этотъ высокій юноша съ оливково-желтымъ лицомъ и прямыми, какъ палки, ногами. Потомъ начинаетъ хохотать и съ хохотомъ же убѣгаетъ въ уборную своей хозяйки, сдѣлавъ намъ знакъ подождать.

Мы ждемъ. Всѣ девять человѣкъ (болгарка присоединилась къ намъ помимо нашей воли), столпились у двери и стоимъ, затаивъ дыханіе. За дверьми слышится пѣвучій и мелодичный итальянскій лепетъ.

И вотъ, распахивается дверь.

— Грація!—опять ни къ селу, ни къ городу заявляетъ Бобъ и первый шагаетъ своими длинными но-

гами туда, въ уборную, по бѣло-розовымъ коврамъ къ туалетному столу, за которымъ сидитъ дива. За нимъ Ольга съ букетомъ и я, подбирающая въ умѣ французскія слова.

Дива встаетъ намъ навстрѣчу.

Я вижу черные-черные, какъ траурная фата, волосы и глаза цвѣта угля, огромные глаза итальянки. Я приковываюсь взглядомъ къ этимъ глазамъ и начинаю свою рѣчь, трепещущая отъ волненія. Ольга въ граціознѣйшемъ реверансѣ склоняется передъ нею и передаетъ букетъ. Саня и Маруся дѣлаютъ тоже по глубокому поклону.

Смуглыя душистыя руки дивы жмутъ наши пальцы

Она отвѣчаетъ намъ по-французски. Говоритъ о томъ, какъ любитъ молодежь, какъ дорожитъ мнѣніемъ неподкупныхъ юныхъ цѣнителей.

Всѣ слушаютъ, затаивъ дыханіе.

Даже Бобъ дѣлаетъ видъ, что понимаетъ, и совсѣмъ несвоевременно поддакиваетъ наклоненіемъ головы.

Едва только дива закончила свою рѣчь, какъ онъ расталкиваетъ насъ довольно безцеремонно и совсѣмъ близко подходитъ къ столу красавицы-артистки, здѣсь онъ опускается на одно колѣно, прижимаетъ руку къ груди и, изобразивъ на своей желтой, худощавой физіономіи самое умильное выраженіе, лопочетъ, прежде чѣмъ мы получаемъ возможность его удержать:

— Грація, синьора... Мнѣ грація... Потому что

мнѣ... то есть... не то... Компрене, макарони... Не... то есть, я... лазарони... Нонъ... не лазарони... Вотъ и финита ля комедія. Je suis amour! (т. е. я амуръ).

Бѣдный Бобъ, онъ хотѣлъ сказать, что влюбленъ въ игру дивы, въ восторгѣ отъ нея. А вышла какая-то ерунда по незнанію имъ французскаго языка. Бѣдняга!

Эффектъ отъ послѣднихъ словъ получился неожиданный.

Дива безсильно опускается въ кресло, закрываетъ лицо руками и трясется отъ смѣха. А мы, смущенные, раскланиваемся и уходимъ изъ уборной.

* * *

Я послѣдняя выхожу изъ театра, замѣшкавшись въ раздѣвальнѣ.

Дождь льетъ, какъ изъ ведра... И ни одного извозчика, къ моему несчастью. У театральнаго подъѣзда, стоитъ карета... Счастливцы, тѣ, кто поѣдутъ въ ней. Я съ завистью смотрю на закрытый экипажъ. Внезапно сторожъ распахиваетъ дверь, и кто-то, маленькій и изящный, закутанный въ мѣховое манто, съ голубымъ капоромъ на миніатюрной головкѣ, выходитъ на подъѣздъ.

—Коммиссаржевская!

Я вижу почти дѣтское, удивительно моложавое, несмотря на ея 40 лѣтъ, личико, большіе, какъ океанъ, синіе глаза и удивительно приподнятыя брови.

— Хотите, я подвезу васъ?—слышу я голосъ, тотъ

самый голосъ, передъ которымъ всякій другой кажется ничтожнымъ и глухимъ.

Неужели знаменитая артистка говоритъ это мнѣ? Мнѣ, маленькой, никому неизвѣстной актрисѣ? Я смотрю въ синюю бездну этихъ прекрасныхъ глазъ и лепечу что-то несуразное.

— Такъ ѣдемъ же. Не стѣсняйтесь меня, ради Бога, коллега.

Должно быть, у меня безконечно смущенное лицо въ это время, потому что Вѣра Ѳедоровна старается ободрить меня, начинаетъ разговоръ объ игрѣ Тины ди-Лоренцо.

— Великолѣпно, но... но она играетъ...—перебиваю я знаменитую артистку,—а на сценѣ, мнѣ кажется, надо жить... Душу свою отдать публикѣ, открыть ее и перебросить черезъ рампу, какъ вы...—неожиданно заканчиваю я и смотрю въ ея лицо съ восторгомъ и любовью.

— Благодарю,—говоритъ она просто и протягиваетъ мнѣ руку.

— Вотъ, что меня удивляетъ,—помолчавъ съ минуту, произноситъ она снова чарующимъ голосомъ,—какъ вы, такія милыя, юныя, непосредственныя, такія чуткія, я бы сказала, дѣти сцены,—какъ вы могли такъ поступить съ Давыдовымъ?—Онъ со слезами на глазахъ говорилъ мнѣ о томъ, какъ его обидѣли его дѣти,—продолжала Вѣра Ѳедоровна.

— О, не надо! Не надо!—почти крикнула я и схватила ея руки.—Развѣ мы не раскаиваемся, развѣ намъ не больно?

— Да, да, и онъ васъ простилъ. Я это знаю. Какъ могъ не простить васъ этотъ прекрасный, великодушный человѣкъ?

Карета проѣзжаетъ по Фонтанкѣ, гдѣ я нанимаю теперь въ огромномъ домѣ двѣ уютныя комнатки въ пятомъ этажѣ.

На прощанье Вѣра Ѳедоровна сказала мнѣ, что слышала отъ «маэстро» кое-что пріятное обо мнѣ... Онъ считаетъ, что я ношу въ себѣ искру Божію, какъ и Орлова, у которой эта искра постепенно разгорается въ большой костеръ...

На прощаніе я попросила разрѣшенія поцѣловать Вѣру Ѳедоровну и съ благоговѣніемъ коснулась ея щеки. И всю ночь видѣла во снѣ синюю глубину глазъ великой артистки и слышала ея голосъ, запавшій мнѣ въ душу съ перваго мгновенія, какъ и всѣмъ, кто слышалъ его.

VIII

Бѣшено быстрымъ, бурливо клокочущимъ валомъ пронеслось въ кипучей работѣ время. Промчалось Рождество съ его праздничной сутолокой, съ его циркомъ и клоунами, куда я возила маленькаго принца, съ елкой у насъ въ Царскомъ, куда мы ѣздили на Святкахъ... Прошелъ въ той же неустанной работѣ еще мѣсяцъ, и, послѣ шумной и суетливой Масленицы, подоспѣлъ Великій постъ — срокъ назначенныхъ дебютовъ, а съ

нимъ хлынула и ранняя жизнерадостная голубая и ясная весна. Зачирикали воробьи, трепыхаясь въ намокшемъ снѣгѣ, загулькали сѣрые голуби, и съ крышъ потекли потоки воды...

Страшный для насъ, третьекурсниковъ, Великій постъ съ его выпускными дебютами вступилъ въ свои права.

Теперь у всѣхъ насъ одна горячая, завѣтная мечта—попасть на Образцовую сцену. Уже заранѣе объявлено, что есть только двѣ вакансіи: одна женская и одна мужская, на которыя, разумѣется, и опредѣлятъ болѣе талантливыхъ, болѣе достойныхъ изъ насъ.

Образцовая сцена! Попасть на ея желанныя подмостки—это значитъ играть бокъ-о-бокъ съ крупнѣйшими талантами Россіи, это значитъ практиковаться на лучшихъ образцахъ, это значитъ имѣть постоянное положеніе, заработокъ и пенсію подъ старость!

Не мудрено поэтому, что каждый изъ насъ втайнѣ лелѣетъ эту свѣтлую мечту— попасть на Образцовую сцену.

Пьесы уже давно выбраны, роли распредѣлены, разучены и срепетированы почти вполнѣ, словомъ, все готово для предстоящихъ выпускныхъ испытаній, которыя будутъ производиться не на школьныхъ подмосткахъ, а на Образцовой сценѣ, въ присутствіи всего начальства, артистовъ, казенныхъ и частныхъ театровъ, газетныхъ рецензентовъ, столичныхъ и провинціаль-

ныхъ антрепренеровъ и публики, т. е. безплатно приглашенныхъ на эти спектакли нашихъ родныхъ и знакомыхъ.

Поэтому не странно, если сердца наши бьются и замираютъ при одной мысли, что близится предстоящій дебютъ.

Саня Орлова, какъ и подобаетъ ея трагическому таланту, выступитъ въ классической древней трагедіи Софокла «Антигона». Ольга—въ роли сестры Антигоны. Я и Маруся Коршунова экзаменуемся въ бытовой комедіи «Хрущовскіе помѣщики».

Талантливая Саня съ ея печальнымъ, а въ минуту артистическаго «захвата» трагическимъ лицомъ, съ ея повелительнымъ низкимъ голосомъ и широкимъ классическимъ жестомъ,— она сумѣетъ заставить плакать толпу,—такова сила ея дарованія. Въ этомъ мы убѣждены всѣ, кромѣ, кажется, ея самой... Но быть второй послѣ первой Сани я не хочу. Вся моя гордость протестуетъ противъ этого. И вотъ я рѣшила взяться за совсѣмъ противоположное амплуа Санѣ—изобразить придурковатую, удивительно карикатурную, смѣшную деревенскую дѣвушку Глашу, которая, во что бы то ни стало хочетъ сдѣлаться «настоящей барыней-дворянкой».

* * *

Весенній мартовскій вечеръ. Безшумно падаютъ голубыя сумерки... На противоположной крышѣ два голубя нѣжно воркуютъ, отыскивая кормъ.

Маленькій принцъ гуляетъ съ Матрешей въ ближайшемъ Екатерининскомъ скверѣ. Я сижу на своей «башнѣ», какъ мои коллеги называютъ мою квартиру, и въ двадцатый разъ перечитываю полученное поутру письмо рыцаря Трумвиля. Онъ пріѣзжаетъ черезъ два мѣсяца только. Къ дебюту моему онъ не успѣетъ ни за что. Мое сердце невольно сжимается. Мнѣ такъ хотѣлось, чтобы онъ увидѣлъ свою Брундегильду въ забавно-смѣшной роли глупой Глаши, онъ, мой милый рыцарь Трумвиль!

Звонокъ въ крохотной прихожей. Быстрые шаги Анюты... Чей-то оживленный говоръ за дверью... Слышу протестующій голосъ служанки.

— Нельзя, занята наша-то, къ экзаменту работаетъ. Не велѣно принимать.

— Ну, это дудки, миледи. Сіе приказаніе никоимъ образомъ не можетъ относится къ друзьямъ, — слышу я знакомый голосъ.

— А вы не ругайтесь. Ишь какое слово выковырили. Даже и не повторить.

— Миледи? Гм. Это хорошее слово. Лорды и джентльмены, входъ въ парламентъ не воспрещенъ?— уже кричитъ Денисовъ во весь голосъ своимъ громкимъ басомъ.

— Входи, голубчикъ Бобъ, входи. Анюта, пустите его,—командую я изъ своей комнаты.

Онъ сбрасываетъ съ гордымъ видомъ свое до-

нельзя постарѣвшее за три зимы пальто и, комически расшаркиваясь, входитъ.

— Ты что? Здравствуй,—бросаю я разсѣянно.

— Очень любезный пріемъ, нечего сказать...

Онъ дѣлаетъ обиженное лицо, но, не выдержавъ, улыбается безпомощно и смущенно, какъ ребенокъ.

— Никакъ, понимаешь ты, не выходитъ у меня вотъ эта сцена. Прорепетируемъ ее, пожалуйста, со мной.

— Давай репетировать, Бобъ, очень рада. У меня самой эта сцена не идетъ.

— Ну-съ, устраивайся.

И я вскакиваю съ мѣста. Столъ въ моей комнатѣ перекувыркивается вверхъ ногами, изображая сиреневый кустъ. Стулья валятся на бокъ, это—низенькія дерновыя скамейки. Умывальникъ приставляется къ комоду—это дача въ отдаленіи. Хватаю зонтикъ, раскрываю и, ставъ у окна, начинаю, отчаянно жестикулируя, свою роль.

Бобъ тоже вскакиваетъ съ дерновой скамьи, то есть съ опрокинутаго стула, и, тоже отчаянно жестикулируя, «играетъ» во-всю у другого окна.

Мы увлекаемся постепенно до того, что забываемъ все кромѣ, нашей сцены. И вотъ, въ самый разгаръ ея, черезъ открытую форточку до нашихъ ушей доходятъ какіе-то странные возгласы со двора. Останавливаемся на полуфразѣ, заглядываемъ въ окна на дворъ и, совсѣмъ уже смущенные, смолкаемъ.

— Ахъ!

На дворѣ толпа. Какіе-то мастеровые, кухарки, прислуга, какіе-то мальчишки. Все это, задравъ головы до предѣловъ возможнаго, глядитъ ко мнѣ въ окна.

— Помѣшанные!

— Сумасшедшіе.

— Въ больницу бы ихъ.

— На-ко-сь, какъ же, такъ они тебѣ и дадутся!— слышимъ мы съ Бобомъ прекрасно долетающіе со двора голоса.

— Старшаго бы позвать.

— Либо кого изъ подручныхъ.

— Больно помогутъ твои подручные!

Мы слушаемъ... Я съ открытымъ ртомъ и открытымъ зонтикомъ; Бобъ съ изумленнымъ лицомъ. И неожиданно, взглянувъ другъ на друга, разражаемся такимъ неудержимымъ хохотомъ, что слезы выступаютъ у насъ изъ глазъ и градомъ катятся по лицамъ.

А на дворѣ новая суматоха. Очевидно, тамъ окончательно убѣдились, что у насъ у обоихъ острое помѣшательство, и кое-кто изъ болѣе храбрыхъ въ толпѣ рѣшительно направляетъ шаги къ лѣстницѣ, ведущей на нашу вышку. Снова звонокъ, стуки въ дверь. Громкіе голоса у порога.

— Молчи, Бобъ,—шепчу я, трясясь отъ смѣха,— перестань хохотать или насъ отвезутъ въ сумасшедшій домъ.

— Они при-ни-ма-ютъ насъ насъ за по-мѣ-шан-ныхъ,—снова, едва выговаривая слова, заливается онъ.

— Пустите, не то дверь сломаемъ,—долетаетъ до насъ грозный окрикъ.

Анюта, вся бѣлая, какъ бѣлый передникъ, бросается къ дверямъ, почему-то вооружившись кочергой.

— Стойте, Анюта!—вскрикиваетъ Бобъ и съ самымъ рѣшительнымъ видомъ направляется тоже къ двери.

— Лорды и джентльмены!—кричитъ онъ, широко распахивая дверь, въ которую заглядываютъ испуганные любопытныя и взволнованныя лица.—Лорды и джентельмены, неужели вамъ не приходилось видѣть играющаго актера? Неужели вы, какъ азіаты и древніе варвары, не умѣете отличить талантливаго дѣятеля сцены отъ жалкаго сумасшедшаго?

Онъ говорилъ очень убѣдительно и громко, такъ громко, что старшій дворникъ съ двумя подручными слышатъ со двора его негодующую рѣчь и просятъ молодого господина успокоиться и толпу—разойтись.

Мы, наконецъ, снова остаемся одни: я, Бобъ и Анюта, но о возобновленіи репетированія, разумѣется, не можетъ быть и рѣчи.

— Идемъ въ скверъ къ маленькому принцу,—предлагаю я.

Это единственное, что и остается сдѣлать,—съ самымъ серьезнымъ видомъ соглашается мой товарищъ.

По дорогѣ онъ признается мнѣ, что не спитъ ночей, волнуясь и мечтая объ Образцовой сценѣ.

— Ты понимаешь, Лидочка,—говоритъ онъ,—вѣдь всѣ эти три года я вырвалъ изъ жизни для того только, чтобы попасть на Образцовую. Провинціальная сцена меня не удовлетворитъ, я такъ мечтаю о большой, крупной. Мнѣ кажется, если меня не примутъ—я не переживу.

— Полно, Бобъ; тебя примутъ. Ты самый талантливый изъ мужчинъ нашего курса.

— Ты это отъ сердца говоришь?

— Ну вотъ, разумѣется, отъ сердца.

— Вѣдь не капризъ это, пойми. Мечта всей моей жизни!

— И она исполнится,—говорю я искренно и убѣжденно.

— Урра!—кричитъ онъ, забывшись, на всю площадь.—За это твоему маленькому принцу покупаю шаръ вотъ у того джентльмена,—и онъ указываетъ рукою на мужичка, продающаго шары.

— Перестань, Денисовъ, вѣдь это стоитъ твоего обѣда.

— Ну это дудки, миледи. Анюта завтра накормитъ меня у васъ, а у принца будетъ шаръ, или я полнѣйшее ничтожество и бездарность.

Онъ подзываетъ продавца и покупаетъ самый лучшій, большой красный шаръ. Маленькій принцъ видитъ

издали эту многозначущую для него операцію и мчится къ намъ во всю прыть своихъ трехлѣтнихъ ноженокъ.

И вотъ, нужно же было случиться такому несчастью! Маленькія ноженки заплелись немного, и крошечная фигурка, съ жалкой гримаской, плача, растянулась на пескѣ. Въ тотъ же мигъ злополучный шаръ выскользнулъ изъ рукъ Боба и, плавно колеблясь, поплылъ въ воздухѣ.

А публикѣ Екатерининскаго сквера, къ великому удовольствію нянекъ и ребятишекъ, представилось курьезное зрѣлище, какъ длинный человѣкъ съ желтымъ лицомъ факира прыгалъ на мѣстѣ съ вытянутыми вверхъ руками, стараясь поймать за веревочку шаръ, уплывавшій все выше и выше въ голубое пространство.

IX

Въ большихъ бѣлыхъ залахъ Вдовьяго дома въ вечерніе часы, когда вся вдовья половина засыпаетъ крѣпкимъ сномъ, такъ пріятно заниматься.

Саня Орлова, Ольга и я забрались въ самую послѣднюю и менѣе другихъ посѣщаемую вдовами-старушками залу и тамъ рѣшили пройти монологи Антигоны и ея сцены съ сестрою.

Десять ударовъ давно отбило на большихъ часахъ въ коридорѣ, и точно легкимъ синеватымъ туманомъ сумерекъ застлало огромную залу. Въ этомъ красивомъ таинственномъ полумракѣ такъ рельефно выдѣлялось

сѣрое платье Сани, вся ея небольшая фигура съ поднятыми вверхъ руками, заломленными надъ головой. Такъ красиво звучалъ ея голосъ, когда она изливала предсмертныя жалобы Антигоны:

О, Ѳивы, обильныя колесницами,
О, Деркейскія волны,
Рощи лѣсовъ заповѣдныя,
Я въ свидѣтели всѣхъ васъ зову...

Мы съ Ольгой стоимъ притихшія, подавленныя этой глубиной чувства, этой красотой темперамента и голоса, такого низкаго, грудного и бархатнаго въ то же время

— Ее примутъ — она талантъ,—шепчетъ мнѣ Елочка.

— О, она сама не пойдетъ на Образцовую сцену,—такимъ же тихимъ шопотомъ отвѣчаю я,—она хочетъ служить въ провинціи, она желаетъ играть много хорошихъ и сильныхъ ролей. И она права. Развѣ это не талантъ, способный подчинить толпу? А голосъ?

— Слушай! Слушай!—зашептала съ какимъ-то таинственнымъ восторгомъ Ольга.

Въ эту минуту лунный свѣтъ прорѣзалъ серебристо-голубоватой полоской залу и освѣтилъ трагическую фигуру Сани и ея вдохновенное лицо.

Безъ суда, безъ расправы,
Ни въ чемъ неповинную
На какое страданье, какой человѣкъ
Дочь владыки, меня, обрекаетъ на смерть!...

Полетѣли крылатыми мощными орлицами прекрасныя слова Антигоны, приговоренной къ смерти врагомъ ея умершихъ братьевъ и отца. Прекрасная греческая царевна, какъ живая, встала передъ нами.

Но что это? Бѣлая тѣнь заслонила отъ насъ Саню, ставъ между нами и ею... Бѣлый капотъ, похожій на древній хитонъ, подобранные подъ бѣлый же шарфъ сѣдые волосы, и прямая, дѣвически-стройная фигура появилась передъ нами.

— Графиня Кора! Молчаливая графиня! — прошептали мы всѣ трое и склонились передъ ней въ низкомъ почтительномъ реверансѣ.

Она оглядѣла насъ всѣхъ троихъ, при лунномъ свѣтѣ сама похожая на странную таинственную сказку. Ея взглядъ пробѣжалъ мелькомъ по Елочкѣ, по мнѣ и задержался на лицѣ Сани.

И вотъ произошло то, чего всѣ мы трое не ожидали. Графиня сдѣлала два шага, приблизилась къ Санѣ, и тонкія руки, прикрытыя бѣлымъ батистомъ матинэ, обвились вокругъ шеи дѣвушки. Глаза графини съ любовью остановились на печальномъ, нѣсколько смущенномъ и чуть-чуть испуганномъ лицѣ Орловой, и она заговорила, тихимъ и нѣжнымъ, какъ бы надломленнымъ горемъ голосомъ.

— Милое дитя...—произнесла она, и точно музыка подъ рукой незримаго музыканта зазвучалъ въ нашихъ ушахъ ея голосъ,—я знаю, что вы декламировали сейчасъ.

Я знаю этотъ отрывокъ. Подъ чуднымъ небомъ Эллады мы съ мужемъ и покойной дочерью слышали эту божественную трагедію Софокла. Это былъ послѣдній спектакль, который мы видѣли вмѣстѣ... Потомъ уѣхали въ ту ужасную страну, гдѣ насъ ждало горе, гдѣ погибъ графъ, гдѣ умерла моя дѣвочка. Милое дитя, вы не знали горя потери, когда любимое, дорогое существо, осыпанное цвѣтами, лежитъ неподвижное въ бѣломъ гробу! Вы не видѣли горя, милыя дѣти—уже ко всѣмъ намъ обратилась она, и ея печальные глаза загорѣлись ярко,—и не дай вамъ Богъ испытать его. Все приходитъ, уходитъ мимолетно: и радости, и грезы жизни, и золотые сны юности, все забывается, но не горе—нѣтъ. Горе потери дорогихъ существъ, горе вѣчно... Будьте счастливы, дѣти, этого желаетъ вамъ отъ души бѣдная графиня Кора. А за монологи Антигоны благодарю васъ. Они дали мнѣ минуту забвенья, одинъ счастливый мигъ!..

Легкое прикосновеніе къ нашимъ пальцамъ холодной нѣжной тонкой руки, и она исчезла за дверью залы такъ же быстро, почти незамѣтно, какъ и въ первый разъ.

Саня упала головою на скамейку и, сжавъ шею пальцами, беззвучно зарыдала отъ жалости. Я и Ольга стояли, замирая и не отводя глазъ отъ порога, гдѣ намъ чудилось, что стояла еще залитая серебрянымъ сіяніемъ мѣсяца тонкая высокая фигура графини. И точно какой-то вихрь ворвался мнѣ въ душу.

— Ольга! Саня!—закричала я въ приступѣ какой-то чужой, словно буря захватившей все мое существо, непонятной и невѣдомой силы.—Оля! Саня! Сколько горя на землѣ! Вотъ мы страдаемъ, волнуемся по пустякамъ, сгораемъ на медленномъ огнѣ и снова оживаемъ отъ малѣйшей непріятности, отъ маленькой невзгоды или радости. Мы боремся и кипимъ за этотъ злосчастный конкурсъ, за полученіе мѣста на Образцовой сценѣ, а тутъ вся жизнь кончена съ молодыхъ лѣтъ... Тутъ умираютъ близкіе у человѣка, и онъ, этотъ человѣкъ, эта печальная графиня Кора, навсегда замыкается печатью молчанья отъ людей. Велика же любовь ея къ умершимъ, если напоминаніе объ «Антигонѣ», видѣнной ею съ ними, заставило ее заговорить.

Я хочу сказать еще что-то и не могу... Мои мысли кружатся, какъ огненныя птицы, и душа моя горитъ, какъ въ огнѣ. Смутные образы встаютъ передо мною. Я не въ силахъ оставаться въ этихъ залахъ, меня влечетъ на воздухъ, за стѣны Смольнаго монастыря. Лечу какъ на крыльяхъ, несусь по длиннымъ коридорамъ, оставивъ въ недоумѣніи моихъ подругъ. Беру извозчика и умоляю его скорѣе ѣхать на Фонтанку. Что-то толкаетъ меня, что-то гонитъ впередъ... Желаніе писать стихи, какъ бывало въ дни юности и отрочества? Вылить въ дневникѣ свои мысли на бумагу? Нѣтъ, это что-то другое, чему еще нѣтъ названья,

нѣтъ имени, что совсѣмъ еще ново и непонятно для меня.

Дома всѣ спятъ, и никто не слышитъ моего прихода. Впрочемъ, никто и не долженъ слышать: у меня ключъ съ собою, которымъ открываю неслышно дверь. Проскальзываю въ мою комнату, по дорогѣ перекрестивъ и поцѣловавъ маленькаго принца въ его кроваткѣ.

Лампа зажжена... Бѣлая чистая тетрадь раскрыта передо мною.

Писать стихи?

Нѣтъ.

Дневникъ?

Тоже нѣтъ.

Я хочу отдать изъ моей души то, что зародилось въ ней въ эту странную и красивую ночь начала весны. Я хочу говорить о человѣческихъ страданіяхъ и человѣческомъ горѣ, хочу сказать о борьбѣ житейской, о сильныхъ и слабыхъ людяхъ, о горячо любящихъ родителяхъ, теряющихъ свои сокровища, о дѣтяхъ - сиротахъ, оторванныхъ отъ семьи, какъ жалкіе листики отъ деревьевъ... О всякомъ горѣ и о счастьѣ, о любви и дружбѣ, тѣсной дружбѣ людей... И о странныхъ случайностяхъ жизни, и о таинственномъ и прекрасномъ, что бывало уже въ моемъ недолгомъ бытіи. Невольно оглядываюсь назадъ, на дни дѣтства, отрочества, институтской жизни... Вижу далекіе образы, вижу свѣтлыя и темныя стороны

жизни. Бѣгутъ и сплетаются пестрой вереницей воспоминанія... И ярко-ярко, точно откуда-то изъ глубины моей мысли, обрисовываются два стройные образа двухъ дѣвушекъ: одной кроткой, нѣжной и печальной, немного Елочки, немного Сани Орловой, немного Елены Гродской, моей институтской подруги, и другой—вольнолюбивой, гордой и свободной кавказской княжны, получеркешенки, полугрузинки, смѣлой и прекрасной дочери горъ и долинъ, погибшей въ юную пору. Рядомъ же съ нею чуднымъ призракомъ является образъ ея отца, обожавшаго дочь...

Этотъ призракъ имѣетъ свое воплощеніе въ лицѣ одного кавказскаго князя, потерявшаго свою дочь институтку, общую любимицу всего института. Но умершая маленькая княжна отнюдь не была похожа на мою гордую маленькую полугрузинку, получеркешенку Нину. Нѣтъ, нѣтъ! Она была совсѣмъ другая. Моя фантазія создала свѣтлый образъ героини. Она—дитя моего воображенія, моей творческой силы, дитя пережитого чужого страданія въ эту благословенную и грустную-грустную мартовскую ночь!..

* * *

Днемъ теперь у меня одна жизнь: постоянныя репетиціи въ школьномъ и Образцовомъ театрѣ, споры съ товарищами, издерганные нервы, повышенное настроеніе.

Мы всѣ перессорились отъ страха и волненія, ходимъ блѣдные, унылые, съ повѣшенными носами, злые и растерянные отъ ожиданія предстоящихъ намъ дебютовъ.

Каждый изъ насъ мечтаетъ попасть на Образцовую сцену, и каждый видитъ въ соперникѣ конкурента и врага.

Ссоримся мы изъ-за пустяковъ. Придираемся другъ къ другу и наговариваемъ другъ другу дерзостей. Даже у кроткой Елочки и серьезной вдумчивой Сани измѣнились характеры въ это время. А о насъ съ Марусей и о «мальчишкахъ» нечего и говорить. Съ Володей Карѣевымъ я такъ повздорила изъ-за какой-то паузы, которую онъ «закатилъ» (наше театральное слово) на сценѣ въ діалогѣ со мною, что даже перешла съ «ты» на «вы».

Но вечеромъ, когда засыпаетъ все въ моей маленькой квартиркѣ, я мысленно перелетаю туда, на высокія горы Кавказа и въ тихія долины Грузіи, гдѣ синее небо исполинскимъ сапфиромъ повисло надъ землею-бездной и сумрачно курятся вершины и одуряюще пахнутъ ночныя розы, а вѣковые чинары и каштаны лепечутъ такія сказки, которыхъ не разсказать людямъ ни за что и никогда.

И еще за сѣрыя институтскія стѣны переносится крылатая мысль. Вижу передъ собой иное царство. Бѣлыя дѣвушки толпою проходятъ передо мной... Ихъ

радости, горести, веселыя и печальныя исторіи ихъ отроческаго заточенія... И снова онѣ обѣ: тихая кроткая малороссіаночка Люда и она, моя гордая прекрасная и смѣлая кавказская княжна...

Я жадно хватаю перо и набрасываю одну страницу за другою... Цѣлые дни, иногда цѣлыя ночи я провожу, не отрываясь, за моимъ письменнымъ столомъ... Я буквально горю и сгораю, лихорадочно набрасывая одну строку за другою...

Въ одинъ мѣсяцъ готовы двѣ повѣсти. Далекая отъ мысли отдать ихъ когда-либо на судъ публикѣ, я запираю обѣ рукописи подальше въ моемъ письменномъ столѣ, подъ грудой лекцій, ролей и бумагъ. Запираю надолго, можетъ быть, на всю жизнь. Но не вылить моей души въ этихъ строкахъ, на этихъ длинныхъ страницахъ, я не могла. Къ этому вынуждала меня какая-то высшая странная сила...

X.

Подошелъ день дебюта, таинственный и страшный, ужасный день.

Наканунѣ была репетиція, послѣдняя генеральная репетиція въ костюмахъ и въ гримѣ, какъ это и полагается здѣсь. Желая сохранить всѣ силы на завтра, мы, по выраженію нашего молодого профессора, «везли» репетицію кое-какъ, спустя рукава. Дико звучали наши

голоса въ совершенно пустомъ залѣ Образцоваго театра, куда на репетиціи не допускался никто.

Совершенно разбитые физически и нравственно, разошлись мы поздно вечеромъ по нашимъ угламъ. Всю ночь напролетъ я проворочалась въ моей постели съ думами о завтрашнемъ днѣ и только подъ утро забылась тяжелымъ кошмарнымъ сномъ.

Цѣлый день я ходила разсѣянная, смущенная, отвѣчая блѣдной улыбкой на проказы и ласки маленькаго принца. Къ пяти часамъ отъ отца изъ Царскаго Села, куда я три дня тому назадъ отослала почетные билеты, пришла телеграмма:

«Пріѣдемъ непремѣнно тебя смотрѣть. Желаемъ успѣха. Папа».

Екнуло сердце. Надо играть хорошо. Надо, во что бы то ни стало, сыграть хорошо. Надо доказать имъ, что тоненькая Брундегильда достигнетъ, если захочетъ, намѣченной цѣли. Если даже меня не примутъ на Образцовую сцену, потому что эта талантливая Саня съ ея дивнымъ голосомъ и трагическимъ лицомъ имѣетъ больше шансовъ выдержать конкурсъ, то все же надо играть хорошо, очень хорошо, чтобы доказать всѣмъ, что не даромъ потеряны три года неустанной работы, труда и безумныхъ волненій.

— Барыня, кушать пожалуйте,—высовывается въ дверь Анюта.

— Не хочу.

— Нынче ваша любимая запеканка съ ветчиною,— пробуетъ соблазнить меня милая дѣвушка.

— Не хочу.

— Вѣдь отощаете къ экзаменту-то,—резонируетъ она на порогѣ столовой, служащей намъ одновременно и гостиной, и моей спальней, и кабинетомъ.

— Пожалуй.

Беру корочку хлѣба и, обильно посыпавъ ее солью, жую. А въ головѣ одна и та же, одна и та же сверлящая гвоздемъ мой мозгъ мысль:

«Если не примутъ на Образцовую, надо забирать маленькаго принца и Матрешу и ѣхать кочевать по провинціи... Провинціальная актриса съ семьей— ахъ, какъ это тяжело. Если бы еще рыцарь Трумвиль и тоненькая Брундегильда были богаты... Но— увы! Намъ едва хватаетъ на жизнь. Значитъ, необходимо остаться здѣсь, иными словами, сыграть такъ, чтобы вакансія на Образцовую сцену осталась за мной».

Смотрю на маленькаго принца, который на своемъ высокомъ стулѣ съ завиднымъ аппетитомъ уписываетъ котлетку, и рѣшительно подхожу къ нему.

— Дитя мое, мой мальчикъ,—говорю тихо,—какъ ты любишь свою маму?

Вмигъ бѣлые зубенки перестаютъ жевать, крошки-ручки обвиваются вокругъ моей шеи и крѣпко сжимаютъ ее.

— Вотъ какъ люблю мою мамочку!—лепечетъ на ушко милый крошка.

Подхватываю его на руки и уношу въ дѣтскую. Тамъ у большого образа Казанской теплится лампада. Я становлюсь на колѣни. Рядомъ со мною мой сынъ. Онъ смотритъ на меня серьезными глазенками, крестится и кладетъ земные поклоны, какъ взрослый, и говоритъ безъ всякаго наученія съ моей стороны:

— Боженька, милый добрый Боженька, помоги моей мамочкѣ... Я очень Тебя прошу...

Я беру крохотные пальчики, складываю ихъ въ крестное знаменіе и этимъ знаменіемъ осѣняю себя.

— Молись за мамочку, дѣтка, молись...

Потомъ цѣлую его такъ крѣпко, что онъ пискнулъ отъ неожиданности, и, взглянувъ на часы, бросаюсь въ театръ. Уже поздно. Черезъ два часа начнется дебютъ.

* * *

На сценѣ идетъ Антигона. Стоя совсѣмъ готовая у кулисы, съ сильно бьющимся сердцемъ прислушиваюсь къ монологамъ Сани, къ ея божественному голосу и, если не вижу, то чувствую ея полное одухотворенной силы и трагическаго страданія лицо. И Елочку, воздушную, нѣжную и бѣлую, какъ настоящій лотосъ, въ ея бѣлоснѣжныхъ одеждахъ «чувствую» тоже. А басъ Креона, злодѣя-царя, погубившаго родныхъ Антигоны, басъ Боба, волною перекатывается по сценѣ.

Кончится недолгая греческая трагедія, и начнется «моя» пьеса.

Театръ такъ полонъ, что яблоку некуда упасть. Въ первыхъ рядахъ начальство, сотрудники газетъ, администрація, артисты и артистки Образцовой сцены. Дальше—чужая публика. Приложивъ глазъ къ круглой дырочкѣ, продѣланной въ кулисѣ, вижу весь театръ, какъ на ладони. Но не вижу своихъ... ни отца, ни мамы-Нэлли... Ихъ ложа крайняя—вотъ почему не видно... Или не пріѣхали? Ахъ, это было бы очень тяжело. Бѣгу въ уборную, бросаю послѣдній взглядъ въ зеркало. Ситцевое платье съ претензіей на шикъ и моду... Молодое, свѣжее, но наивно-придурковатое, благодаря искусно приподнятымъ бровямъ, лицо... Пухлыя, глуповато улыбающіяся губы. Брундегильда изъ замка Трумвиль, неужели это ты!

И опять бѣгу къ кулисѣ смотрѣть и слушать.

Конецъ. Занавѣсъ падаетъ съ обычнымъ шумомъ, отдаленно напоминающимъ морской прибой.

Играли безусловно хорошо. Шопотъ одобренія проносится по залѣ. Не аплодировали, потому только, что аплодировать строго воспрещено на школьныхъ дебютахъ.

Проходя мимо меня съ подобранной на подобіе дамскаго шлейфа тогой, Бобъ шепчетъ:

— А васъ ждетъ огромная радость, миледи. Не будь я лордомъ и джентльменомъ, если солгалъ.

Ничего не понимаю. Не до радости мнѣ сейчасъ

Какая ужъ тутъ радость, когда черезъ десять минутъ я должна буду выйти вся трепещущая передъ толпой.

Прохожу на сцену. Вижу Саню. У нея блѣдное, разстроенное лицо, но въ печальныхъ глазахъ обычная покорность.

— Директора не было въ театрѣ во время трагедіи, стало быть, онъ не видѣлъ нашей игры. Пришелъ только сейчасъ.

Бѣдная Саня и бѣдная Оля! Я знаю, что означаютъ ихъ слова: не видѣлъ ихъ—значитъ, не могъ оцѣнить и, слѣдовательно, не можетъ принять на Образцовую сцену. Правда, кромѣ сегодняшняго, будутъ еще дебюты, будутъ разыгрываться другія пьесы, но сегодня главный дебютъ, по которому возбуждается вопросъ пріема учениковъ и ученицъ.

Я точно пробуждаюсь, услыша звонокъ и крикъ режиссерскаго помощника:

— Первый актъ «Хрущовскихъ помѣщиковъ» начинается. Постороннихъ, не занятыхъ, просимъ очистить сцену.

Послѣдняя быстро пустѣетъ. Три удара молотка по деревяннымъ подмосткамъ, и занавѣсъ тихо ползетъ наверхъ.

Мое сердце падаетъ, падаетъ, какъ подстрѣленная птица. Стою у закрытой двери и чувствую, что задохнусь сейчасъ.

— Начинайте! — слышу я откуда-то оторопѣлый шопотъ...

Глупая походка «утицей», придурковатое лицо, подсолнухи въ рукѣ и во рту и говоръ въ носъ, подобающій глупышкѣ Глашѣ, корчащей изъ себя богатую и знатную барышню, все, что требуется для роли, дѣлаютъ свое дѣло, и когда я появляюсь на сценѣ, съ первой фразой:—«Мамаша, на полдни Еремѣй скотину пригналъ»,—театръ дружно и громко вздрагиваетъ отъ смѣха.

И этотъ первый смѣхъ рѣшаетъ все. Тоненькая, глупенькая, смѣшная и забавная Глаша возбуждаетъ каждой своей фразой въ ложахъ театра, въ партерѣ и на верхахъ гомерическій смѣхъ.

Подъ этотъ смѣхъ опускается занавѣсъ. Я мчусь переодѣваться. Второй актъ по своему положенію еще смѣшнѣе! Съ ярко краснымъ зонтикомъ, въ пестромъ безвкусномъ нарядѣ я мечтаю быть генеральшей, не переставая лущить сѣмечки и говорить самымъ крестьянскимъ нарѣчіемъ. Глупости сыплются изъ моего рта, какъ шелуха тѣхъ подсолнуховъ, которые я лущу.

И снова при долго не умолкаемомъ смѣхѣ опускается занавѣсъ.

Третій актъ. Еще ярче, еще невозможнѣе по своей пестротѣ костюмы Глаши. Сейчасъ въ ея птичьей головкѣ крѣпко засѣла мысль: выйти замужъ за богатаго барона-помѣщика, который рано или поздно будетъ все-таки генераломъ. Она хочетъ блистать въ обществѣ, эта несуразная, тупая и глупая крестьяночка, хочетъ

быть «всамдѣлешной» барыней, чтобы ѣздить на балы въ «бархатныхъ» и «атласныхъ» платьяхъ. Тамъ по ея мнѣнію, на этихъ балахъ, одни только генералы, графы, князья. И угощеніе тамъ самое аристократическое: апельсины, лимоны, пряники, стручки, орѣхи всякіе,—перечисляетъ она и, выхвативъ платочекъ, пляшетъ на радостяхъ, неуклюже притоптывая ногами, вскрикивая и пощелкивая пальцами.

Я пляшу, припѣвая:

«Тынди, тынди, тынди, тынди, тынди».

Публика въ партерѣ заливается смѣхомъ.

— Браво!—не выдержавъ, крикнулъ кто-то.

И это «браво» послужило сигналомъ къ аплодисментамъ, «запрещеннымъ аплодисментамъ». Шурша и колеблясь упалъ занавѣсъ, а я, все еще не будучи въ состояніи остановиться, продолжала танцовать...

XII

— Васъ зоветъ директоръ. Пожалуйте въ директорскую ложу,—съ официальнымъ и строгимъ видомъ встрѣчаетъ меня Виталій Порфирьевичъ Пятницкій у кулисъ.

«Что? Царь Небесный! Неужели я провалила мою Глашу?»

Бѣгу, сбивая съ ногъ всѣхъ, кто попадается мнѣ на пути, забывъ заплести распустившуюся вдоль спины косу. Бѣгу, какъ на крыльяхъ, съ предчувствіемъ бѣды.

Въ ди екторской ложѣ я вижу блѣднаго, какъ смерть, несмотря на гримъ, Боба и самого директора, холенаго, красиваго высокаго барина-аристократа.

Отвѣтивъ на мой реверансъ, онъ продолжаетъ, обращаясь къ Бобу:

— Безусловно, вы достойнѣйшій изъ мужского элемента для принятія на Образцовую сцену. Ваша игра удовлетворила всѣхъ насъ. Но есть одинъ изъ вашихъ товарищей, не менѣе васъ талантливый, которому необходимо устроиться на Образцовой сценѣ, у него мать— старуха и сестры учатся здѣсь. И онъ единственный кормилецъ... Вы оба талантливы, но ему тяжело будетъ съ такой обузой-семьей искать мѣсто въ провинціи. Вы же, конечно, получите ангажементъ въ любомъ театрѣ и въ провинціи, и въ столицѣ... Итакъ, предоставляю вамъ выбрать самому. Вашъ товарищъ ничего не узнаетъ, предупреждаю, о вашемъ рѣшеніи.

Директоръ кончилъ и смотрѣлъ теперь молча въ лицо Денисова.

О, это лицо! Я никогда не видѣла его такимъ. Сотни разнородныхъ ощущеній смѣнились одно за другимъ въ этихъ, обычно какъ бы застывшихъ чертахъ, въ этихъ, постоянно полныхъ юмора и веселыхъ огоньковъ глазахъ. Какъ онъ лелѣялъ въ душѣ свою грезу объ Образцовой сценѣ, бѣдненькій Бобъ! И неужели же уступить, уступить въ пользу другого то, чего онъ такъ добивался, такъ горячо и такъ пламенно желалъ.

Въ эту минуту мнѣ стало даже страшно за Боба.

— Денисовъ, — прошептала я умоляющимъ шопотомъ и положила руку на рукавъ его сюртука.

И вотъ осторожнымъ движеніемъ онъ снялъ мою руку, пожалъ мои пальцы и, поднявъ глаза на директора, ровнымъ и, повидимому, спокойнымъ голосомъ произнесъ:

— Я... я... согласенъ, согласенъ уступить мою вакансію товарищу. Только... только... ради Бога, зачисляйте его скорѣе, а то я могу раздумать и пожалѣть.—И, закрывъ лицо руками, какъ безумный, ринулся изъ директорской ложи.

Бѣдный Бобъ. Нелегко было ему хоронить свою золотую мечту. Бѣдный, прекрасный и великодушный!

Директоръ, между тѣмъ, обратился ко мнѣ.

— Поздравляю. Вы приняты на Образцовую сцену.

Эта фраза всколыхнула и потрясла все мое существо. Казалось, она перевернула сердце, душу, зажгла жгучей безумной радостью меня всю...

Забывъ поклониться, забывъ поблагодарить и не найдя возможности произнести хотя бы единое слово, я вылетѣла изъ директорской ложи, бросилась за кулисы, разгримировалась на скорую руку, едва ловя выраженія поздравленій моихъ коллегъ, и, полуживая отъ счастья, понеслась въ театральный вестибюль, гдѣ у меня было условлено встрѣтиться съ «нашими».

— Солнышко-папа! Мама-Нэлли! — издали кричала

я, влетая въ вестибюль. —Принята! Я принята! Порадуйтесь со мною!

И я бросилась въ объятія моихъ родныхъ...

* * *

Въ эту ночь я долго-долго стояла надъ кроваткою моего маленькаго принца. Прильнувъ лицомъ къ его головкѣ, я тихо плакала—плакала отъ счастья.

— Милый мой дорогой ребенокъ,—лепетала я сквозь слезы,—твоя мама достигла намѣченной цѣли, достигла того, чего она такъ страстно желала, къ чему такъ стремилась... И твоя мама будетъ работать—ради тебя, мой дорогой, будетъ стараться добросовѣстно служить тому искусству, которому она себя посвятила. Но теперь у твоей мамы, мой милый крошка, еще и другая цѣль: вырастить тебя, поставить на ноги, сдѣлать изъ тебя хорошаго и частнаго человѣка. И къ этой новой, великой, трудной цѣли твоя мама будетъ стремиться всѣми силами своей души, постоянно, всегда и вездѣ думая о тебѣ, мой милый, мой дорогой, мой единственный мальчикъ.

Въ эту ночь долго-долго я любовалась порозовѣвшимъ во снѣ милымъ личикомъ, охраняя сладкій безоблачный сонъ моего малютки.

Тихое безмятежное счастье, счастье наканунѣ борьбы съ жизнью труда, заботъ, наканунѣ настоящей трудовой жизни, улыбалось мнѣ вмѣстѣ съ ровнымъ

Я принята! принята!..

сіяніемъ мѣсяца въ эту апрѣльскую нѣжную весеннюю ночь. . . . . .

. . . . . .

Я обрываю мою повѣсть на томъ событіи, съ которымъ окончилась лучшая пора моей юности, и когда печальная дѣйствительность, съ ея борьбою, лишеніями, съ частыми ударами, потерями и разочарованіями, готовилась постучаться въ мою дверь.

Кончилась юность съ ея смѣлыми мечтами и дерзкимъ сопротивленіемъ судьбѣ мечтательницы Лиды. Трудъ, заботы, неувѣренность въ завтрашнемъ днѣ пришли имъ на смѣну.

Объ этой борьбѣ, объ этихъ разочарованіяхъ, невзгодахъ и радостяхъ я разскажу, можетъ быть, моимъ юными читателямъ, когда они уже станутъ взрослыми людьми.

КОНЕЦЪ.

РНБ РУССКИЙ ФОНД
37.71.5.28